

# В ОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ

IX

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

БИБЛИОТЕКА  
Сыктывкарского  
ГОСУНИВЕРСИТЕТА  
имени 50-летия СССР

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ  
№ .....

РЕДКОЛЛЕГИЯ

*О. С. Ахманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Божарев, В. В. Виноградов (главный редактор), В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), А. И. Ефимов, Н. И. Конрад (зам. главного редактора), В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев, Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой (п. о. отв. секретаря редакции), А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, К-31, Кузнецкий Мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55

В. А. АВРОРИН

ЛЕНИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ  
ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ СССР \*

Разработка марксистской теории национального вопроса и основанных на ней принципов национальной политики Коммунистической партии неразрывно связана с именем величайшего мыслителя нашего времени и вождя трудящихся В. И. Ленина. Одна из важнейших заслуг В. И. Ленина в том и состоит, что он, опираясь на руководящие идеи своих учителей К. Маркса и Ф. Энгельса, со строго научной последовательностью и при исчерпывающем учете изменений в общественно-исторической обстановке разработал в целой серии своих трудов программу и политическую линию марксистской партии в области национального вопроса применительно к условиям империализма, пролетарской революции и строительства социалистического общества.

Основные принципы ленинской постановки национального вопроса сводятся к следующему. Одна из главных задач пролетариата и его партии состоит в том, чтобы объединить трудящихся всех национальностей для совместной борьбы за политические, экономические и культурные права, а после свержения власти капитала — за построение коммунистического общества. Но объединение должно основываться на демократическом принципе полной добровольности. Малейший элемент принуждения, невнимания к национальным особенностям и местным интересам подрывает добровольность союза, а тем самым и его прочность, т. е. идет вразрез с коренными интересами пролетариата.

И К. Маркс, и Ф. Энгельс, и В. И. Ленин неоднократно подчеркивали, что национальный вопрос имеет подчиненное значение по сравнению с «рабочим вопросом», что национальная программа должна разрабатываться исключительно с точки зрения интересов классовой борьбы трудящихся. В. И. Ленин указывал, что в условиях капитализма противостоят две непримиримые линии в национальном вопросе: буржуазный национализм и пролетарский интернационализм (см. Соч., т. 20, стр. 10), что задача пролетариата не разграничивать нации, а сплачивать рабочих всех наций, неуклонно борясь против национализма как «своей», так и чужой буржуазии (см. Соч., т. 20, стр. 19). Не о закреплении национальных перегородок должен заботиться пролетариат, а наоборот, об их устранении, о слиянии наций в высшем мировом единстве (см. там же).

В. И. Ленин подчеркивал, что в условиях капитализма лозунг борьбы за национальную культуру есть не больше как буржуазный обман. В отличие от буржуазии трудящиеся массы должны и могут отстаивать только интернациональную по своему содержанию культуру всемирного рабочего движения, в которую из каждой национальной культуры должны войти только ее прогрессивные элементы, «лишь последовательно-демократическое и социалистическое содержание каждой национальной культуры» (Соч., т. 19, стр. 92). Важно отметить, что В. И. Ленин имеет здесь в виду интернациональное содержание культуры, а не ее форму,

\* В основу настоящей статьи положен доклад, прочитанный на сессии Отделения литературы и языка АН СССР, посвященной 90-летию со дня рождения В. И. Ленина (19 IV 1960 г.).

в частности не язык, в котором проявляются многие стороны культуры. Различение интернационального классового содержания культуры и ее национальной формы неизбежно сохранит свое весьма важное значение вплоть до исчезновения всех национальных различий.

Таким образом, стратегическая линия рабочего класса и его партии, строго учитывающая реальные процессы и тенденции развития человеческого общества, направлена на слияние всех наций, на преодоление национальных перегородок и различий. Более близкая задача — добровольное объединение трудящихся разных наций, пока они продолжают еще оставаться разными, для единой цели — строительства коммунизма.

Однако добиться достижения конечной цели прямым и скорым путем, путем декретов и даже убеждений невозможно. Необходимо, чтобы созрели объективные предпосылки экономического, политического, культурного характера, подготавливающие слияние наций. Эти предпосылки могут сложиться только после победы пролетариата и требуют длительного времени и больших усилий со стороны социалистического государства, направленных прежде всего на полное устранение сложившихся в течение веков недоверия и вражды между народами.

Разрабатывая основы тактики Коммунистической партии по национальному вопросу, В. И. Ленин писал, что, стремясь к добровольному союзу наций, «мы должны быть очень осторожны, терпеливы, уступчивы к пережиткам национального недоверия» (Соч., т. 30, стр. 269), так как «нет вещи хуже, чем недоверие нации» (Соч., т. 29, стр. 153). Он указывал на необходимость большой гибкости и строгого учета специфических особенностей, когда в отношении того или иного народа решаются даже такие кардинальные и, казалось бы, общие вопросы, как вопрос о государственном устройстве. Подчеркивая, что это задача не только сегодняшнего дня, но и продолжительного периода времени на будущее, он писал: «Пока существуют национальные и государственные различия между народами и странами — а эти различия будут держаться еще очень и очень долго даже после осуществления диктатуры пролетариата во всемирном масштабе — единство интернациональной тактики коммунистического рабочего движения всех стран требует не устранения разнообразия, не уничтожения национальных различий (это — вздорная мечта для настоящего момента), а такого применения *основных* принципов коммунизма (Советская власть и диктатура пролетариата), которое бы *правильно видоизменяло* эти принципы в *частностях*, правильно приспособляло, применяло их к национальным и национально-государственным различиям» (Соч., т. 31, стр. 72).

Особенно ярко проявился этот подход в ленинской постановке вопроса о самоопределении наций. В. И. Ленин, как известно, никогда не был сторонником раздробления человечества на множество мелких, оторванных друг от друга государств. Он считал, наоборот, что в интересах партии пролетариата необходимо даже при капитализме создание возможно более крупных государств, так как это ведет к сближению и слиянию наций. Но цель эта должна достигаться «не насилем, а исключительно свободным, братским союзом рабочих и трудящихся масс всех наций» (Соч., т. 24, стр. 52). Для обеспечения подлинной свободы соединения В. И. Ленин и выдвигал требование о предоставлении всем нациям права на самоопределение вплоть до отделения в особое государство, ибо соединение может быть свободным лишь в том случае, если есть практическая возможность отделиться (см. Соч., т. 26, стр. 149). Право на отделение, разумеется, вовсе не означает требования или призыва к отделению. Оно лишь является последовательным выражением борьбы против насильственных связей и всякого национального гнета, борьбы за устранение национальных трений, чем создаются предпосылки для добровольного сближения и слияния наций.

На возражения лиц, оказавшихся неспособными понять диалектич-

ность такой постановки вопроса, В. И. Ленин отвечал, что при существовавших тогда условиях иного пути к слиянию наций нет и быть не может (см. Соч., т. 22, стр. 332). Разъясняя суть дела, он выдвинул следующее чрезвычайно важное как теоретически, так и практически положение: «Подобно тому, как человечество может придти к уничтожению классов лишь через переходный период диктатуры угнетенного класса, подобно этому и к неизбежному слиянию наций человечество может придти лишь через переходный период полного освобождения всех угнетенных наций, т. е. их свободы отделения» (Соч., т. 22, стр. 135—136). Вопрос о самоопределении есть лишь особая сторона другого, более важного вопроса о равноправии наций и их языков — одного из главных требований демократического устройства общества.

В царской России, как и в большинстве других многонациональных буржуазных государств, национальный вопрос разрешался целиком в пользу господствующей русской нации и в ущерб нациям угнетенным. X съезд партии так охарактеризовал положение невеликорусских народов в дореволюционной России: «Политика царизма, политика помещиков и буржуазии по отношению к этим народам состояла в том, чтобы убить среди них зачатки всякой государственности, калечить их культуру, стеснять язык, держать их в невежестве и, наконец, по возможности русифицировать их. Результаты такой политики — неразвитость и политическая отсталость этих народов»<sup>1</sup>.

Партия рабочего класса не могла мириться с существующим положением. Выдвигая требование общей демократизации государственного строя — в той мере, в какой это было вообще возможно в условиях того времени, — она выдвигала лозунг полного равноправия наций и их языков. В. И. Ленин следующим образом формулировал этот принцип рабочей демократии: «Ни одной привилегии ни для одной нации, ни для одного языка! Ни малейшего притеснения, ни малейшей несправедливости к национальному меньшинству!» (Соч., т. 19, стр. 72). Специально по поводу национальных языков он заявлял: «Демократическое государство безусловно должно признать *полную свободу* разных языков и отвергнуть *всякие привилегии* одного из языков» (Соч., т. 20, стр. 204). В. И. Ленин и созданная им Коммунистическая партия настойчиво требовали тогда включения в конституцию закона, объявляющего недействительными какие бы то ни было привилегии одной из наций и нарушения прав других наций (см. Соч., т. 19, стр. 246, 385).

В Советском государстве с самых первых дней его существования национальный вопрос получил свое разрешение в духе тех принципов, которые были разработаны В. И. Лениным. Права всех национальностей и национальных языков были закреплены опубликованной в ноябре 1917 г. «Декларацией прав народов России». Через полтора года VIII съезд партии принял новую, разработанную В. И. Лениным программу, определившую задачи партии на период перехода от капитализма к социализму, в частности и задачи в национальном вопросе. А еще через два года X съезд принял весьма важную резолюцию по национальному вопросу, в которой говорилось, что после установления Советской власти задача партии состоит в том, чтобы помочь трудовым массам невеликорусских народов догнать ушедшую вперед центральную Россию путем развития и укрепления у них советской государственности, административных, хозяйственных и судебных органов, соответствующих национально-бытовым условиям и состоящих из местных людей, путем развития прессы, школы, театра, клубов и других культурно-просветительных учреждений. И все это, как неоднократно подчеркивается в

<sup>1</sup> «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. I, 7-е изд., 1953, стр. 558—559.

революции, должно осуществляться на основе родного языка местного населения<sup>2</sup>.

Почему В. И. Ленин и Коммунистическая партия всегда придавали такое большое значение родным языкам всех народов нашей страны? Объясняется это прежде всего тем, что свобода пользования родным языком есть одно из элементарных требований демократического устройства общества.

Известно резко отрицательное отношение В. И. Ленина к выдвигавшемуся в разное время не только либеральной буржуазией, но даже и некоторыми коммунистами требованию введения в России единого, обязательного для всех государственного языка, который якобы должен был способствовать объединению народов. На роль такого языка, естественно, предлагался русский язык. Вот как отвечал В. И. Ленин в 1914 г. по этому поводу либералам: «Мы лучше вас знаем, что язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского — велик и могуч. Мы больше вас хотим, чтобы между угнетенными классами всех без различия наций, населяющих Россию, установилось возможно более тесное общение и братское единство. И мы, разумеется, стоим за то, чтобы каждый житель России имел возможность научиться великому русскому языку. Мы не хотим только одного: элемента *принудительности*. Мы не хотим загонять в рай дубиной. Ибо, сколько красивых фраз о „культуре“ вы ни сказали бы, *обязательный* государственный язык сопряжен с принуждением, вколачиванием. Мы думаем, что великий и могучий русский язык не нуждается в том, чтобы кто бы то ни было должен был изучать его *из-под палки*. Мы убеждены, что развитие капитализма в России, вообще весь ход общественной жизни ведет к сближению всех наций между собою... Те, кто по условиям своей жизни и работы нуждаются в знании русского языка, научатся ему и без палки. А принудительность (палка) приведет только к одному: она затруднит великому и могучему русскому языку доступ в другие национальные группы, а главное — обострит вражду, создаст миллион новых трений, усилит раздражение, взаимонепонимание и т. д.» (Соч., т. 20, стр. 55—56).

Уже после установления Советской власти, выступая на VIII съезде партии, В. И. Ленин сказал: «У нас есть, например, в Комиссариате просвещения или около него коммунисты, которые говорят: единая школа, поэтому не смейте учить на другом языке, кроме русского! По-моему такой коммунист, это — великорусский шовинист» (Соч., т. 29, стр. 172—173).

Вторая причина требования свободы пользования родным языком состоит в том, что родной язык служит лучшим орудием наиболее быстрого приобщения народов к общественно-политической жизни, а также восприятия и развития ими единой по содержанию социалистической культуры. Язык, по классическому определению В. И. Ленина, есть важнейшее средство человеческого общения. Вместе с тем язык, как указывали К. Маркс и Ф. Энгельс, есть непосредственная действительность мысли. Люди общаются между собой и думают, как правило, на родном для них языке. Чтобы перейти на другой язык, а тем более начать свободно думать на нем, необходим длительный период выучки и тренировки. Особенно длителен переход на новый язык, когда речь идет не об отдельных лицах, а о целых народах, как бы малочисленны они ни были. История показывает, что этот процесс требует смены нескольких поколений, пока новый язык не займет места родного вместо старого или наряду с ним.

Коммунизм уже в ранних его фазах предполагает высокий уровень культуры всех членов общества. Поэтому наши заботы должны быть

<sup>2</sup> «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. I, стр. 559.

направлены на то, чтобы все население страны и каждый отдельный его представитель в кратчайший срок овладели неисчислимыми богатствами содержания социалистической культуры. Наиболее эффективный путь к этому — всемерное использование и развитие национальных форм культуры, в том числе и национальных языков. Именно с их помощью народы полнее и скорее всего овладевают социалистическим содержанием культуры. Поэтому, как справедливо заметил И. В. Сталин, период диктатуры пролетариата есть период расцвета национальных по форме и социалистических по содержанию культур.

Благодаря ленинской национальной политике, требовавшей самого внимательного отношения к национальным особенностям всех без исключения народов и бескорыстной помощи отсталым народам со стороны ушедших вперед, в нашей стране были в короткий срок уничтожены всякие поводы для национальной вражды, была расчищена почва для сотрудничества народов, а русский рабочий класс сумел завоевать доверие не только всех народов России, но также и народов Европы и Азии. Так была подготовлена основа для образования союза советских республик, скрепленного нерушимой братской дружбой всех народов нашей страны.

Успехи Советской страны в развитии экономики и культуры всех населяющих ее национальностей, как больших, так и малых, колоссальны, особенно если сравнить их с положением дела в царской России, которая представляла собой, по образному выражению В. И. Ленина, «тюрьму народов». Чтобы представить всю картину этих замечательных достижений, я не располагаю ни местом, ни достаточно полными сведениями. В силу необходимости вынужден ограничиться лишь несколькими иллюстрациями, характерными для общей линии нашей партии, направленной на ликвидацию фактического неравенства отсталых народов.

Как известно, за годы Советской власти около шестидесяти народов нашей страны впервые обрели возможность читать, писать и, что самое главное, получать образование, хотя бы начальное, на своих родных языках. Это величайшее достижение ленинской национальной политики встряхнуло многие народы, пробудило их от многовековой спячки к раскрытию всех потенций их национальной культуры, к самостоятельности и активности во всех областях жизни.

Разве могли малые народности нашего Севера мечтать раньше о своей собственной литературе, об участии в управлении государством, о писателях, художниках, музыкантах, ученых, вышедших из их среды? Никому подобного рода мысли не могли и в голову прийти в то время, когда эти народности были поголовно неграмотными и бесправными, когда все их помыслы были сосредоточены только на том, чтобы в суровых условиях тайги и тундры тяжелым и подчас опасным трудом добыть себе скудное пропитание.

Возьму в качестве примера небольшую нанайскую народность. До революции в районах ее расселения было три-четыре карликовых миссионерских школы. В них обучался незначительный процент нанайских детей, причем учили их читать на почти неизвестном им русском языке и совершенно неизвестном церковнославянском. Мало кто из них оканчивал два-три класса этих школ, а если и оканчивал, то через непродолжительное время забывал все выученное ввиду его практической ненужности. Каким-то чудом двум нанайцам удалось получить что-то вроде среднего образования, и они впоследствии до недавнего времени работали учителями начальных классов. Но их было только двое на восемь тысяч человек за всю дореволюционную историю этой народности.

А как обстоит дело сейчас? Сейчас все нанайские дети учатся в открытых для них тридцати с лишним школах, причем в некоторых из них проходят трехлетний курс обучения на родном языке. Учат их свои же

нанайские учителя. Несколько десятков таких учителей получило высшее и среднее специальное образование. Представители нанайского народа участвуют в решении государственных дел в качестве депутатов сельских, районных, Краевого Советов и даже Верховного Совета РСФСР. Из среды нанайского народа вышло несколько научных работников, среди которых один языковед — кандидат филологических наук С. Н. Оненко, музыканты с консерваторским образованием, живописцы, семь поэтов и прозаиков, из которых четверо печатали свои произведения в краевых и центральных литературных журналах.

Также выросли в политическом и культурном отношении и другие народности Севера. Русским, да и зарубежным читателям хорошо известны имена молодого писателя-чукчи Ю. Рытхеу, автора «Чукотской саги», и трагически погибшего удэгейского писателя Д. Кимонко, написавшего необычайно поэтическую повесть «Там, где бежит Сюкпай». Когда они делали первые творческие шаги, знание русского языка к ним было недостаточным, и каждый писал на своем родном языке. То же самое можно сказать и о других писателях — ненце И. Истомине, чукче В. Кеулькоте, эвене Н. Тарабукине, эвенках А. Платонове, А. Салаткине, Г. Чинкове, нанайцах А. Самаре, Г. Ходжере и А. Поссаре. Не будь у них возможности учиться и начинать свою литературную деятельность на родном языке — не было бы этих и многих других писателей из среды малых народов, не располагала бы наша советская литература многими хорошими произведениями.

Таковы неоспоримые достижения нашего государства в области национального вопроса. И как бы ни пытались их исказить и принизить некоторые недобросовестные критики из-за рубежа, для нас эти достижения — не только объективная реальность, но и предмет законной гордости. Особенно уместно вспомнить о них в девяностую годовщину со дня рождения В. И. Ленина, с чьим именем все они самым непосредственным образом связаны.

Нация, равно как и другие формы этнической общности, представляет собой категорию исторически преходящую. К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин убедительно показали, что уже в недрах капиталистического общества возникают предпосылки для падения национальных перегородок. Придет время, и нации, а вместе с ними и все национальные различия отойдут в область преданий. Все люди будут говорить на одном языке. Но произойдет это только после победы коммунизма во всем мире. Стирание национальных различий — процесс длительный, обусловленный постепенным созреванием многих необходимых социально-экономических условий. Таков объективный закон развития человеческого общества, и с ним нельзя не считаться.

В связи с этим возникают две неотделимые одна от другой задачи. С одной стороны, необходимо серьезно поставить строго объективное исследование реально протекающих процессов развития и взаимовлияния национальных языков в условиях социалистического государства. Это даст возможность получить необходимые данные для научной разработки прогнозов их дальнейшей судьбы. С другой стороны, необходима разработка тактической линии в отношении обеспечения обслуживания тем или иным литературным языком многочисленных наций и народностей СССР на ближайшие и более отдаленные сроки. Первая из названных двух задач, от правильности и полноты разрешения которой целиком зависит осуществление второй, ложится в главную своей части на плечи советских языковедов.

В развитии языка следует различать два аспекта: во-первых, развитие структуры языка во всех ее компонентах, т. е. то, что в лингвистической литературе обычно связывается с внутренней историей, а мы будем дальше именовать в целях практического удобства структурным развитием, и, во-вторых, развитие коммуникативных функций языка, иначе говоря,

степени охвата им человеческого коллектива, объема и характера выполняемых общественных функций или областей применения, связей между его диалектными подразделениями, взаимоотношений с другими языками и т. п., т. е. то, что в литературе нередко связывается с внешней историей языка, а мы будем дальше условно именовать функциональным развитием. Несомненно, что в какой-то степени эти две стороны развития языка связаны между собой, но часто эти связи оказываются трудноуловимыми и не носят характера органической взаимозависимости, а скорее представляют собой параллельную зависимость от разного рода внеязыковых факторов.

Если в структурном отношении развитие языков не имеет прямой и непосредственной связи с изменениями в структуре общества, а тем более с интересами того или иного общественного класса, то развитие их в функциональном отношении, в смысле изменения объема и характера выполняемых ими общественных функций в большой степени, хотя и не целиком, зависит от изменений в общественном строе и определяется политикой государства в области культуры и национального вопроса, отражающей в условиях классового общества интересы господствующих классов. В этом — и только в этом — смысле позволительно говорить о языковой политике как органической части национальной политики того или иного государства, класса или партии.

Относительно структурного развития языков в условиях советского общества существует богатая литература, страдающая, к сожалению, излишней описательностью и графярностью. Как правило, дело ограничивается констатацией появления тех или иных изменений в структуре отдельных языков.

Естественно, что чаще всего рассмотрению подвергается наиболее подвижный компонент структуры — лексика. Хотя теоретических обобщений в этой области пока еще мало, все же материал для таких обобщений в литературе непрерывно накапливается.

Значительно меньше внимания уделяется до сих пор функциональному развитию языков народов СССР, причем этот второй аспект обычно не отграничивается в нужной мере от первого и по глубине разработки значительно уступает даже ему. В работах, посвященных развитию отдельных языков или их групп, функциональная сторона дела обычно представлена несколькими стереотипными общими фразами о нивелировке диалектных различий, благотворном влиянии одного языка на другой, расширении сфер влияния литературного языка и т. д. без серьезного анализа хода подобного рода процессов и даже без подтверждающих эти фразы конкретных примеров. Специальных же исследований в этом направлении, по сути дела, не велось. А между тем именно изучение функционального, а не структурного развития языка должно дать основной материал для суждения о перспективах того или иного языка, так как даже весьма совершенный в структурном отношении язык может оказаться мало перспективным в том случае, если он лишен возможности завоевать общенародные позиции, расширить сферы своего применения или одержать верх в условиях двуязычия. Поэтому мне представляется полезным остановиться преимущественно на функциональной стороне процесса развития литературных языков народов СССР, причем я не беру на себя смелости предлагать готовые решения, а могу лишь попытаться обосновать необходимость постановки некоторых вопросов, которые мне кажутся заслуживающими внимания.

Функциональный тип языка как определенный этап в процессе совершенствования его общественных функций зависит в первую очередь от уровня исторического развития его носителей. Несомненно, что по своим функциональным особенностям языки различаются в зависимости от того, обслуживают ли они племя, народность или нацию, причем различаются в той же мере четко, сколь очевидно различие между обслужи-

ваемыми ими формами этнической общности. Обычно языкам племени, народности или нации свойственны и структурные отличия одного от другого. Но возникает вопрос — имеют ли эти отличия непосредственную зависимость от формы этнической общности, или они зависят от иных причин — от общего уровня культуры, степени развитости и распространности литературного языка, его жанрово-стилистической дифференциации, взаимоотношений с другими языками и т. д. Вопрос этот оживленно дебатировался в нашей печати последних лет, но, кажется, к общему мнению прийти не удалось. Более обоснованной представляется точка зрения, согласно которой непосредственной зависимости структуры языка от формы этнической общности не существует. Во всяком случае, до сих пор никому не удалось обнаружить такие структурные признаки, которые были бы характерны и тем более обязательны для того или иного функционального типа языка.

Функциональные типы языков различаются между собой также в отношении диалектной расчлененности, процессов диалектной филиации или интеграции, наличия или отсутствия письменности и литературной формы языка, взаимоотношений между литературной и народно-разговорной формами языка, взаимодействия с другими языками. В литературе достаточно много, хотя и в самой общей форме, сказано об этих различиях и характерных особенностях процесса развития языков всех функциональных типов в разные исторические эпохи. Напомню лишь, что этот процесс имеет два основных резко контрастирующих этапа: досоциалистический и социалистический. Отличительной чертой первого из них является почти полная стихийность интересующего нас процесса. А там, где временами проявляется сознательная регулирующая воля, как, например, при введении чужого литературного языка, при подавлении языков зависимых народов и т. п., эта воля действует в интересах эксплуататорской верхушки, которые в большинстве случаев идут вразрез с общенародными интересами.

Эпоха социализма в нашей стране внесла весьма существенные изменения в ход функционального развития языков. Главные причины таких изменений коренятся в самом существе социалистического строя. Во-первых, целью социализма является максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и культурных потребностей всех членов общества. Во-вторых, ленинская национальная политика провозгласила полное равноправие всех национальностей нашей страны и обеспечила возможность беспрепятственного развития их языков. В-третьих, все нации и народности СССР приобрели новый характер — они стали социалистическими, основанными на союзе рабочего класса, колхозного крестьянства и трудовой интеллигенции, и проникнуты духом интернационализма, дружбы и братской взаимопомощи всех народов. В-четвертых, Коммунистическая партия и Советское правительство проявляют повседневную заботу и руководят созданием новых и развитием старых литературных языков в смысле расширения сфер их действия и издания на них разнообразной литературы. Наконец, в-пятых, общий подъем материального и культурного уровня, рост политической сознательности всего населения вызывают у всех народов нашей страны небывалую тягу к просвещению и широкому пользованию литературным языком как мощным средством дальнейшего культурного роста. Все это накладывает свой отпечаток на характер функционального развития языков, которое впервые становится подлинно свободным, планомерным и целеустремленным.

Все языки народов СССР по уровню их функционального развития могут быть разбиты на три основные группы, как это обычно и делается в специальной литературе: 1) старописьменные, 2) младописьменные и 3) бесписьменные. Охватить их все в одной статье нет никакой возможности. К тому же моя научная компетенция довольно ограничена. В нее

никак не уместается все многообразие языков. Это вынуждает меня сделать известный отбор. Поскольку перспективы развития старописьменных языков, таких как русский, украинский, белорусский, литовский, латвийский, эстонский, грузинский, армянский, азербайджанский, узбекский, казахский, татарский, таджикский и некоторые другие, во всяком случае на ближайшее время не могут вызывать сомнений, я буду касаться их лишь в той мере, в какой они оказывают влияние на прочие языки.

Дальше речь пойдет в основном о функциональном развитии и перспективах младописьменных языков, т. е. тех языков, письменность которых была создана и приобрела хотя бы относительно общенародный характер в советское время. Как уже говорилось, таких языков у нас около шестидесяти. На примере развития этих языков лучше всего видны блестящие успехи ленинской национальной политики, так как именно они вместе с их носителями сделали за годы Советской власти наиболее значительный скачок от мрачного бесправия и бесперспективности к полной свободе и прогрессу. Я обойду некоторые связанные с темой вопросы, такие как история изучения этих языков и создания письменности, распространение грамотности, количественные показатели роста изданий и сети образовательных и культурно-просветительных учреждений, поскольку эти и многие другие подобные им вопросы уже получили широкое освещение в печати.

На ход развития младописьменных языков оказывает влияние целый ряд различных обстоятельств. На первых этапах в более выгодном положении оказываются те языки, которые имели ранее какие-то зачатки письменности, если они не сводились к единичным попыткам выпуска книг религиозного содержания на базе случайно выбранных диалектов и на чуждых или кустарно созданных алфавитах. Неудивительно, что начальный период существования новой письменности более успешно протекал у таких языков, как киргизский, каракалпакский, чувашский, якутский, кумыкский, кабардинский, аварский, осетинский, коми, мордовский, бурятский, чем у хакасского, тувинского, башкирского, абазинского, всех так называемых «северных» и многих других.

Существенное значение имеет на протяжении всего процесса развития литературных языков степень диалектной расчлененности народно-разговорной речи. Чем меньше диалектов и чем слабее различие между ними, тем успешнее молодой литературный язык вырабатывает свои нормы и завоевывает общенародные позиции. В этом смысле такие языки, как каракалпакский, тувинский, кабардинский, лезгинский, чукотский, находятся в значительно более благоприятных условиях, чем, скажем, алтайский, хакасский, бурятский, даргинский, табасаранский, эвенкийский, эвенский, хантыйский и корякский. В несколько особом положении оказался аварский язык. Он принадлежит к числу языков со значительной диалектной расчлененностью, но этот отрицательный для развития литературного языка фактор нейтрализуется наличием давно уже сложившегося единого языка междиалектного, а ранее, видимо, межплеменного общения, так называемого «болмац». Судя по некоторым литературным данным, какие-то зачатки подобного рода койне, возможно, существовали также у киргизов и тувинцев. Условия и перспективы развития литературных языков в большой мере зависят от того, являются ли их обладатели двуязычными и в какой степени. На этом вопросе я остановлюсь несколько ниже.

Очень многое определяется тем, обладает ли данный народ государственной автономией и в какой форме, имеет ли он свою хотя бы относительно замкнутую территорию, а также его численностью. Совершенно очевидно, что киргизы, объединенные в союзную республику и насчитывающие немногим менее миллиона человек, располагают неизмеримо большими возможностями и потребностями в развитии своего литератур-

ного языка, чем хотя бы нанайцы, не имеющие никакой национальной автономии и насчитывающие всего восемь тысяч человек.

От перечисленных выше и ряда других, часто не поддающихся пока еще учету исторически сложившихся условий зависит темп развития литературного языка, объем его функций и степень охвата им всего народа. В лучшем положении, естественно, находятся младописьменные литературные языки относительно крупных социалистических наций, обладающих национальной автономией в виде союзных или автономных республик и областей. Они переживают период бурного расцвета в смысле неуклонного расширения их функций в общественно-политической жизни, просвещении, науке, во всех видах литературы, в театре, в местном делопроизводстве и т. д., постепенно сглаживая диалектные различия в народно-разговорной речи. Наиболее успешно протекают эти процессы, как уже было отмечено, в тех случаях, когда диалектная расчлененность народно-разговорного языка незначительна, а тем более, если до создания письменности сложилось или начало складываться наддиалектное койне. Такого рода литературные языки имеют столь же очевидные перспективы развития, что и старописьменные.

Несколько менее ясны перспективы обслуживания родным литературным языком тех частей этих наций, которые живут вперемежку с другими нациями и являются двуязычными. Это в известной мере касается не только наций младописьменных, но и старописьменных, а в еще большей степени — младописьменных и бесписьменных народностей.

Особо стоит вопрос о тех редких случаях, когда одна нация имеет два литературных языка. Я имею в виду прежде всего мордовскую нацию с литературными языками эрзя и мокша, марийскую нацию с лугово-восточным марийским и горно-марийским литературными языками. Продолжает оставаться открытым вопрос, можно ли говорить о монолитных мордовской и марийской нациях. Если юни все же монолитны, то, видимо, положение о единстве национального языка как обязательном признаке нации требует уточнения. Но решение вопроса может быть и иным. Правильнее, пожалуй, считать, что в каждом из этих случаев мы имеем дело не с двумя самостоятельными литературными языками, а с двумя диалектными, хотя, может быть, и очень сильно расходящимися, разновидностями одного литературного языка, примеров чего немало дал докапиталистический период истории. Сходное положение у осетинской нации, общенациональный литературный язык которой основан на наиболее крупном диалекте — иронском, а литература в весьма ограниченном и все сокращающемся размере продолжает издаваться также и на дигорском диалекте. Возможно, что к подобного рода случаям существования литературы на разных диалектах одного языка следует отнести такие пары генетически очень близких языков, как коми-зырянский и коми-пермяцкий, абхазский и абазинский, чеченский и ингушский, которые некоторыми исследователями рассматриваются как диалекты, а не самостоятельные языки.

На другом полюсе классификационной схемы оказываются младописьменные языки малых народностей, не имеющих государственной автономии или имеющих ее лишь в форме национальных округов и районов. Сюда относятся прежде всего одиннадцать младописьменных языков малых народностей Севера: ненецкий, селькупский, хантыйский, мансийский, эвенкийский, эвенский, нанайский, чукотский, корякский, эскимосский, нивхский, некоторые из языков народов Кавказа: лакский, табасаранский, ногоайский, абазинский, татский (дагестанских татов), а также гагаузский в Молдавии, письменность которого существует всего третий год.

Созданная на этих языках литература, преподавание на них в национальных школах, ликвидация неграмотности взрослого населения, радиовещание и лекционная пропаганда сыграли большую роль в подъеме

культурного уровня наиболее отсталой в прошлом части населения нашей страны, способствовали росту политической сознательности, экономическому развитию, а тем самым и ускорению перехода этих народностей от стадии разложения первобытнообщинного строя или начальных этапов феодализма к социалистическому строю, от почти поголовной неграмотности к высокому уровню культуры. На наших глазах свершилось гениальное предвидение В. И. Ленина о возможности некапиталистического пути развития отсталых стран и народов при условии соответствующей пропаганды и помощи со стороны рабочего класса передовых народов (см. Соч., т. 31, стр. 219).

Сфера применения литературных языков малых народностей значительно уже, чем языков наций и крупных народностей. Обычно она ограничивается преподаванием в четырех-пяти, реже семи-восьми классах школы, изданием учебной литературы для этих классов, небольшого количества переводной и оригинальной литературы, выпуском районных и окружных газет или страничек в них, проведением культурно-просветительной работы. Особенно ограничена эта сфера у хантыйского, корякского, селькупского и нивхского языков. На них издаются лишь буквари для подготовительных классов.

Охват населения литературным языком в характерных для этих народностей условиях диалектной раздробленности также бывает обычно ограниченным. Носители периферийных диалектов своим литературным языком, как правило, не пользуются. Правда, в отдельных случаях, как, например, в отношении хантыйского языка, предпринимаются попытки создания букварей на нескольких диалектах, но пока еще рано судить, в какой мере это может разрешить возникающие трудности.

Процесс нивелировки диалектных различий у малых народностей идет, но ход его определяется в первую очередь перемещениями групп населения, их перемешиванием в связи с промышленным строительством и развитием сельского хозяйства. Литературные языки оказывают на этот процесс пока минимальное влияние или даже вовсе его не оказывают ввиду ограниченности сфер их применения. Это относится, видимо, к языкам не только малых, но и некоторых относительно крупных народностей. Впрочем серьезно изучением этого процесса, судя по литературе, никто не занимался.

На первых этапах, которые и сейчас еще далеко не могут считаться пройденными, младописьменные литературные языки, созданные на базе народно-разговорной речи, неизбежно несколько от нее отрываются по своим структурным признакам<sup>3</sup>. Это объясняется бурным развитием литературных языков, которым приходится в короткий срок значительно расширять объем своих функций, переходя от бытовой и фольклорной речи к языку перевода, политической пропаганды, художественной литературы и т. д. Вполне естественно, что народно-разговорный язык не в состоянии поспевать за развитием своей собственной литературной формы. Литературный язык изменяет и совершенствует свою структуру путем развития потенций народно-разговорного языка и его диалектных ответвлений, но в еще большей степени за счет разного рода заимствований, которые проникают, конечно, и в народно-разговорную речь, но в значительно меньшей мере. Бывают случаи, когда расхождения достигают такой степени, что издаваемая литература, особенно переводная, становится мало понятной для народа, а тем самым резко снижается авторитет литературного языка и его роль в культурном прогрессе. Подобные факты были отмечены в отношении кабардинского<sup>4</sup>, марий-

<sup>3</sup> Ю. Д. Д е ш е р е в, Развитие младописьменных языков народов СССР, М., 1958, стр. 239.

<sup>4</sup> «Уч. зап. Кабардино-Балкарск. научно-исслед. ин-та», т. XIV, Нальчик, 1958, стр. 114—120, 139—142.

ского<sup>5</sup>, мордовского<sup>6</sup>, бурятского<sup>7</sup> и некоторых других языков. В какой-то мере этот недостаток свойствен всем младописьменным языкам.

Устранение отмеченного разрыва возможно при двух условиях: во-первых, полного использования всех внутренних возможностей народно-разговорной речи и, во-вторых, широкого распространения грамотности, подготавливающего почву для завоевания литературным языком подлинно общенародных позиций.

Промежуточное место между двумя рассмотренными группами младописьменных языков, т. е. группой языков относительно крупных наций и группой языков малых народностей, занимают многочисленные языки малых наций и крупных народностей.

Приведенная классификация не может считаться ни абсолютно точной, ни исчерпывающей. Объясняется это в значительной мере тем, что, как уже отмечалось выше, серьезного изучения языков социалистических наций и народностей со стороны их функционального развития мы еще по сути дела не начали. А между тем уточнение этой классификации могло бы оказать существенную помощь в разработке вопросов, связанных с определением задач и перспектив развития отдельных литературных языков в будущем.

Важное значение для таких прогнозов имеет исследование всего разнобразия конкретных случаев взаимодействия языков. Науке известен целый ряд процессов и результатов такого взаимодействия, различие между которыми связано с тем, насколько длителен и тесен контакт, насколько близки друг к другу контактирующие языки по своей структуре и каково соотношение их «силы» в смысле принадлежности к более крупному, развитому в политическом, экономическом и культурном отношении народу, наличия более длительных и богатых литературных традиций, а в какой-то степени и более высокого уровня развития их структуры.

К такого рода процессам относятся: 1) заимствование, которое может иметь как разные степени, охватывая те или иные компоненты структуры языка, но не приводя к образованию новой структуры, так и различные формы, распространяясь только на материальные элементы (слова, морфемы, фонемы) или также и на типологию (калькирование, восприятие моделей); 2) двуязычие, при котором возможна не только речь параллельно на двух языках при диалоге, но и свободное включение в речь на одном языке элементов другого языка — слов, словосочетаний, предложений и даже целых периодов, как это отмечено в отношении узбеков и таджиков из пограничных районов<sup>8</sup>; 3) смешение, представляющее собой такое возникающее в условиях двуязычия сочетание в структуре одного языка элементов двух и более других языков, при котором невозможно говорить о чьей-то «победе» или о чьем-то «поражении», как это, например, имеет место в бесписьменном ороцком языке, где причудливо переплелись и в лексике, и в грамматике, и в фонетике элементы трех родственных между собой языков: нанайского, удэхейского и эвенкийского; возможно, что такой же или близкий к этому характер имеют смешанные каракалпакско-туркменские, каракалпакско-узбекские и каракалпакско-казахские говоры, некоторые другие языки и их территориальные ответвления; 4) переход на новый язык посредством скрещения как второй возможный выход из двуязычия, при котором не исключается сохранение некоторых структурных элементов старого языка, имеющих субстратный характер.

<sup>5</sup> «Уч. зап. [Марийск. научно-исслед. ин-та]», вып. V, Йошкар-Ола, 1953, стр. 40; там же, вып. VI, 1954, стр. 57—63.

<sup>6</sup> «Материалы научной сессии по вопросам мордовского языкознания», ч. 1, Саранск, 1955, стр. 163—174.

<sup>7</sup> «Сборник трудов по филологии [Бурят-Монгольского гос. научно-исслед. ин-та культуры и экономики]», вып. I, Улан-Удэ, 1948, стр. 11—13.

<sup>8</sup> В. С. Растрогуева, Очерки по таджикской диалектологии, вып. 2, М., 1952, стр. 10—11.

Случаев образования смешанных языков в советское время никому, насколько мне известно, наблюдать не приходилось, да, видимо, для этого и нет некоторых обязательных условий, в частности такого типа двуязычия, при котором оба контактирующих языка обладали бы равной «силой». Все прочие указанные выше процессы, несомненно, имеют место.

Необходимо прежде всего сказать о прогрессивном влиянии русского языка как языка передовой, наиболее высоко развитой во всех отношениях нации на остальные языки народов СССР. Путем заимствований это влияние в области терминологии, особенно связанной с новейшими общественно-политическими, научными и техническими понятиями, распространяется на все эти языки. Бесписьменные, младописьменные и некоторые из старописьменных языков испытывают, кроме того, благотворное влияние русского языка в области бытовой лексики и синтаксиса. Иногда влияние русского языка распространяется также на фонетику и морфологию, но последнее имеет очень ограниченный характер и сказывается в большей мере в письменной, чем в устной речи. Это влияние русского языка оказывает колоссальную помощь другим литературным языкам, особенно младописьменным, в развитии их структуры, что позволяет им успешно продвигаться вперед и в смысле расширения их общественных функций. Все эти вопросы нашли достаточное освещение в специальной литературе, и я могу на них подробно не останавливаться.

Некоторые другие старописьменные языки оказывают также свое полезное влияние на младописьменные и бесписьменные языки соседних народов. Такую роль играют азербайджанский, грузинский и армянский языки на Кавказе, таджикский на Памире, татарский в отношении башкирского. Но по сравнению с русским языком сфера и степень влияния этих языков значительно более ограничены, и оно не устраняет одновременного влияния русского языка. Можно заметить также незначительные структурные влияния со стороны одних младописьменных языков на другие, например, влияния аварского на некоторые мелкие языки Дагестана, якутского — на эвенкийский и эвенский, коми-зырянского — на ненецкий.

Однако взаимоотношения между языками не ограничиваются одними лишь структурными влияниями через заимствование. Нередко они приводят к образованию двуязычия. В этом случае, как правило, второй из сосуществующих в одном человеческом коллективе языков оказывается более «сильным», и именно он завоевывает позиции литературного языка, а первый сохраняется как бытовой разговорный язык.

В связи с этим мне представляется необходимым поставить вопрос об уточнении понятий «двуязычие» и особенно «второй родной язык». Уточнение необходимо прежде всего потому, что здесь нередко возможное и желаемое смешивается с действительным, а это вредит объективному исследованию реально протекающих процессов взаимодействия языков.

О «двуязычии» в терминологическом смысле можно говорить лишь тогда, когда отдельный человек, определенная часть народа или весь народ с одинаковой, хотя бы примерно, свободой пользуется двумя различными языками в любой обстановке, в том числе и в семье. В этих случаях можно говорить о двуязычии отдельного лица, о частичном или полном двуязычии народа. В этих же случаях научно оправданным оказывается и термин «второй (или другой) родной язык». Родным, как первым, так и любым другим, может считаться в прямом смысле слова лишь тот язык, на котором люди не только способны свободно общаться между собой в любом случае жизни и при любой обстановке, но и думать без всяких попыток прибегнуть к помощи какого-либо иного языка.

Подлинное двуязычие имеет место у отдельных южных групп осетинской нации, овладевших грузинским языком, у курдов, живущих в Армении, у пограничных групп узбекской и таджикской нации, у отдельных групп ненцев, усвоивших язык коми, у отдельных групп эвенков, манси,

нивхов или у таких целых народностей, как алеуты и орочи, усвоивших русский язык, и в целом ряде других подобных случаев. Иногда, как, например, у таджиков и узбеков, двуязычие может существовать весьма длительное время, до нескольких столетий, но все же рано или поздно оно сменяется обычно новым одноязычием, причем какой из двух сосуществующих языков возьмет верх — это зависит от целого ряда причин, в том числе от соотношения их «силы» в том значении этого слова, о котором говорилось выше. На пути к такому переходу на вторичное одноязычие стоит целый ряд бесписьменных языков. Известно, что ряд народностей Дагестана уже пользуется в качестве литературного языка аварским, мегрелы и сваны пользуются грузинским, малые народности Памира — таджикским, бесписьменные малые народности Севера — русским, якутским или коми-зырянским, часть гагаузов — молдавским.

А между тем в литературе двуязычием нередко именуется слабое, поверхностное овладение вторым языком с применением его в узкой сфере. В этом не было бы большой беды, если бы тут же не делались далеко идущие выводы, основанные не столько на существе явления, сколько на присвоенном ему по ошибке наименовании.

Иногда неточное употребление терминов «двуязычие» и «второй родной язык» приводит к серьезным ошибкам со стороны отдельных лиц в определении перспектив и насущных задач развития младописьменных литературных языков. Понимая в буквальном смысле метафорическое выражение «русский язык стал вторым родным языком для всех народов СССР», они часто торопятся сделать вывод о том, что дальнейшее развитие того или иного литературного языка нецелесообразно, так как его носители владеют русским языком якобы столь же хорошо, как и родным, а их родной язык не имеет шансов на длительное существование.

Языковедам, участвовавшим в работе по созданию и развитию письменности для малых народов СССР, с самого начала этой работы и по сей день, часто задавался такой вопрос: «зачем создавать литературный язык, если лет через 10—20 на этом языке никто уже и говорить не будет?». Такой вопрос оправдан в случаях подлинного двуязычия, но он совершенно неуместен, когда речь идет о народностях, основная масса представителей которых владеет русским или каким-либо другим вторым языком значительно слабее, чем родным. Ведь переход народа с одного языка на другой, как мы говорили, не может быть мгновенным. Показательны в этом отношении данные переписи населения СССР 1959 г. Из малых народностей считают родным язык своей национальности, например: 99,5% агулов, 99,9% рутулов, 99% цахуров, 99,2% табасаранов (в Дагестане), 94,9% белуджей (в Туркмении), 85,7% ненцев, 93,9% чукчей, 90,5% коряков, 86,3% нанайцев, 84% эскимосов (на Севере). Следовательно, ни о каком отмирании родных языков у этих и многих других подобных им народностей пока не может быть и речи, а ведь некоторые из них, такие как агулы, рутулы, цахуры, белуджи, своей письменности не имеют и давно уже обучаются на каком-нибудь другом языке. Отсюда для языковедов вытекает необходимость поставить серьезное, основанное на объективных научных методах изучение вопросов двуязычия как в структурном, так и в функциональном планах, и в первую очередь — изучение реально протекающих процессов овладения со стороны нерусских национальностей русским языком.

Для всякого марксиста очевидно, что формирование единого коммунистического общества в мировом масштабе будет сопровождаться отмиранием национальных различий, в том числе, естественно, и различий в языке. Но определить сколько-нибудь точно дату установления единого языка для всего человечества сейчас еще никто не может. У нас нет никаких объективных данных, чтобы судить и о том, в каких формах будет протекать процесс образования единого языка — будет ли это чем-то вроде спортивных соревнований по олимпийской системе с конечной по-

бедой одного из языков, будет ли это постепенное смешение всех или хотя бы нескольких из существующих ныне языков на основе полного равноправия, или, наконец, это будет искусственно созданный язык с логически безукоризненной структурой. Разрешение этих вопросов и даже составление прогнозов в этом отношении — дело отдаленного будущего. Но что является выполнимым и совершенно обязательным для настоящего времени, так это основанное на фактах реальной действительности выявление перспектив развития всех литературных языков народов СССР на обозримое будущее время.

Как уже говорилось, у нас нет оснований сомневаться в том, что старописьменные литературные языки социалистических наций будут неуклонно развиваться, все более раскрывая свои внутренние потенции. То же самое можно сказать и относительно языков наций, выработавших свои литературные формы уже в советское время. Не совсем ясны перспективы молдавского литературного языка в смысле его взаимоотношений с румынским, из которого он вычленился всего лет сорок назад. Особо стоит вопрос о мордовском и марийском языках. Возможно, что со временем у каждой из этих наций сложится по одному литературному языку вместо существующих сейчас двух. Впрочем, не исключена возможность, особенно для мордовской нации, разделения ее на две нации с особым литературным языком у каждой, поскольку между эрзя и мокша взаимопонимание на базе родного языка крайне затруднено. Возможно также и то, что мордовская нация, оставаясь единой, сохранит оба литературных языка, но с более узкой сферой действия, а за счет этого возрастет роль русского языка, который уже и сейчас широко используется как средство общения между представителями двух частей этой нации. Может быть, со временем сложатся благоприятные условия для воссоединения в одну нацию с единым литературным языком коми-зырян и коми-пермяков, легко понимающих язык друг друга, но разобщенных в территориально-административном отношении.

Для большинства младописьменных языков народностей, прежде всего малых, на языках которых отсутствует практическая возможность постановки не только высшего, но даже и полного среднего образования, наиболее вероятная перспектива — постепенный, в большинстве случаев, по-видимому, длительный процесс перехода на русский литературный язык. Чтобы облегчить этот процесс, необходимо прежде всего поднять на высокий уровень обучение русскому языку в школах соответствующих народностей, чего мы еще далеко не везде достигли. При обучении русскому языку следует максимально использовать ту помощь, которую может оказать в этом деле родной язык учащихся. А помощь эта при разумной методике неопенима. На родном языке можно легче и вернее донести до учащихся все тонкости структуры вновь изучаемого языка. Больше того, возможности проникновения в эти тонкости находятся в прямой зависимости от того, насколько хорошо знают и чувствуют учащиеся структуру своего родного языка. Следовательно, родной язык никак не мешает, а наоборот, помогает усвоению русского языка, в то же время русский язык не устраняет, а предполагает использование родного.

Итак, многие, если не все, младописьменные народности рано или поздно перейдут к пользованию русским языком в качестве литературного, хотя их родные языки могут и после этого сохраняться продолжительное время как разговорно-бытовые и даже как языки оригинальной художественной литературы. Но как же быть с такими народностями, пока они еще не усвоили в своей массе русского языка? Можно ли на длительный срок лишать их возможности культурного прогресса, ставить их, хотя бы на время, в неравные условия с другими народами? Думается, что разных ответов на эти вопросы быть не может. Но в таком случае необходимо признать, что до перехода на русский литературный язык

социалистические народности должны иметь возможность сохранять свои родные литературные языки.

Процесс замены у целого народа одного языка другим регулируется объективными закономерностями. Попытки искусственно ускорить ход этого процесса или обойти какой-либо из закономерных его этапов могут только затормозить дело, дискредитировать его в глазах тех, чьи интересы имеются здесь в виду. Ведь сами эти народности вполне искренно и сознательно стремятся овладеть русским языком, видя в нем самое надежное средство своего культурного роста. Подталкивать их в этом направлении нет надобности, нужно лишь заботиться о создании наиболее благоприятных условий для успешного овладения русским языком при сохранении обязательного принципа добровольности, о котором неоднократно говорил В. И. Ленин, причем этот принцип добровольности должен распространяться не только на переход к новому, но и на сохранение старого языка. Диалектичность ленинской постановки национального вопроса сохраняет и здесь свою полную силу. Имея в виду более или менее отдаленную перспективу перехода младописьменных народностей на русский язык, мы обязаны сейчас обеспечить возможность максимального развития их родных литературных языков.

Не исключена возможность, что отдельные младописьменные народности перейдут не на русский, а на язык какой-либо другой крупной социалистической нации. В этом случае вопрос о переходе на новый литературный язык должен ставиться так же, как он был поставлен выше в отношении перехода на русский литературный язык, если только между старым и новым языками нет близкого генетического родства. В последнем случае переходный период может занять, понятно, значительно меньшее время, но обойтись вовсе без него, видимо, все же нельзя.

Для бесписьменных народностей, у которых ввиду их малочисленности создание литературных языков невозможно, имеется лишь один путь — овладение неродным литературным языком, что опять-таки вовсе не предполагает обязательного немедленного отказа от родного разговорного языка. Большинство из них на этот путь уже вступило, и некоторые имеют уже значительные успехи. Таким литературным языком чаще всего является русский, но для отдельных групп народностей — также азербайджанский, грузинский, аварский, таджикский, якутский, хакасский и др.

Не так давно у нас было распространено мнение, что вопрос о бесписьменных народностях может быть решен очень просто — они должны обслуживаться литературными языками генетически родственных им более крупных народностей или наций, и тем самым будет заложена основа для их консолидации. Мнение это исходило из свойственного «новому учению о языке» представления о том, что языковое развитие — не что иное, как постепенное слияние языков путем скрещения и что темпы этого процесса и его направление могут регулироваться сознательной волей людей. Однако в действительности никакого скрещения не получилось, а обслуживание чужими литературными языками оказалось возможным в тех немногих случаях, когда у малых народов существовали естественно сложившиеся традиционные экономические и культурные связи с более крупными народами, обладавшими своими литературными языками. Следует обратить внимание на то, что генетическое родство при этом играло далеко не первостепенную роль, а иногда и никакой роли не играло. Небольшая народность долганы пользуется генетически родственным, но все же чужим для нее якутским литературным языком, большие различия существуют между иранскими языками народностей Памира и обслуживающим их таджикским литературным языком, и уж совсем никаких родственных отношений не существует между иберийско-кавказскими хиналугским или будухским языками и тюркским азербайджанским, между иранским языком азербайджанских татов и тем же азербайджан-

ским, между иранским языком туркменских курдов и туркменским, и тем не менее хиналугцы, будухцы и часть татов пользуются азербайджанским литературным языком, а часть курдов — туркменским.

В чем же заключался дефект упомянутой точки зрения о возможности в наших условиях слияния родственных языков? Объяснение нужно искать, видимо, в том, что, во-первых, языковая политика может быть успешной только тогда, когда она основана на строжайшем учете реально протекающих процессов взаимодействия между языками, а не сводится к спекулятивным соображениям или тем более к декретам, пусть даже исходящим из самых лучших побуждений. Дело заключается, во-вторых, также и в том, что эти проекты игнорировали мощное влияние и притягательную силу наиболее перспективного в наших условиях русского языка для всех народностей Советского Союза, оказывающиеся значительно более действенными, чем связи по линии генетического родства. Заставлять силой пользоваться тем или иным языком, как показывает история, дело почти безнадежное, а в советских условиях к тому же и недопустимое. Для овладения другим языком при ограниченных возможностях родного необходимы ясное понимание целесообразности этого, желание и практические возможности. Зачем нужно овладевать чужим, пусть даже и близкородственным языком, если он применим лишь в узкой сфере человеческой деятельности? Не лучше ли потратить больше усилий, но овладеть таким чужим языком, который, как, например, русский, способен открыть перед любым народом неограниченные возможности? Естественно, что подобного рода вопросы не могут не волновать самые малые народности нашей страны, и мнение большинства из них склоняется в пользу русского языка, а небольшая часть ввиду особых условий жизни избирает литературный язык какого-либо другого из крупных народов.

В своей статье я говорил о тех задачах, которые стоят перед советскими языковедами в отношении содействия своими исследованиями развитию литературных языков. Но мне не хотелось бы, чтобы меня поняли так, будто бы языковедам надлежит решать и вопрос о том, какой именно литературный язык должен избрать тот или иной народ. Полная свобода решения для себя этого вопроса есть неотъемлемое право любого народа и даже любого гражданина Советского государства. Языковеды должны лишь наметить возможные решения и подсказать, когда это нужно, наиболее целесообразные из них для каждого конкретного случая, исходя из исторического опыта и общих задач коммунистического строительства.

Наша страна добилась небывалых успехов в разрешении национального вопроса. Установившаяся в результате этого нерушимая крепкая дружба народов явилась величайшей силой, цементирующей советское общество. Успехи эти достигнуты благодаря последовательному претворению в жизнь разработанных В. И. Лениным принципов национальной политики Коммунистической партии. Свой посильный вклад внесли в это благородное дело и советские филологи. Но жизнь ежедневно ставит перед нами все новые и новые задачи, связанные с изучением процессов развития литературных языков. Разрешения этих задач требует от нас прежде всего практика культурного строительства в нашей стране, но нельзя забывать и того, что наш опыт в этой области привлекает пристальное внимание языковедов и деятелей культуры стран народной демократии и молодых государств Азии и Африки, недавно освободившихся от ига колониализма.

Т. ЛЕР-СПЛАВИНСКИЙ

## К СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЛАВЯН

Вопрос, откуда явились славяне, когда и как заняли территорию, населенную ими в историческое время, столь же стар, как и славистические исследования вообще. Он даже старше их, так как первые опыты ответа на него встречаем уже у древнейших славянских летописцев. Так, в самой древней русской летописи — Повести временных лет (начало XII в.) читаем в третьей главе: «По мнозѣхъ же времянѣхъ сѣли суть словѣни по Дунаеви, гдѣ есть ныне Угорьска земля и Болгарьска. И от тѣхъ словѣнъ разидошася по землѣ и прозвашася имена своими, гдѣ сѣдше на котормъ мѣстѣ. Яко пришедше сѣдоша на рѣцѣ имянемъ Маравя, и прозвашася моравя, а друзии чеси нарекошася. А се ти же словѣни: хрватѣ бѣли и серебъ и хорутане. Волхомъ бо нашедшемъ на словѣни на дунайския, и сѣдшемъ в них и насилящемъ имъ, словѣни же ови пришедше сѣдоша на Вислѣ, и прозвашася ляхове, а от тѣхъ ляховъ прозвашася поляне, ляхове друзии лутичи, ини мазовшане, ини поморяне. Тако же и ти словѣне пришедше и сѣдоша по Днѣпру и нарекошася поляне, а друзии древляне, зане сѣдоша в лѣсѣхъ; а друзии сѣдоша межю Припетью и Двиною и нарекошася дреговичи; инии сѣдоша на Двинѣ и нарекошася полочане, рѣчки ради, яже втечетъ въ Двину, имянемъ Полота, от сея прозвашася полочане. Словѣни же сѣдоша около езера Илмеря, и прозвашася своимъ имянемъ, и сѣдлаша градъ и нарекоша и Новъгородъ. А друзии сѣдоша по Деснѣ, и по Семи, по Сулѣ, и нарекошася сѣверъ. И тако разидеся словѣньскій языкъ, тѣм же и грамота прозвася словѣньская»<sup>1</sup>. Здесь в летописи дается довольно точный перечень известных летописцу славянских племен, причем земли по среднему течению Дуная считаются их общей родиной. Это же мнение встречается в средневековых польских и чешских хрониках (Великопольская хроника XIII—XIV вв., История Польши Длугоша XV в., Хроника Далимиля)<sup>2</sup>, в которых прародиной славян признается Паннония, т. е. центральные области Венгрии. Такое понимание прародины объясняется, видимо, библейским преданием о том, что колыбелью всего человечества была Азия, а от Вавилонской башни путь в среднюю Европу вел через Балканский полуостров и низменность среднего Дуная.

Когда в начале XIX в. стало серьезно развиваться научное славяноведение, один из его пионеров чешский исследователь Й. Добровский, не придавая большого значения летописным данным, указал на особую важность для решения вопроса о славянской прародине близких языковых и этнографических связей славян и литовцев. На этом основании он сформулировал тезис (в 1810 г. в письме к В. Копитару), согласно которому первоначальная территория славян лежала где-то за пределами литовской территории, на Днепре или за Днепром<sup>3</sup>. Из еще более отдаленных мест

<sup>1</sup> «Повесть временных лет», ч. 1, под ред. В. П. Адриановой-Перетц, М.—Л., 1950, стр. 11.

<sup>2</sup> Ср. T. Lehr-Splawinski, W. Kuraszkiewicz, F. Sławski, *Przegląd i charakterystyka języków słowiańskich*, Warszawa, 1954, стр. 18—19.

<sup>3</sup> И. В. Ягич, *Письма Добровского и Копитара*, СПб., 1885, стр. 119.

востока выводил род славян первый польский ученый-славяновед В. Суrowецкий, который в 1824 г. высказал мнение, что исходной территорией славян была далекая Армения, выйдя откуда они заняли Северо-восточную, а потом и среднюю Европу<sup>4</sup>. Под влиянием Суrowецкого находился некоторое время знаменитый чешско-словацкий исследователь славянских древностей П. Й. Шафарик<sup>5</sup>.

Новые сведения в этой области изысканы были во второй половине XIX в. путем сравнительно-исторического исследования. Установление принадлежности славянских языков к большой индоевропейской языковой семье дало возможность оценить взаимоотношения между славянами и другими народами, пользующимися индоевропейскими языками, и способствовало ориентировке в вопросе о происхождении славян, хотя и не дало достаточных данных для окончательного его решения. Языковедческие исследования, итоги которых мы здесь подробно не будем рассматривать, привели к заключению, что славянские языки в общем произошли когда-то из языка, общего для предков современных славянских народов. Сопоставление основных особенностей этого общеславянского языка со строем иных индоевропейских языковых комплексов показало, что он больше других сроден с языком так называемых балтийских (возглавляемых ныне литовцами и латышами), а также германских народностей. Меньшую связь обнаружил он с языком древних иранских племен (древние скифы и сарматы, современные персы в Иране). Это дало основание для вывода о том, что славяне появились по соседству с упомянутыми языковыми комплексами, т. е. на территории средневосточной Европы. Но эти указания не были достаточно точны. Для решения вопроса были привлечены языковые реликты, сохранившиеся на протяжении нескольких столетий и даже нескольких десятков столетий на изучаемой территории — топонимические данные, среди которых самыми важными надо считать названия рек. На основании этого материала, а также анализа слов, заимствованных славянами в далеком прошлом из других языков, языковеды пришли к некоторым, к сожалению не вполне согласным, выводам, которые — наряду с данными истории древнего мира и отчасти археологии — явились основой в первые десятилетия нашего века для формулировки двух главных гипотез, касающихся происхождения и первоначальных мест жительства славян. Одну из них можно назвать восточноевропейской. Согласно этой гипотезе, первоначальные славянские территории располагались к востоку от прародины балтийских языков, где-то в России за Неманом и Днепром<sup>6</sup> или в бассейне верхней Западной Двины и верхнего Немана (вплоть до озера Ильмень)<sup>7</sup>. По второй гипотезе, которую сформулировал чешский археолог-историк Л. Нидерле, колыбелью славян были земли от средней Вислы до средней части бассейна Днепра<sup>8</sup>. С этим взглядом согласуются воззрения некоторых других исследователей, пользующихся почти исключительно лингвистическими данными. Вспомним здесь

<sup>4</sup> W. Surowiecki, *Sledzenie początku narodów słowiańskich*, Warszawa, 1824, стр. 177 и сл.

<sup>5</sup> См. его основной труд: P. J. Šafařík, *Slovanské starožitnosti*, Praha, 1837, стр. 190 и сл.; см. также его более раннюю книгу «Ueber die Abkunft der Slaven nach Lorenz Surowiecki», Budapest, 1828.

<sup>6</sup> J. Rozwadowski, *Kilka uwag do przedhistorycznych stosunków wschodniej Europy i praojczyzny indoeuropejskiej na podstawie nazw wód*, «Rocznik slawistyczny», t. VI, 1913, стр. 39—73; его же, *Nazwy Wisły i jej dorzecza*, Warszawa б. г.). Перепечатка в его посмертном труде «*Studia nad nazwami wód słowiańskich*», Krakow, 1948, стр. 280 и сл. (ср. стр. 303).

<sup>7</sup> Al. Schachmatow, *Zu den ältesten slavisch-keltischen Beziehungen*, AfsIph, Bd. XXXIII, Hf. 1—2, 1911.

<sup>8</sup> Последнюю формулировку этих взглядов см. в посмертно изданном труде Л. Нидерле (L. Nidderle, *Rukověť slovanských starožitností*, Praha, 1953, стр. 25).

ботаника Ю. Ростафиньского и языковеда М. Фасмера<sup>9</sup>, которые, однако, перемещают эту территорию главным образом в бассейн Припяти.

Наряду с этими двумя теориями уже с начала XIX в. существовала и третья гипотеза — «западная», по которой первобытная родина славян находилась в западной области их исторических территорий, приблизительно между бассейнами Эльбы и Буга. Эта теория, которую обычно называют автохтонной, была выдвинута еще в конце XVIII в. немецким историком А. Шлёцером<sup>10</sup> и пользовалась значительной известностью в период гердеровского идеализирования славян и их культуры; затем она поддерживалась польскими историками В. Кентшинским (отцом) и братьями Э. и В. Богуславскими<sup>11</sup>. В последующее время она во многом ставилась под сомнение, прежде всего лингвистами, из-за поражающего дилетантизма в языковедческих выводах ее сторонников; в период обострения немецкого национализма эта теория встречает постепенно возрастающее, хотя и не всегда научно обоснованное сопротивление. И в Польше в течение довольно долгого времени эта теория встречала — особенно среди языковедов — довольно сдержанное отношение. Однако в связи с новыми исследованиями польских археологов, и в первую очередь И. Костшевского и Л. Козловского<sup>12</sup>, в междувоенное время наступило возрождение и укрепление «западной» теории происхождения славян. Расходясь в частности, оба названных археолога связали этногенез славян с экспансией так называемой лужицкой культуры на землях бассейна Одры и Вислы в период бронзового и в начале железного века. В поддержку этого тезиса выступил также крупнейший польский антрополог Я. Чекановский<sup>13</sup>, а из языковедов — издатель познаньского журнала «*Slavia occidentalis*» М. Рудницкий.

Автор настоящей статьи не находил вначале достаточных языковедческих доказательств в этой области и лишь впоследствии, ознакомившись подробно с обширным языковым материалом (как грамматическим, так и лексическим и топонимическим), относящимся к общеславянскому периоду, убедился в преимуществах западной, автохтонной теории этногенеза славян<sup>14</sup>. В книге «*O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian*», в соответствии с положениями Л. Нидерле и Я. Чекановского, разрабатывается точка зрения, согласно которой вопрос об этногенезе славян нельзя надежно решить путем одностороннего рассмотрения языкового материала (как думало большинство языковедов, исследовавших эту проблему у нас и за границей); он требует соразмерного освещения с точки зрения не только языка, но и материальной и духовной культуры человека, а также его физической организации, изучаемой на фоне языкового родства. Сопоставляя итоги исследований смежных дисциплин — истории и языкознания, преесторической археологии, отчасти этнографии и истории социального строя,

<sup>9</sup> См. J. R o s t a f i ń s k i, *O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach*, Kraków, 1908; M. V a s m e r, *Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven*, I, Leipzig, 1923; ег о ж е, *Die Urheimat der Slaven*, сб. «*Der ostdeutsche Volksboden*», hrsg. von W. Volz, Breslau, 1926.

<sup>10</sup> A. L. S c h l ö z e r, *Allgemeine nordische Geschichte*, Halle, 1771.

<sup>11</sup> W. K e t r z y ń s k i, *O Słowianach mieszkających niegdyś między Renem a Łabą, Sałą i czeską granicą*, Kraków, 1899; E. B o g u s ł a w s k i, *Historia Słowian*, Kraków—Warszawa, I—1888, II—1899.

<sup>12</sup> Важнейшие труды И. Костшевского по рассматриваемым вопросам: J. K o s t r z e w s k i, *Od mezolitu do okresu wędrówek ludów*, в кн. «*Prehistoria ziem polskich*», Kraków, 1939; ег о ж е, *Prasłowiańszczyzna. Zarys dziejów i kultury Prasłowian*, Poznań, 1946. Из работ Л. Козловского назовем здесь: L. K o z ł o w s k i, *Kultura Inyżycka a problem pochodzenia Słowian*, «*Pamiętnik IV Powz. Zjazdu historyków polskich*», I, Lwów, 1925, стр. 14 и сл.

<sup>13</sup> J. C z e k a n o w s k i, *Wstęp do historii Słowian*, Lwów, 1927 (2-е wyd. — Poznań, 1957); ег о ж е, *Polska-Słowiańszczyzna. Perspekty wy antropologiczne*, Warszawa, 1948.

<sup>14</sup> См. Т. L e h r - S p ł a w i ń s k i, *O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian*, Poznań, 1946, стр. 237. В этой работе автор полностью стоит на позиции западной теории.

автор намечает общую картину предполагаемого генезиса общеславянской этническо-языковой общности и локализации ее древнейшей территории. Итоги изучения полностью подтвердили так называемую «западную» теорию происхождения славян: общеславянский комплекс сложился в результате многовекового взаимного наложения ряда индоевропейских этническо-культурных и языковых элементов, которые с конца периода младшего каменного века (неолита), через век бронзы и первые периоды железного века (т. е. начиная с III тысячелетия до н. э.) распространялись поочередно, преимущественно с юго-запада к северу и востоку. Заселяя территории бассейнов Одры и Вислы вместе с Бугом, они образовали четко характеризующийся в языковом и культурном отношении этнический комплекс, давший основу последующей широкой экспансии постепенно дифференцирующихся славянских народностей. Такое определение этногенеза славян во время второй мировой войны стало, с немногими отклонениями, почти исключительно господствующим в польской и чешской науке; оно было признано также многими неславянскими учеными (К. Вердиани, Ф. Фалькенганг и др.).

В Польше западной теории решительно воспротивился ныне покойный К. Мошиньский, который и раньше был против всех автохтонных концепций. Еще в 1925 г. он выдвинул гипотезу, которую можно бы назвать азиатской, так как она относит происхождение славян в Среднюю Азию, в «северную пограничную полосу большой степи». И хотя позже в своем большом труде о народной культуре славян К. Мошиньский (вероятно, под влиянием полностью отрицательного отношения одного из самых крупных монголоведов В. Котвича к итогам тюрко-славянских языковых сопоставлений) значительно модифицировал это мнение и свел его к формуле, по которой «славяне уже за несколько столетий до времен Христа занимали огромное пространство с Дикого поля вплоть до балтийского побережья включительно», однако в целом он продолжал придерживаться мнения об их происхождении из более восточных областей, из евразийской пограничной полосы, не уточняя, однако, исходных пунктов<sup>15</sup>. Эту же точку зрения К. Мошиньский излагает в своем последнем труде «Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego», который в целом посвящен борьбе с теорией о западном, автохтонном возникновении общеславянского комплекса<sup>16</sup>. Автор, будучи известным этнографом, пользуется в этой книге (как и в предшествующих этногенетических работах) почти исключительно лингвистической аргументацией, основанной не только на материале славянском и индоевропейском, но и тюркско-алтайском, который он использует для придания большей вероятности своей непоколебимой вере в восточное происхождение славян.

Страстная привязанность к провозглашаемому им тезису сдвинула его в этой книге в значительной степени с пути правильного методического рассуждения. Здесь содержится множество часто очень правильно и критически истолкованного этимологического материала, касающегося названий рек, растений, хозяйственных орудий и других славянских и неславянских слов, однако лишь такого, который позволяет вывести нужные для автора итоги или опровергнуть выводы его оппонентов; в то же время в книге обходятся молчанием данные, не согласующиеся с основным ее тезисом, причем это касается не только мелочей, но даже и целых комплексов исследования, которые считаются бесполезными, если только ведут к итогам,

<sup>15</sup> См. K. Moszyński, *Badania nad pochodzeniem i pierwotną kulturą Słowian*, Kraków, 1925; его же, *Kultura ludowa Słowian, cz. II, zes. 2*, Kraków, 1939, стр. 1530 и сл.

<sup>16</sup> K. Moszyński, *Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego*, Wrocław—Kraków, 1957, стр. 332. См. рецензии на эту работу: В. Н. Топоров, ВЯ, 1958, № 4; Т. Милевский, «Rocznik slawistyczny», т. XXI, cz. 1, 1960; ср. также: Т. Лер-Спиавиński, *Rozmieszczenie geograficzne prasłowiańskich nazw rzecznych*, «Rocznik slawistyczny», т. XXI, cz. 1, 1960 и его же, *Kilka uwag o słowiańskiej nazwie Dunaju*, «Sprawozdania PAN», Wydział I, т. II, 1959, стр. 78—79.

непримиримым со взглядами автора. Так, К. Мошинский отрицает возможность привлечения в качестве вспомогательного материала при рассуждении о вопросах, касающихся происхождения и экспансии языков, данных из области предысторической археологии, а также антропологии, объясняя свою точку зрения в основном верным, но неправильно применяемым положением, по которому пути распространения языковых процессов настолько рознятся от путей культурных и расовых экспансий, что на основании фактов из этих двух областей никаких выводов о распространении языка сделать нельзя. Да и собственно языковые данные используются К. Мошинским лишь частично; не принимаются во внимание те, которые опровергали бы его основные взгляды на происхождение и распространение общеславянского языка. В связи с таким подходом полностью остаются в стороне вопросы связей грамматической структуры языка древних славян и других индоевропейских языковых комплексов, которые наглядно приводят к установлению взаимосвязей славянского с балтийскими и германскими языками; сходства в языке рассматриваются односторонне; связям славян с восточными соседями придается больше значения, чем с западными.

Углубляясь в этимологический анализ множества названий растений, хозяйственных орудий, топографических имен, автор занимается, между прочим, подробно водной ономастикой бассейна Днепра, подчеркивая в ней основные элементы несомненно славянского характера, но минуя одновременно такие же или схожие названия рек бассейна Одры и Вислы вместе с Бугом; в связи с этим у читателя, особенно недостаточно ознакомленного с топонимикой этих территорий, создается совершенно одностороннее представление об исключительно древнем славянском характере названий бассейна среднего Днепра в отличие от остальной территории между Карпатами и Балтийским морем. Что же касается точек соприкосновения между славянскими и урало-алтайскими языками, в особенности тюркскими, то К. Мошинский уже в первой своей работе (1925 г.) перечислил около 40 тюркских слов, которые, по его мнению, заимствованы из общеславянского и должны доказать близкие, соседские славяно-тюркские связи еще в период славянской языковой общности. Подобные сопоставления, не говоря уже о том, что этимологии здесь разные, возбуждающие сомнение, с методической точки зрения недопустимы; об этом высказался уже в то время В. Котвич, который подчеркнул, что знание исторического состояния строя тюркских языков в настоящее время в основном не проникает в прошлое глубже, чем до VII—VIII вв.<sup>17</sup> Такая значительная хронологическая разница препятствует, по В. Котвичу, тому, чтобы принимать серьезно во внимание тюркско-славянские этимологические сопоставления. Этого отрицательного замечания Котвича Мошинский не принял во внимание; в своих дальнейших трудах он по-прежнему пользовался непосредственными сопоставлениями тюркских и общеславянских слов (и наоборот), рассчитывая, по-видимому, на слабую ориентацию читателей-славистов в соответствующей хронологии.

Все же, очевидно под влиянием Котвича, К. Мошинский сгладил в известной степени свои воззрения относительно восточного, азиатского происхождения общеславянского языка. Критический анализ итогов этногенетических исследований Мошинского (который, конечно, здесь в подробностях дать нет возможности) в целом приводит, однако, к выводу, что даже модифицированный подход к теории восточного происхождения славян и их языка (несмотря на огромную работу, которую для поддержания этой теории выполнил К. Мошинский) ни в коем случае удовлетворить не может. Ему прежде всего (вопреки мнению, столь решительно выражен-

<sup>17</sup> См. W. K o t w i c z, [реп. на кн.:] K. Moszyński, *Badania nad pochodzeniem i pierwotną kulturą Słowian*, «Rocznik orientalistyczny», t. III, Lwów, 1927., стр. 291 и сл.

ному Мошинским) противоречат лингвистические данные. Не те данные, которым Мошинский посвятил свое главное внимание, сделав подробные наблюдения над названиями растений и разнообразных хозяйственных орудий (хотя о их географическом происхождении и странствованиях, несмотря на неоднократные очень удачные этимологические анализы, обычно почти ничего определенного сказать нельзя), но более широкие, касающиеся грамматического строя общеславянского языка в его отношении к соседним языкам. Эти данные представляют совсем в ином свете родственные связи внутри индоевропейской семьи языков, а впоследствии и первоначальную локализацию славянских племен среди других индоевропейских. Анализ этих связей, которым в последнее время уделяется особенно много внимания (достаточно вспомнить серьезные итоги трудов немецкого компаративиста В. Порцига и болгарского ученого В. Георгиева<sup>18</sup>), привел к однозначному заключению, что общеславянский диалектальный комплекс до времени ослабления индоевропейской языковой общности находился в ближайшем родстве с комплексом наречий так называемых балтийских племен, а также с германскими наречиями, вместе с которыми он входил в состав севериндоевропейской диалектальной группы. Связи же этого комплекса с наречиями иранских племен, а по-видимому, и фракийских, были во всяком случае намного слабее.

Такое положение вещей заставляет предполагать, что территории, на которых образовался общеславянский язык, должны были находиться в ближайшем соседстве с местожительством балтийских и германских племен. Но так как места поселения обоих этих комплексов находились, несомненно, в прибалтийской полосе: первого комплекса в бассейне Немана, Западной Двины и Преголи, второго — в южной Скандинавии, Ютландии и в бассейне нижней Эльбы, — исконную славянскую территорию, которая соседствовала с обоими упомянутыми районами, надо усматривать в разделяющем их пространстве бассейнов Одры и Вислы. На юго-востоке это пространство, если учитывать языковые связи с иранскими и фракийскими племенами, захватывало часть бассейнов верхнего Днестра и среднего Днепра. Это распространение во всяком случае решительно иное, чем у К. Мошинского, который считал средний бассейн Днепра только вторичной прародиной славян, уже после их переселения за несколько столетий до новой эры из евразийской пограничной полосы. Хронологию этого славянского нашествия на территорию бассейна Днепра Мошинский не уточняет, но так как он считает славянами упомянутых Геродотом (в V в. до н. э.) неуров, передвижения которых этот греческий писатель относит ко времени, несколько опережающему поход Дария против скифов, т. е. около VII в. до н. э., то ему приходится принять, что движущаяся с востока на запад славянизация Поднепровья должна была ко времени, хронологически близкому к началу последнего тысячелетия до н. э., объять Украину, а затем Вольню. В этом Мошинский приближается к нашему пониманию западного, автохтонного происхождения славян: славянский языковой характер упомянутой территории кажется несомненным для той эпохи и с «западной» точки зрения. На это указывают не только относительно древние славяно-фракийские языковые контакты, не охватывающие балтийских наречий, но и смешанный характер топографической терминологии, особенно речной, которая наряду со многими фракийскими и иранскими элементами содержит большое количество несомненно общеславянских названий. К. Мошинский обратил на них внимание, но, обойдя молчанием не менее обильное их наличие также в области бассейнов Одры и Вислы, считал их доказательством первобытности — почти вторичной автохтонности — славянских поселений на Поднепровье. Однако в этой связи обращает на себя внимание тот факт, что на западе общеславянскими

<sup>18</sup> W. Porzig, Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebietes, Heidelberg, 1954, стр. 251; В. И. Георгиев, Исследования по сравнительно-историческому языкознанию, М., 1958.

являются названия не только мелких приточных речек, но и главных водных магистралей (как Одра, Висла). Последние, как правило, являются самыми древними и прочными, в то время как на Поднепровье названия главных рек исключительно чужого происхождения (ср. Днепр, Дон, Днестр, укр. Бог = русск. Южный Буг и т. д.), а славянские названия выступают регулярно только у их притоков (те названия, которые существуют в бассейне Вислы, встречаются главным образом в уменьшительных формах). Это, как нам кажется, отчетливо свидетельствует о том, что общеславянская номенклатура в бассейнах Одры и Вислы была старше и отсюда вторично перешла на Поднепровье, где, впрочем, наравне с общеславянским языком стала развиваться своей буйной, самостоятельной жизнью.

Кроме этих языковых указаний, говорящих в пользу западно-восточного направления экспансии славян из их первоначальных мест проживания в бассейнах Одры и Вислы на Поднепровье, имеются данные и других, внеязыковых областей этнического и культурного развития славянщины, которые К. Мошинский постоянно и последовательно отвергал без существенного обсуждения. Построение выводов, касающихся происхождения славян, исключительно на языковом материале при принципиальном пренебрежении данными других областей культурного развития, а так же антропологических изменений, удивительное для этнографа и этнолога, таким был покойный К. Мошинский, сужает материальные основы этногенетических исследований и не имеет достаточного обоснования.

Необходимо учитывать, что язык наравне с продуктами материальной культуры является признаком развития культурной жизни человеческих комплексов, охватываемых общими социальными связями, которые опираются в своих основах на физическое родство индивидуумов, входящих в состав этих комплексов. Таким образом, исходная связь между данными истории языка, материальной культуры и антропологии не может подлечь сомнению. Другое дело, что эту связь на всех стадиях ее развития нельзя рассматривать в одной плоскости, так как развитие и ход изменений в пределах явлений каждой из этих трех областей человеческой жизни совершаются разными путями. Исследуемые антропологией расовые перемены и физические изменения в организации человека зависят от его физической наследственности, они не знают перерывов и скачков, не связанных с миграциями человеческих групп и их физическим смешением. Что касается явлений из области материальной культуры, ее разнообразных продуктов и условий их возникновения, то они, подобно языковым особенностям, могут передвигаться и распространяться на более или менее широких пространствах путем простого подражания без посредства миграции индивидуумов или общественных групп. При этом материальные и психические условия культурной экспансии отличаются от языковой экспансии. Расширение продуктов материальной культуры и подражание их производству зависят часто от особенностей природы определенных территорий, от их водных ресурсов, фауны, флоры, обороноспособности, в то время как языковая экспансия в высшей степени зависит от ситуации общественных отношений на смежных территориях, от плотности их населения, от разницы в уровне их материальной, духовной и общественной культуры. От совокупности этих факторов зависит темп и направление экспансий языков, которые отнюдь не обязательно сопутствовали распространению и развитию комплексов материальной культуры. Потому усматривать во всяком комплексе памятников материальной культуры, без учета его территориальных и хронологических связей, а также антропологических отношений, отдельную племенно-языковую единицу было бы доказательством примитивизма научного мышления и привело бы к ошибочным выводам. Однако, с другой стороны, априорный отказ от такой возможности является далеко идущим упрощением, которое может привести к возможности ошибочного восстановления образа предысторического прошлого.

Чтобы избежать этих трудностей и уберечься от ошибок в умозаключениях, надо обращать пристальное внимание на связи между явлениями разных областей этнического культурного развития, на их возможные противоречия или схождения, а также параллелизм развития.

Необходимо также помнить о том, что по вопросам миграции обширнейший доказательный материал доставляют антропологические данные, поскольку телесные признаки могут переноситься и распространяться только вместе с движениями населения (в то время как продукты материальной культуры, как и языковые явления, могут распространяться не только путем миграции, но и посредством заимствований из одной группы населения в другую, причем даже на весьма значительные расстояния). К сожалению, однако, историко-антропологический материал сохранился в столь скудной мере, что основанные на нем выводы не выходят за рамки главных линий развития популяции на исследуемых территориях. Намного обильней данные из области материальной культуры, которые доставили в последние сорок лет археологические разыскания в Польше и соседних странах, находящаяся — преимущественно благодаря работам польских археологов — в числе наиболее исследованных районов Европы. Как основа для этногенетических выводов этот материал имеет ряд преимуществ перед языковым материалом: находки материальной культуры точно локализованы и, принадлежат к определенным археологическим слоям, довольно легки для хронологизации. В области же языковых явлений (за исключением разве топонимических данных) предысторическая локализация и точная хронология встречаются часто с серьезными трудностями. Имея в виду все выдвинутые здесь моменты, надо призвать, что ни в коем случае нельзя согласиться с отрицательным мнением Мошиньского и отказаться от использования, наряду с языковыми данными, также тех указаний для воспроизведения путей происхождения славян и древнейшей локализации их поселений, которые доставляют археология и антропология. Использование их тем более не должно вызывать возражений, что между итогами языковедческих исследований, говорящими в пользу западной, одранско-вислинской локализации древнейших славянских поселений, и данными археологических и антропологических исследований не наблюдается никаких противоречий; наоборот, их сопоставление ведет к полностью согласным заключениям, которые поддерживают и дополняют друг друга.

Картина развития системы культурных комплексов, которая для областей средневосточной Европы воссоздана благодаря трудам наших археологов (прежде всего И. Костшевского, Л. Козловского и К. Яжджевского<sup>19</sup>), представляется в следующем виде. В последние периоды неолитического века (т. е. в конце III тысячелетия до н. э.) области от бассейна Эльбы и балтийского побережья вплоть до границы среднего бассейна Днепра занимали племена так называемой культуры шнуровой керамики, наслоившиеся в области бассейнов Одры, Вислы, Немана и верхнего Днепра на более древние поселения племен так называемой культуры гребенчатой керамики, названные также уральскими (в связи с тем, что их экспансия охватывала, в самых общих чертах, территории от Урала вплоть до левого побережья средней и нижней Одры). Пространство, занимаемое культурой шнуровой керамики, географически почти соответствующее распространению наречий, определяемых в языкознании как североиндоевропейские (т. е. употребляемые языковыми предками балто-славян и германцев), в начале века бронзы было разделено пришедшей с южного запада (т. е. из областей более поздней южной Германии и дунайской долины) экспансией племен, принадлежащих к циклу так называемой уне-

<sup>19</sup> Соответствующие труды И. Костшевского и Л. Козловского упоминаются выше. Из трудов К. Яжджевского (К. Jażdżewski) на первый план выдвигается «Atlas of the prehistory of the Slavs», *Lódź*, I — 1948, II — 1949.

тицкой, впоследствии долужицкой культуры. Цикл этот, поглотив несколько других комплексов «шнуровой» культуры (прежде всего так называемой тшинецкой), развился в могучий комплекс так называемой лужицкой культуры (от первых находок, добытых в Лужицах). Этот комплекс охватил полностью территории бассейнов Одры и Вислы, подходя к Балтийскому морю, а на юге не достигая склонов западных Карнат и верхнего бассейна Днестра. Ассимилируя в значительной степени находящееся на этом пространстве население культуры шнуровой керамики, он отделил западное крыло «шнуровцев», т. е. предков германцев, от восточного крыла, из которого образовались балтийские народности, а сам стал основой формирования общеславянского комплекса. Существовавшая до сих пор тесная связь этого комплекса с предками балтов в пределах «шнуровой» культуры теперь разорвалась.

В сопоставлении с языковыми изменениями, которые должны были произойти в то время в данной области, имеется полное основание считать этот культурный процесс лужицкой экспансии соответствием распада балто-славянской языковой общности, тем более что географический радиус лужицкой экспансии, ограниченной течением Буга, почти вполне соответствует исторической языковой славяно-балтийской границе. Эти факты, однако, не позволяют (вопреки мнениям некоторых археологов) отождествлять население, которое образовало и распространило так называемую лужицкую культуру в целом, с древними славянами. Радиус экспансии лужицкой культуры значительно превышал во время своего наибольшего развития сферу славянского поселения: в веке бронзы, вероятно, ни на территории Чехии, Моравии и Паннонии, ни в восточных подальпийских странах, куда доходила лужицкая культура, славян вовсе не было. Население лужицкой культуры вошло на этих территориях в состав других этнических комплексов (кельты и иллиры), с которыми, впрочем, культура эта, наверное, имела связь и раньше. Носители лужицкой культуры дали начало славянам только на территории бассейнов Одры и Вислы, на которых они смешались с прежним, «шнуровым» населением, наслоенным на более древний субстрат культуры гребенчатой (уральской) керамики, общий для всего этническо-культурного балтийского комплекса.

Таким образом, на основании итогов археологических исследований надо принять, что в этногенезе славян участвовали в основном три составные этническо-культурные элемента: 1) «уральское» население культуры гребенчатой керамики; 2) население культуры шнуровой керамики, которое наслоилось в более позднее время неолитического века на основу уральского поселения, по крайней мере на протяжении от верхнего Поволжья вплоть до левого побережья средней и нижней Одры; 3) население так называемой лужицкой культуры, наслоенное на более древнюю «уральско-шнуровую» основу в области бассейнов Одры и Вислы вместе с Бугом. Амальгама, возникшая из смешения и взаимного проникновения этих трех этническо-культурных элементов, выделение которых сделало возможным итоги археологических исследований последних годов, выкристаллизовалась — по всей вероятности, около третьей четверти I тысячелетия до новой эры — в подлинный общеславянский комплекс, археологическим соответствием которого надо считать возникший в то время на основе лужицкой культуры (хотя во многих отношениях стоящий ниже ее) комплекс, известный в археологии под названием культуры ямных погребений. Этот комплекс охватывает в общих чертах ту же самую территорию, что и лужицкая культура в бассейнах Одры и Вислы, но проявляет заметные тенденции к экспансии на восток, на земли среднего, а также верхнего бассейна Днестра. Там он соединяется с комплексом так называемой зарубинецкой культуры (который уже раньше был связан посредством так называемой высокоцкой культуры с лужицким комплексом), являющимся, по всей вероятности, с археологической точки зрения зароды-

шем этническо-культурного комплекса восточнославянских племен<sup>20</sup>.

Эта начертанная на основании сходства археологических и языковедческих данных картина возникновения и первоначального развития общеславянского комплекса приобретает особую отчетливость и вероятность при сопоставлении с итогами новейших исследований и обобщений, доведенных в последнее время антропологами — в особенности главой польских антропологов, одним из основоположников «западной», автохтонной теории происхождения славян Я. Чекановским и антропологом и археологом В. Кочкой<sup>21</sup>. Оба эти автора, хотя и разными путями, приходят к заключениям, которые, несмотря на разницу в частностях, дают на основе анализа антропологических данных картину, вполне согласную с тем, что было сказано выше относительно этногенеза славян и их первоначальной локализации. Чекановский утверждает, что, по сравнению с несомненной непрерывностью заселения средневосточной Европы в период младшего палеолита, поражает сохранение вплоть до нашего времени антропологической обособленности полосы последнего оледенения (т. е. всего побережья Балтийского моря от нижнего Рейна до восточных окраин бассейна Западной Двины), которая была, безусловно, заселена в самое позднее время. Внутри этой территории палеоантропологическими исследованиями обнаруживается в двух ее частях ничем не нарушенная непрерывность развития этнических отношений с периода мезолита, а именно в областях, занимаемых в раннеисторическое время германцами на западе и западными балтами (пруссам) на востоке, вплоть до Немана. На этих территориях до сих пор сохраняется древнейшая антропологическая формация, находящаяся в более тесной связи с населением неолитического периода, чем жители промежуточной полосы, отделяющей эти две реликтовые области друг от друга. В этой промежуточной полосе обнаруживается воздействие южного, континентального соседства вплоть до Балтики (между средней Эльбой и нижней Вислой) в виде усиленной примеси лапоноидального элемента, который является характерным признаком населения гористого остова средней Европы. Чекановский утверждает, что археологическим соответствием этой примеси, несомненно, следует считать сложившийся в течение века бронзы в полосе, отделяющей германцев от западных балтов, комплекс так называемой лужицкой культуры. Эта культура была принесена в названный район этническим средневропейским элементом, который с языковедческой точки зрения характеризовался распадением североиндоевропейской языковой (германо-балто-славянской) группы путем языкового отделения общеславянских племен от балтийских, с которыми они образовали раньше языковую (балто-славянскую) общность.

К итогам, согласным с этой оценкой, приходит и В. Кочка. Кропотливые статистические подсчеты всего доступного историко-антропологического материала дали ему основание считать район средней Европы (от верхнего Рейна и Альп вдоль побережья Дуная через западные и северные причерноморские области вплоть до Дона) территорией образования этнически-языкового общиндоевропейского комплекса. При этом этногенез славян он понимает как продукт средневропейской популяции, преимущественно из наддунайского района на север, на территории в бассейнах Эльбы, Одры и Вислы, занятые уже раньше индоевропейскими племенами — носителями культуры шнуровой керамики. Экспансия эта, соот-

<sup>20</sup> В последнее время на эту точку зрения стал П. Н. Третьяков. См. его «Итоги археологического изучения восточнославянских племен», М., 1958.

<sup>21</sup> J. C z e k a n o w s k i, Zagadnienie praojczyzny Słowian i ich różnicowania się, «Z polskich studiów slawistycznych. Prace język. i etnogen.», Warszawa, 1958; W. K ó ł c k a, Zagadnienia etnogenezy ludów Europy, Wrocław, 1958. Ср. рецензию Т. Лера-Славинского «Rzut oka na etnogenezę Słowian ze strony antropologii», «Archeologia Polski», t. IV, 1960, стр. 211 и сл.

ветствующая с археологической точки зрения распространению лужицкой культуры, легла в основу общеславянского этнического комплекса, который, таким образом, имеет автохтонный характер. И хотя его составные части пришли на указанную территорию путем экспансии и инфильтрации с разных сторон, однако главный остов (как на это указывает антропологический состав, который мы здесь подробно рассматривать не можем) образовали: с одной стороны, доиндоевропейская демографическая основа еще мезолитического происхождения, с другой — двухкратное по меньшей мере наслоение на этой основе средневропейских демографических волн — по языку индоевропейских, археологически же представленных сперва комплексом культуры шнуровой керамики, а после — лужицкой культуры. Таким образом, выводы антропологов в конечном счете подтверждают и поддерживают выводы представителей других дисциплин относительно возникновения общеславянского этнически-языкового комплекса. В этом освещении автохтонное происхождение славян и локализация их древнейших поселений в западной области их исторических территорий, в бассейнах Одры и Вислы, кажутся вполне надежными, а иммиграция «с востока» уже сформировавшегося комплекса славян, пользующегося общеславянским языком, не может быть признана реально существовавшей.

Наконец, еще одно частное замечание. Антропологи, а также и археологи обращают особое внимание на несомненно выдающуюся роль, которую в этногенезе славян сыграли элементы, проникшие из средневропейских, наддунайских областей (что не противоречит и оценкам лингвистов). Это напоминает нам рассказы древнейших славянских летописцев о наддунайском происхождении славянских общин. Невольно возникает вопрос: нет ли в этих преданиях отголосков исторической истины трехтысячелетней давности?

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Б. В. ГОРНУНГ

МЕСТО ЛИНГВИСТИКИ В СИСТЕМЕ НАУК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
В НЕЙ МЕТОДОВ ДРУГИХ НАУК

Построение марксистского языкознания возможно только при принятии положения, что человеческий язык (язык слов), при всей специфичности своей знаковой структуры, при всей сложности соподчинения ее звеньев и элементов и при всем разнообразии своих функций (коммуникативной, номинативной, формирующей мысль, экспрессивно-эстетической и т. д.), есть явление общественное в ряду других общественных явлений, обусловленное во всем своем развитии развитием общества и его потребностями. Основное отличие языка от ряда других общественных явлений, состоящее в том, что язык не является идеологической «надстройкой» над социально-экономическим базисом, ведет только к тому, что язык не отражает изменений в состоянии общества, его производительных сил и производственных отношений прямо и непосредственно, не изменяет основы своего строя даже под влиянием наиболее резких сдвигов в развитии общества, а приспосабливает ее к новым условиям, перестраиваясь по своим «внутренним законам». Это внутреннее развитие (саморазвитие) языка непрерывно и протекает всегда без резких нарушений достаточного для взаимопонимания людей (но не абсолютного) равновесия языковой системы. Система языка всегда остается в известной степени открытой для удовлетворения новых потребностей общения, диктуемых внеязыковыми факторами развития общества, этноса, государства, классовой борьбы, хозяйства, техники, науки и различных идеологий. Всякое возведение в принцип того или иного отвлечения от связи языка с этими внеязыковыми факторами развития — отвлечения, иногда практически необходимого в ходе научного исследования средств языкового выражения, и всякая попытка изменить на основе такого отвлечения представление о природе языка как явления неминусемо ведут (хотя бы и неосознанно) к ревизии основного тезиса марксистского языкознания о языке как общественном явлении.

К такой же по существу ревизии этого положения ведут все попытки гипертрофировать специфику языка (хотя бы и при декларативном признании упомянутого основного тезиса), переоценка «имманентности» его развития как системы знаков и излишнее старание сблизить характер языковой структуры (путем предельной формализации ее) с характером других знаковых систем и «кодов», которые можно называть «языками» только метафорически, а также с искусственными языками.

Из этого следует, что и наука о языке (языкознание, лингвистика) во всех своих частях и при любом аспекте исследования остается наукой общественной, и место ее в ряду других наук может определяться только как место одной из общественных наук среди других общественных наук<sup>1</sup>. Признание каких-либо ее отделов включенными

<sup>1</sup> Подробнее вопрос об отношении лингвистики к другим общественным наукам будет освещен нами в другой статье («Языкознание и другие исторические науки») в связи с критикой концепций К. Фосслера и его школы В. Бертольди (см. V. Bertoldi, *La glottologia come storia della cultura*, Napoli 1946) и других авторов.

в систему других (необщественных) наук на том основании, что в них применяются методы этих наук, означало бы в принципе распад науки о языке как замкнутой системы понятий, категорий и аксиоматических положений, которая только и может считаться «наукою». Это означало бы превращение лингвистики в конгломерат объединенных только практическими потребностями клочков из разнообразных сфер знания — конгломерат типа библиотековедения, музееведения и т. п.<sup>2</sup> Поэтому, например, и имеющая все права на существование «математическая лингвистика» (со своими ограниченными задачами и ограниченной сферой) есть часть лингвистики как общественной науки<sup>3</sup>, а вовсе не новый раздел математики, имеющий объектом исследования язык.

Теоретический разброд в современном зарубежном идеалистическом языкознании, пестрота методов и приемов исследования и беспринципность их сочетания поставили языкознание лицом к лицу с опасностью утери своего принципиального единства, в чем отдают себе отчет и крупнейшие лингвисты Запада<sup>4</sup>. Задача сохранения этого единства на основе четкого отграничения лингвистики от других наук является одной из задач советского теоретического языкознания. Но это отнюдь не должно означать, что лингвистика не имеет непосредственного соприкосновения с другими, далекими от нее на первый взгляд науками, что в ней не могут применяться (в определенных рамках и с четкой целевой установкой) методы других наук и что «на стыке» с ними не могут возникать новые лингвистические дисциплины, расширяющие сферу применения лингвистических знаний, расширяющие ее эвристические возможности и даже раздвигающие (при сохранении характера науки как замкнутого единства) рамки ее предметного содержания. Именно успехи применения математических методов в лингвистике ясно показывают, что все перечисленные моменты, значение и плодотворность которых трудно оспаривать, не могут и не должны вести к изменению в основной лингвистической аксиоматике. Нет никакой аналогии между действительным переворотом в физике, начавшимся с открытия «второго начала термодинамики» и продолжающим углубляться до сих пор, и современным состоянием лингвистической теории, корни которого восходят к некритическому восприятию многих ошибочных положений Ф. де Соссюра<sup>5</sup>. Не плодотворное расширение методики исследования и не введение новых эвристических приемов являются основанием для утверждений о необходимости коренного изменения в понимании природы предмета нашей науки и вытекающего из этого изменения в трактовке отношения

<sup>2</sup> Так именно смотрели на лингвистику некоторые младограмматики (ср. Н. Р а u l, *Prinzipien der Sprachgeschichte*, Halle, 1886, стр. 2).

<sup>3</sup> «Математическую лингвистику» нельзя рассматривать и как особую лингвистическую дисциплину: это только область лингвистики, в которой могут применяться математические методы; она может захватывать разные лингвистические дисциплины. Сфера применения математических методов в лингвистике может в будущем расширяться, но это не изменит решения вопроса о принципиальной ее ограниченности: всегда будет сохраняться остаток, не допускающий применения этих методов и требующий иного методического подхода. Поэтому нельзя согласиться с В. Н. Топоровым, когда он утверждает (ВЯ, 1959, № 6, стр. 29), что «лингвисты не знают, что делать с индетерминированным остатком в виде фактов, не отраженных в модели, предполагаемой данным понятием или утверждением». Лингвистика имеет все возможности изучать эти «остатки» своими методами, математика же может ей помочь в этом только своими вероятностными методами, но и то не всегда.

<sup>4</sup> Ср. А. M a r t i n e t, *The unity of linguistics*, «Word», vol. 10, № 2, 1955.

<sup>5</sup> Как теперь показали текстологические исследования Р. Годеля, многие представления, освящаемые авторитетом имени Ф. де Соссюра, восходят не к его научным идеям, а к довольно произвольным комбинациям издателей его «Курса» [см. рецензию Н. А. С л ю с а р е в о й (ВЯ, 1960, № 2, стр. 126—130). Ср. также Р. E n g l e r, *CLG and SM, Eine kritische Ausgabe des «Cours de linguistique générale»*, «Kratylos», Jg. 4, Hf. 2, 1959, стр. 119—132].

лингвистики к другим наукам. Таким основанием (точнее—поводом) является только продолжающееся непонимание ошибочности этих принимаемых очень широким кругом лингвистов сосюрювских положений: противопоставления «плана выражения» «плану содержания», противопоставления синхронии диахронии, противопоставления «языка» («langue») «речи» («parole»), противопоставления «внутренней» лингвистики лингвистике «внешней» и непродуманное оперирование всеми перечисленными здесь парами терминов, которые к тому же нередко утрачивают в полемике разных авторов против так называемого «традиционного языкознания» свое однозначное содержание<sup>6</sup>.

Успешное развитие прикладного языкознания, входящего в тесный контакт с такими новыми областями знания, как кибернетика и «теория информации» («теория связи»), в частности и развитие техники машинного перевода, ставят и перед теоретическим языкознанием новые вопросы, которые последним раньше не ставились. Однако постановка этих новых вопросов не затрагивает и не может затронуть гносеологических и онтологических оснований науки о языке. Речь может идти о постановке совершенно новых вопросов, выдвигаемых практикой, но то разрешение их, которое может действительно двинуть вперед саму науку о языке, должно быть найдено лишь на основе лингвистических методов, определяемых спецификой объекта этой науки, а не на основе произвольных аналогий с изучением явлений, относящихся к другим сферам действительности. Поэтому, например, «моделирование языка на базе его статистической и теоретико-множественной основы»<sup>7</sup> не только возможно, не только может быть необходимым для определенных целей прикладного языкознания, но может (в плане расширения эвристических возможностей) поставить и перед теорией языка новые проблемы. Однако при переходе от эвристики к теоретическому рассмотрению этих вопросов как лингвистических исследователь должен обратиться и к собственно лингвистическим методам структурного анализа, так как языковая структура в своей специфике не есть математическая или статистическая данность, а данность иного рода — конкретно-историческая данность знака, имеющего такое социальное содержание, которое раскрывается в акте понимания через осознание всех его системных и контекстовых связей, через его «внутреннюю форму» (resp. конкретную структуру знака). Данности же, определяемые только количественными характеристиками (статистические обобщения, коды, формулы и т. п.), ни исторической конкретностью, ни «внутреннюю форму» не обладают.

\*

В вопросе о конкретных путях использования в лингвистике методов других наук ясно намечаются (и в советском, и в зарубежном языкознании) два диаметрально противоположных направления.

Одно направление, положительно оценивая многие концепции и теоретические постулаты зарубежного структурализма и глоссематики, противопоставляет новую «структурную лингвистику» «традиционному языкознанию», считая, по-видимому, что контакт лингвистики с новыми областями знания и применение в ней методов других наук коренным образом меняет основной лингвистический метод и аспект изучения языка

<sup>6</sup> Ср., например, A. Sechehaye, Les trois linguistiques saussuriennes, «Vox romanica», vol. 5, 1940, или E. Buysens, Les six linguistiques de F. de Saussure, «Langues vivantes», vol. 7, 1942.

<sup>7</sup> Таково было название доклада Н. Д. Андреева на Совещании по математической лингвистике в Ленинграде 15—19 апреля 1959 г.

как явления, что в конечном счете изменяет и положение лингвистики среди других наук, поскольку она становится наукой «точной».

Другое направление, полностью признавая не только знаковый, но и «структурный» характер языковой системы и не отрицая значения применения в лингвистике новых методов (в первую очередь математических и статистических), считает, что эти методы могут применяться лишь в ограниченной сфере и поэтому не могут оказать решающего влияния на понимание природы объекта нашей науки, основного аспекта и основного метода лингвистических исследований и что поэтому ни о каком противопоставлении этих новых методов «традиционному языкознанию» в целом не может быть и речи.

Констатируя наличие двух направлений, мы отвлекаемся здесь от факта существования как у нас, так и за рубежом отдельных лингвистов, начисто отрицающих значение методов структурного анализа языка. Эти отдельные лингвисты отрицают до сих пор не только структурный характер языковой системы, но даже и ее знаковый характер, усматривая в этом идеализм и формализм.

Марксистская научная методология не допускает отрыва основного метода науки от природы объекта этой науки как явления реальной действительности. Однако это, как уже было сказано, не противоречит, во-первых, применению в данной науке методов других наук в качестве вспомогательных — в лингвистике, например, методов физико-акустических, физиологических, математических, статистических<sup>8</sup>, во-вторых, не противоречит правомочности комплексных исследований (например, лингвистико-археологических, лингвистико-этнологических)<sup>9</sup> и, наконец, в-третьих, не противоречит тому, что одно и то же явление действительности, взятое в разных аспектах, допускаемых природою объекта (в данном случае языка), допускает изучение его разными методами, соответствующими этим аспектам.

В применении к лингвистике прежде всего важно разграничение ее с изучаемою языком в другом аспекте филологией, из недр которой лингвистика родилась, но которая и сейчас, во-первых, не утратила своих прав на существование, а во-вторых, не стоит в отношении к лингвистике как некая ее противоположность, как это часто изображают, а обслуживает ее и сама ею обслуживается.

В более специальном разрезе, в применении к изучению языка художественной литературы (поэзии в широком смысле), встает также сложный и далеко еще не решенный вопрос о четком разграничении стилистики как лингвистической дисциплины и поэтики<sup>10</sup>.

Когда говорят как об исторических, так и о логических отношениях между филологией и лингвистикой, то нередко подменяют их в обоих аспектах отношением между научным языкознанием, сложившимся

<sup>8</sup> В лингвистике вспомогательные методы по своему значению могут приближаться к самодовлеющей роли только в таких разделах, как экспериментальная фонетика, или же в прикладном языкознании (техника машинного перевода, техника передачи речи на большие расстояния и т. д.).

<sup>9</sup> Правомочность комплексных исследований ограничена, однако, требованием принадлежности сопрягаемых в одном исследовании на равных правах наук к одной и той же категории. Поэтому возможно комплексное лингвистико-археологическое исследование, полностью подчиненное одной и той же общественно-исторической установке, возможно комплексное лингвистико-литературоведческое исследование, но невозможно «комплексное» лингвистико-математическое исследование, поскольку применение в нем математических методов останется подчиненным основной установке лингвистики как науки, и они будут выступать только как вспомогательные.

<sup>10</sup> Этот вопрос односторонне и неверно решался «формалистами» 1920-х годов, которые полностью подчиняли поэтику лингвистике, считая поэзию только «языком в его эстетической функции» (Р. Якобсон).

в XIX в., и его «донаучным» периодом (от античности до XVIII в.). В таком случае на долю филологии обычно относят отсутствие фонетики как отдела лингвистики (смещение буквы со звуком), логицизм в грамматике (особенно в синтаксисе), отсутствие историзма в вопросах словообразования и этимологии, некритическое отношение к показаниям античных грамматиков и, наоборот, гиперкритицизм в отношении к реконструкциям, расходящимся с этими показаниями, и т. д. Внешним основанием такой подмены является тот факт, что лингвистические позиции некоторых виднейших филологов-классиков XIX в. (Г. Германа, Хр. Лобека, Р. Кюнера, Ф. Бласса и др.) являлись не чем иным, как эпитонством «донаучного» периода языкознания. Однако по существу такая подмена совершенно не обоснована хотя бы потому, что: 1) сама филология, как это формулировал У. Виламовиц-Меллендорф, «стала на протяжении XIX в. исторической наукой», а ранее стать ею не могла, потому что сам историзм как научное мировоззрение в XVIII в. только зарождался (Вико, Гердер), а по существу является во всех науках детищем XIX в.; 2) логицизм и концептуализм в грамматике продолжает существовать вплоть до наших дней совершенно независимо от филологических традиций (ср. «понятийные категории» у О. Эсперсена и И. И. Мещанинова, возрождение идей всеобщей грамматики и т. п.)<sup>11</sup>. «Филологическая грамматика», несомненно, окончательно изжила себя, но современная филология, при том понимании своих задач, которое было намечено Авг. Беком, Г. Узенером и У. Виламовицем-Меллендорфом (в его полемике с Фр. Ницше и Эрв. Роде), и не считает построение грамматики своим делом. В этой области ее задачей остается только грамматическая интерпретация текста — один из наиболее элементарных разделов филологической критики и герменевтики. Для нужд этой интерпретации могут быть использованы любые грамматические концепции, возникающие в лингвистике, и это — одна из важных сторон обслуживания филологии лингвистикой для выполнения задачи, которая сама по себе не является лингвистической, но может и должна быть использована и лингвистикой. Следовательно, это является и одной из сторон обслуживания лингвистики филологией. Никакой контroversы здесь нет, а если ее иногда и выдвигают, то она оказывается мнимой<sup>12</sup>.

Когда же говорят об «эмансипации» лингвистики от филологии, то и здесь предмет рассуждения есть фикция. Когда не существовало ни лингвистики, ни истории литературы, ни археологии, ни истории искусства, ни истории науки и техники, ни истории философии, филология в какой-то степени занималась всеми этими областями, поскольку основной ее задачей было выявление отражений духовной жизни народа (иначе — его «культурного сознания») в памятнике, бывшем в момент своего создания результатом творческого акта. Таким памятником был чаще всего текст, но могли быть и статуя, и здание, и технический прибор и т. д. Создание самостоятельных наук — истории, искусства, истории техники и т. п. со своими автономными от филологии задачами и со своими специфическими методиками — не упразднило возможности филологической интерпретации всех этих исторических явлений. Но место такой интерпретации в идеалистической и в марксистской исторической науке — совершенно различное. В то время как в идеалистической науке за филологией сохраняется прерогатива изучения «культурного сознания» народа в его имманентном развитии как некоей субстанции «духа народа», субъекта его истории, который объективируется в его творческих достижениях, — марксистская наука оставляет за филологией толь-

<sup>11</sup> Эти концепции и в первой половине XIX в. далеко не всегда были связаны с филологической традицией (ср. критику Беккера, Хейзе и других в «Анти-Дюринге» Энгельса).

<sup>12</sup> Подробнее о взаимоотношениях филологии и лингвистики см. нашу статью «О характере языковой структуры» (ВЯ, 1959, № 1; см. особенно стр. 45—46).

ко роль дисциплины, занимающейся критикой и интерпретацией и с т о ч н и к о в и с т о р и и, относя научный анализ показаний (resp. «информации»), извлекаемых из этих источников, к задачам и к компетенции соответствующих о б щ е с т в е н н ы х наук (в том числе и лингвистики). Поэтому нигилистическое отношение к филологическим основам (вернее «подосновам») <sup>13</sup> у лингвиста или историка литературы недопустимо. Поскольку т е к с т как главный (хотя и не единственный) объект филологического исследования играет ведущую роль именно в этих двух науках, за ними сохраняется традиционное (и, следовательно, у с л о в н о е) название «филологических наук», хотя, конечно, филологическая обработка исторических, историко-юридических и других источников имеет также огромное и часто недооцениваемое значение. Однако надо помнить, что «филологические науки» и «филология» — это разные вещи и что лингвистика, входя в состав первых как в известный комплекс, по о д н о м у из своих признаков, в состав второй входит не может, но находится с нею в определенных отношениях, позволяющих обеим наукам обслуживать и оплодотворять друг друга.

Наиболее сложны взаимоотношения лингвистики с логикой и психологией. Принципиальным основанием их должно быть не только научное обоснование, но и детально разработанное на конкретном материале решение вопроса о соотношении языка и мышления, слова и понятия, предложения и суждения, грамматической и логической категории. С одной стороны, ни в марксистской философии, ни в марксистском языкознании еще не только нет никакого решения этих вопросов, но к ним даже не подошли вплотную. И философы, и психологи, и лингвисты продолжают, как правило, оставаться в сфере общих расплывчатых рассуждений. С другой стороны, всякое возможное их решение отягощается историческим грузом «логицизма» и «психологизма» в истории самой лингвистики. Пестрое разнообразие форм, которые принимали эти два «изма» в анализе явлений языка в разных лингвистических направлениях (иногда почти противоположных друг другу), станет наглядным, если сопоставить, например, логицизм Р. Э. Беккера или Ф. И. Буслаева и гуссерлианский логицизм (например, у И. Поза) <sup>14</sup> или сопоставить психологизм Г. Штейнталя и А. А. Потемни с психологизмом В. Вундта, концепцию Г. Пауля — с концепцией А. Марти, взгляды, например, Г. Шпербера — со взглядами К. Бюлера и т. д.

Вопрос о путях размежевания лингвистики как с логикой, так и с психологией не может быть освещен в пределах данной статьи, но ясно, что такое размежевание может быть произведено лишь на основе полного признания прав лингвистики на автономное положение по отношению к обеим этим наукам. Это размежевание должно явиться одной из важнейших задач не только советского общего языкознания, но и советской логики и психологии на ближайшие годы.

Вместе с тем установление четких границ отнюдь не исключает необходимости самого тесного контакта — например, контакта лингвистики с психологией в исследованиях процесса восприятия речи, которые, однако, не могут, как было указано выше, приобрести характер «комплексных» исследований, в силу чего и «психолингвистика», возникшая недавно в США, остается по существу за пределами науки о языке; ее объект — не язык, а «механизм» восприятия речевого процесса.

<sup>13</sup> Термин «основа» может повести к недоразумениям, если будет понят как основа гносеологическая, историко-онтологическая или методологическая. Все эти основы у марксистских общественных наук, разумеется, не связаны с филологией, тогда как упомянутые Авг. Бек, Г. Узенер и другие видели в филологии именно такую «основу» для истории.

<sup>14</sup> Выяснение отношения лингвистики к современной математической логике покрывается выяснением ее отношения к математике, т. е. разрешением вопроса о применении в ней математических методов (см. выше).

Э. Б. АГАЯН

## О ГЕНЕЗИСЕ АРМЯНСКОГО КОНСОНАНТИЗМА\*

В журнале «Вопросы языкознания» напечатана статья члена-корр. АН АрмССР проф. А. С. Гарибяна «Об армянском консонантизме». В этой статье автор, опираясь на систему взрывных гласных современных армянских диалектов, высказывает мнение, согласно которому «древнеармянский консонантизм представляет собой позднейшее образование, произошедшее в результате одного полного передвижения всех трех рядов согласных, за исключением ряда глухих придыхательных»<sup>1</sup>. Основываясь на данных современных армянских диалектов, А. С. Гарибян пытается показать разные направления передвижений индоевропейских взрывных в армянских диалектах. Эта попытка меняет все представления об армянском передвижении и имеет важное значение не только для арменистики, но и для индоевропейского языкознания в целом. И потому тщательная научная проверка выдвинутой А. С. Гарибяном концепции является важнейшей задачей арменоведения. Исходя из этого соображения, мы считаем необходимым изложить наше мнение по данному вопросу, опираясь на анализ языковых фактов.

Свою концепцию А. С. Гарибян аргументирует только одним обстоятельством, а именно — предполагаемым тождеством звонких придыхательных армянских диалектов с теми же согласными индоевропейского праязыка. Согласно этой точке зрения, если в армянских диалектах имеется звонкий придыхательный *bh*, то он представляет сохранившийся без изменения индоевропейский *bh*. А. С. Гарибян не пытается проанализировать языковые факты и подвергнуть свою теорию научной проверке при помощи данных исторической фонетики. Для такой проверки было бы необходимым выяснить: а) едины ли древнейшие закономерности звуковых изменений для всех армянских диалектов и древнеармянского языка; б) какие закономерности проявляют древнейшие и древние заимствования в армянских диалектах. Ответ на эти вопросы позволил бы выяснить, действительно ли в части армянских диалектов имеется консонантизм более древнего языкового состояния, чем древнеармянский, или же консонантизм армянских диалектов представляет позднейший процесс изменения древнеармянских согласных.

Как считается в индоевропеистике, армянское передвижение согласных параллельно германскому. Концепция А. С. Гарибяна ставит эту точку зрения под сомнение, но без какого-либо обоснования. Обратимся к фактам. Индоевропейское *bh* в древнеармянском обычно превращается в чистый звонкий *b*, а между гласными — в *w(v)*: \**bharami* > *berem* «несу», но \**wedobhi* > *getov* «рекой» (*instrumentalis* от *get* «река»). Во всех

\* В связи с дискуссией, происходившей в Ереване по поводу выдвинутой А. С. Гарибяном концепции передвижения согласных в армянских диалектах, и как продолжение обсуждения вопросов, поднятых в статьях А. С. Гарибяна (ВЯ, 1959, № 5) и Жапа Фурке (ВЯ, 1959, № 6), редакция помещает статью проф. Э. Б. Агаяна, предлагающего другую точку зрения. — *Ред.*

<sup>1</sup> См. ВЯ, 1959, № 5, стр. 89 (в дальнейшем ссылки на эту статью даем в тексте в скобках).

армянских диалектах  $bh > v$  является общей закономерностью. \* $g'h > v$  в древнеармянском в  $j(dz)$ , а между гласными — в  $z$  [в диалектах — в  $j(dz)$  или в  $jh(dhz)$ ,  $c$ ,  $с$  и  $z$ ]. Ср. санскр. *hēman* «зима», авест. *zyā* (род. падеж *zimō*), слав. *zima*, греч. *χέρων*, лат. *hiems*, арм. *jmeñ*; *jiwn* «снег», в диалектах I и II группы<sup>2</sup> — *jhmeñ*, *jhun*<sup>3</sup>, III группы — *jmeñ*, *jun*, IV группы — *jhmeñ* (аджинский), *jhmir* (сведийский), V группы — *ster*, VI группы — *jmeñə* (мегринский, агулисский), VII группы — *sterə* (карабахский), *ster* (ванский), т е. во всех диалектах имеются аффрикаты  $j$ ,  $jh$ ,  $c$ ,  $с$  против и.-е.  $gh$ , как и в древнеармянском. Общность всех диалектов более отчетливо проявляется в изменении  $g'h > z$  между гласными; например, и.-е. \**dheighi* > др.-арм. *dēz* (во всех без исключения диалектах, имеющих это слово, —  $z$  против  $g'h$ ).

Индоевропейское  $g^2h$  дает  $g$  в древнеармянском только перед гласными переднего ряда, в диалектах в том же положении —  $gh$ ,  $g$ ,  $k$  или  $kh$ ; перед гласными заднего ряда  $g^2h > j(dz)$ , в диалектах —  $jh$ ,  $j$ ,  $č$  или  $č$ ; между двумя гласными —  $g^2h > ž$  (в древнеармянском и во всех диалектах без исключения).

Из упомянутых фонетических законов особый интерес представляют те, согласно которым индоевропейские взрывные придыхательные превращаются в ффрикативные или аффрикаты. Если, например, в акнинском (I гр.), каринском (II гр.), новонахичеванском (III гр.), сведийском (IV гр.), тигранакертском (V гр.), мегринском (VI гр.), карабахском (VII гр.) диалектах армянского языка, как и во всех остальных, и.-е.  $g'h > z$ ,  $g^2h > ž$  между гласными (как и в древнеармянском), то понятно, что и в других случаях первичен древнеармянский. Иными словами, и.-е.  $bh > b$ ,  $dh > d$ ,  $g^2h > g$  в древнеармянском, а затем др.-арм.  $b > b$ ,  $bh$ ,  $p$ ,  $ph$ ;  $g > g$ ,  $gh$ ,  $k$ ,  $kh$ ;  $d > d$ ,  $dh$ ,  $t$ ,  $th$  в диалектах, в каждом согласно своим фонетическим законам.

Эта точка зрения еще более наглядно подтверждается в передвижении чистых глухих. Согласно концепции А. С. Гарибяна, изменения индоевропейских чистых глухих в армянских диалектах представляют следующую картину:

I гр.	$p > ph$	$t > th$	$k > kh$	V гр.	$p > ph$	$t > th$	$k > kh$
II гр.	$p > ph$	$t > th$	$k > k(?)$ , $kh$	VI гр.	$p > ph$	$t > th$	$k > kh$
III гр.	$p > ph$	$t > th$	$k > kh$	VII гр.	$p > ph$	$t > th$	$k > kh$
IV гр.	$p > ph$	$t > th$	$k > kh$				

Как видно, согласно этой схеме, индоевропейские чистые глухие перешли в глухие придыхательные во всех диалектах без исключения. Однако А. С. Гарибян упускает из виду один важный момент, а именно: индоевропейские чистые глухие сохранились как взрывные только в некоторых случаях; как общее правило, они превратились в ффрикативные или сонанты и в древнеармянском, и в диалектах всех групп. Так, и.-е.  $p$  не дает  $ph$  ни в древнеармянском, ни в диалектах. Во всех случаях первоначально и.-е.  $p > ph$ , затем  $ph > f$  и, наконец,  $f > y$ ,  $w$  или исчезает, например: \**pāter* > др.-арм. *hayr* «отец», в большинстве диалектов — *hayr*, *har*, *her*, а в некоторых *xer* (с позднейшим переходом  $h > x$ ); \**podm* > др.-арм. *otn* «нога», в диалектах — *ot*, *othk*, *othkh*, *od*, *wod*, *vot* (все разновидности — позднейшие образования). Что это так, подтверждается древнеармянскими заимствованиями из персидского языка. Мы уже говорили, что промежуточными

<sup>2</sup> Условно для удобства мы придерживаемся предложенной А. С. Гарибяном классификации армянских диалектов, согласно которой они делятся на семь групп.

<sup>3</sup> Здесь и дальше все примеры даем из «Этимологического коренного словаря» Р. А. Ачаряна, т. I—VII, Ереван, 1926—1932 (на арм. яз.).

звеньями перехода  $p > h$  или  $w$  являются  $p > ph$ ,  $ph > f$ . Заимствования из персидского (пехлевийского) не только подтверждают этот процесс, но и позволяют установить хронологию последнего перехода ( $f > h$ ,  $w$ ). В древнейших заимствованиях персидский  $f$  переходит в  $h$ , как и в армянских словах индоевропейского происхождения, например: пехл.  $p \text{ } \dot{z}tfras >$  др.-арм.  $patukas$  «кара, наказание»; пехл.  $framan >$  др.-арм.  $hraman$  «приказ», во всех диалектах —  $hraman$ , за исключением тех, в которых др.-арм.  $h$  переходит в  $x$  (ванский, моксский и др.); пехл.  $framay >$  др.-арм.  $hramayel$  «приказывать», во всех диалектах —  $h$  против пехл.  $f$  ( $hramayel$ ,  $hramayil$ ,  $hrammel$  и т. д.), кроме тех, в которых  $h > x$ ; пехл.  $frēštak >$  др.-арм.  $hreštak$ .

Так как армянские заимствования из среднеперсидского относятся к парфянской эпохе (III в. до н. э. — III в. н. э.), то можно установить, что изменение и.-е.  $p > ph > f$  в армянском совершилось раньше III в. до н. э., а  $f > h$ ,  $w$  — после III в. до н. э. Но так как в греческих заимствованиях IV—V и последующих веков н. э.  $f$  не подвергается этому закону, то этот переход был уже завершен к IV в. н. э. Таким образом, последний этап перехода и.-е.  $p > h$ ,  $w$  относится к эпохе с III в. до н. э. — III в. н. э. Наконец, так как в ванском и некоторых других диалектах переход др.-арм.  $h > x$  — позднейшее явление, то фонетический закон и.-е.  $p > (ph > f) > h$ ,  $w$  в указанный период являлся абсолютным по всей территории, населенной армянами. Вследствие этого ни в одном армянском диалекте, как и в древнеармянском, звук  $ph$ , как общее правило, не соответствует индоевропейскому  $p^4$ .

Индоевропейское  $t$  дает в древнеармянском  $y$  — между гласными,  $w$  — между гласным и сонантом  $r$ , исчезает перед  $r$  в начале слова и после  $n$  в конце слова. Эти фонетические законы абсолютно едины для всех диалектов и древнеармянского языка. Например, и.-е.  $pāter >$  др.-арм.  $hayr$  «отец», в диалектах —  $hayr$ ,  $har$ ,  $her$ ,  $xer$  (с закономерными переходами  $ay > a$  или  $e$ ,  $h > x$  в позднейшие эпохи); и.-е.  $māter >$  др.-арм.  $mayr$  «мать», в диалектах —  $mayr$ ,  $mar$ ,  $mer$ ; и.-е. \* $patros$ , др.-арм.  $haur$  (род. падеж), в диалектах —  $hor$ ,  $xor$  (с позднейшим переходом  $aw > o$ , общим для большинства армянских диалектов); и.-е. \* $matros$ , др.-арм.  $mawr$  (род. падеж), в диалектах —  $mor$ ; и.-е. \* $treyes >$  др.-арм.  $erekh$  (с протетическим  $e$  в начале слова перед  $r$ ), в диалектах —  $irekh$ ,  $irikh$ ,  $yirikh$ ,  $ərkh$  (с позднейшими переходами  $e > i$ ,  $ə$ ); и.-е. \* $bheront >$  др.-арм.  $beren$  [окончание 3-го лица мн. числа  $n$  (против и.-е. \* $nti$ , \* $ntai$ )], общее для всех диалектов); и.-е.  $t >$  др.-арм.  $th$  только в начале слова перед гласными, как и.-е.  $te >$  др.-арм.  $thē$  «если», во всех диалектах —  $th$  (кроме харбердского, в котором находим  $d$  позднейшего происхождения). В некоторых словах индоевропейского происхождения находим  $th$  в древнеармянском и в диалектах против и.-е.  $t$  между гласными (как в словообразовательном суффиксе  $-uyth$ ,  $-uthyun$  в слове  $canawth$  «знакомы»); для первых принято предполагать прототип с глухим придыхательным, а в слове  $canawth$  (от основы  $canač$ ) произошла дезассимиляция аффрикаты  $č$ . Как видно, и здесь имеется полное единство первоначальных звуковых изменений.

Индоевропейское  $k' > s$  во всех случаях как в древнеармянском, так и в диалектах без исключения, например: и.-е. \* $k'ērdi >$  др.-арм.  $sirt$ , во всех диалектах —  $s$  против и.-е.  $k'$ ; и.-е. \* $dek̑m̑ >$  др.-арм.  $tasn$ , во всех диалектах —  $s$  против  $k'$  и т. д. Наконец, и.-е.  $k^2 > kh$  во всех диалектах, как и в древнеармянском.

Как видно, в «передвижении», а вернее в мутациях, индоевропейских чистых глухих в древнеармянском и во всех армянских диалектах имеется абсолютное единство. Но это единство нагляднее обнаружи-

<sup>4</sup> Об изменениях различных звуко сочетаний см. ниже.

вается в так называемых «аномальных» случаях и в фонетических законах более ограниченного характера. Так, против индоевропейского местоимения 2-го лица *\*tu*, *\*tū* в древнеармянском имеем *du*, в диалектах I и II групп *dhu*, *dhā*, III группы — *dun*, IV группы — *dhun*, *dho*, V группы — *thun*, VI группы — *du*, *dū*, VII группы — *tu*. Переход и.-е. *t > dh* в диалектах I, II и IV групп можно объяснить только первоначальным переходом и.-е. *t > d* в общеармянском. Индоевропейские чистые глухие после сонантов *l, m, n, r* дают в древнеармянском чистые звонкие ( $p > b, t > d, k^2 > g$ ), например: и.-е. *\*penk<sup>2</sup>e*, *\*penk<sup>w</sup>e* > др.-арм. *hing* «пять», во всех диалектах — *g* или *g'* (палатализованный) против *k<sup>2</sup>(k<sup>w</sup>)*, кроме антиохийского (*hink'h*) и харбердского (*hink'h*), в котором, однако, в отложительном падеже имеется *g* (*hingen* «от пяти»).

Индоевропейское *t* остается без изменения после *s* в древнеармянском и во всех диалектах, кроме тех, в которых др.-арм. *t* озвончается после *s*; ср. *ghest* (алашкертский, мушский, новобаязедский), *skest* (шемахинский) и *sghesd* (сучавайский). Точно так же и.-е. *p* остается без изменения после *s* или переходит в *ph* при отпадении *s* и выпадает перед *s* ( $sp > sp, ph, ps > s$ ) в древнеармянском и во всех диалектах, кроме тех, в которых др.-арм.  $p > ph$  или *b*.

Индоевропейское звуко сочетание *sk' > ç* в древнеармянском и во всех диалектах; ср. и.-е. *prk' >* др.-арм. *harsn* «невеста», во всех диалектах — *s* против *k'*, но и.-е. *prk' — sk'* (ср. лат. *posco* < *\*porc-sco*) > др.-арм. *harç* «вопрос», *harçanel* «спросить», во всех диалектах — *ç* против и.-е. *sk'* и т. д.

Все эти факты говорят о единстве фонетических законов «передвижения» чистых глухих для армянского языка древнейшего периода (до новой эры) на всех территориях, населенных армянами. Если общность обнаруживается в таких частных изменениях, как  $tu > du, st > st, sp > sp, ps > s, sk' > ç$ , то абсолютное единство упомянутых фонетических законов является бесспорным. Мы не анализируем «передвижение», вернее неизменяемость, глухих придыхательных, абсолютно общее для древнеармянского и всех диалектов, так как и А. С. Гарибян подтверждает это (см. таблицы на стр. 83—88). Странно только следующее высказывание А. С. Гарибяна: «Мы увидим ниже, что передвижение индоевропейских чистых глухих в глухие придыхательные является общеармянским качеством (sic! — Э. А.), присущим как диалектам, так и общему языку; во всем остальном, как будет показано ниже, общих качеств в консонантизме армянских диалектов различных групп не существует» (стр. 82—83). Что касается первой части этого положения, то мы показали уже, что она неверна: индоевропейские чистые глухие как общая закономерность превращаются не в глухие придыхательные, а в ф р и к а т и в н ы е, или с о н а н т ы. Что же касается второй части, то, как показывает исследование, «передвижения» индоевропейских глухих придыхательных в армянских диалектах и древнеармянском языке качественно идентичны.

До сих пор мы нарочно не говорили о «передвижении» чистых звонких, так как они нуждаются в более детальном анализе. Приступим к такому анализу. Индоевропейские *b* и *d* во всех позициях и условиях переходят соответственно в *p* и *t* в древнеармянском языке. В диалектах наблюдается следующая картина:

I гр. <i>b</i>	<i>d</i>	V гр. <i>b</i>	<i>d</i>
II гр. <i>b</i>	<i>p</i>	VI гр. <i>p</i>	<i>t</i>
III гр. <i>b</i>	<i>d</i>	VII гр. <i>p</i>	<i>t</i>
IV гр. <i>b</i>	<i>d</i>		

Индоевропейское *g' > ç* в древнеармянском языке. А. С. Гарибян в своих схемах совершенно упустил из виду палатальные взрывные (*g'h, g', k', k'h*), что и привело к искажению фонетических законов армянского языка. В данном случае А. С. Гарибян не обращает внимания на то, что

индоевропейский палатальный взрывной *g* в армянских диалектах превращается в *s*, *j* следующим образом:

I гр. <i>j</i> или <i>s</i>	V гр. <i>j</i> или <i>s</i>
II гр. <i>s</i> , иногда <i>j</i>	VI гр. <i>s</i>
III гр. <i>j</i>	VII гр. <i>s</i>
IV гр. <i>j</i> , иногда <i>s</i>	

Это, конечно, очень общая и поэтому абстрактная схема (как и все, между прочим, схемы А. С. Гарибяна). В этой схеме невозможно видеть специфические фонетические законы каждого из диалектов, сгруппированных А. С. Гарибяном в семи группах. Так, например, в мушском, айратском и джюльфинском диалектах, относимых ко II группе, имеется *s* против и.-е. *g'*, а в каринском диалекте той же группы имеется *s* в начале слова [ср. и.-е. \**g'onwi* > др.-арм. *cungn* > *cung* (в каринском диалекте) «колени»] и *j* в середине слова [ср. и.-е. \**ag'* > др.-арм. *ac-el* «принести» > *ajel* (в каринском диалекте) «вылить»]. Но и эта общая картина дает возможность установить, что в данном случае против индоевропейского чистого звонкого имеется глухая аффриката *s* в диалектах II группы, в которых, по утверждению А. С. Гарибяна, должен был быть звонкий или глухой взрывной. С другой стороны, так как *j* в диалектах I, III, IV и V групп в данном случае получился путем озвончения глухой аффрикаты *s*, а во II, VI и VII группах имеется *s*, то и здесь мы имеем общеармянский фонетический закон; и.-е. *g' > s*, причем именно древнеармянский *s* в процессе своего исторического развития превратился в *j* в диалектах I, III, IV, V и II (частично) групп, в каждой согласно своим специфическим законам.

Наконец, и.-е.  $g^2 > k$  в древнеармянском, а в диалектах:

I гр. <i>g</i>	V гр. <i>g</i>
II гр. <i>gk</i>	VI гр. <i>k</i>
III гр. <i>g</i>	VII гр. <i>k</i>
IV гр. <i>g</i>	

Как видно, здесь бесспорно совпадение чистого звонкого *g* первых четырех групп с индоевропейским чистым звонким. Но это совпадение не означает сохранения индоевропейского состояния без изменений, а является регрессивным явлением (и.-е.  $g^2 >$  др.-арм.  $k > g$  в диалектах четырех групп).

Суммируя все вышеизложенное, можно прийти к следующим выводам:

1. В мутациях индоевропейских глухих (чистых и придыхательных) в древнеармянском языке и в диалектах имеется абсолютное единство. Все диалектные различия возникли позднее.

2. В мутациях индоевропейских звонких (чистых и придыхательных) обнаруживается абсолютное единство в древнеармянском языке и диалектах во всех тех случаях, когда индоевропейские взрывные превращаются в аффрикаты или во фрикативные.

3. Абсолютное единство наблюдается также и в частных (ассимилятивных, позиционных) мутациях.

4. Передвижение индоевропейских взрывных в древнеармянском представляет единую систему. В указанных выше общих для древнеармянского и всех армянских диалектов мутациях проявляется та же система, и только отдельные моменты представляют расхождения в различных диалектах. Так как система в целом едина и обща, то и эти отдельные моменты первоначально были общими. Следовательно, диалектные различия являются не первичными, а вторичными, т. е. они представляют не древнейшее состояние, предшествовавшее древнеармянскому, а позднейшее.

Это положение можно доказать рядом фактов. Известно, что в древнеармянском и во всех диалектах, а также в современном армянском имеются аффрикаты  $\check{j}(dz)$ ,  $\check{j}(d\check{z})$ ,  $c(ts)$ ,  $\check{c}(t\check{s})$ ,  $\check{c}(ths)$ ,  $\check{c}(th\check{s})$ , не существовавшие в индо-

европейском. Их существование в древнеармянском, в диалектах и в современном армянском можно объяснить только как результат общего и единого процесса.

Как было показано, др.-арм. *g* (resp. диалектные *gh*, *g*, *k*, *kh*) только в одном случае восходит к и.-е. *g<sup>2</sup>h*, а именно — перед гласными непосредственно ряда (ср., например, и.-е. \**g<sup>2</sup>hano* > др.-арм. *gan* «порка, поби»; и.-е. \**meigho* > др.-арм. *meg* «мгла»). В остальных случаях др.-арм. *g* и соответствующие ему диалектные *gh*, *g*, *k*, *kh* происходят из и.-е. *w(v)*.

Примеры:

и.-е.		др.-арм.
* <i>vedo</i>	>	<i>get</i> «река»
* <i>weid</i>	>	<i>gēt</i> , <i>gitem</i> «ведаю, знаю»
* <i>worg'</i>	>	<i>gorc</i> «дело»

Во всех этих словах против и.-е. *w(v)* в диалектах имеем: в I, II, IV группах — *gh*, в III и VI группах — *g* или *g'*, в V группе — *kh*, в VII группе — *k* или *k'*. Вполне понятно, что первоначально и.-е. *w(v)* превратился в общеармянский *g* (промежуточное звено *g<sup>w</sup>:\*w(v) > g<sup>w</sup> > g*)<sup>5</sup>, а этот звук в дальнейшем перешел в *gh*, *k*, *k'*, *kh* или сохранился в различных диалектах, в каждом согласно своим фонетическим законам. Что переход и.-е. *w(v) > g* являлся общеармянским, доказывается следующим образом: известно, что в некоторых случаях против и.-е. *w(v)* в древнеармянском имеется *w(v)*, а не *g*, причем, несмотря на все усилия компаративистов-арменистов, до сих пор не установлено, как и в каких именно случаях. И это — абсолютно общее явление для всех армянских диалектов, например: и.-е. \**k'swek's* (> *weks*) > др.-арм. *veç* «шесть» (ср. греч.  $\pi\epsilon\acute{\nu}\xi$ ), во всех диалектах — *v(veç, viç, vyç* и т. д.); и.-е. \**gov* > др.-арм. *kov* «корова», в диалектах — *v*; и.-е. \**awei* > др.-арм. *haw*, во всех диалектах *v* и т. д. Такая абсолютная общность не оставляет сомнения в отношении первичности и общности закона *w(v) > g*. А если в этом случае диалектное *gh* восходит к др.-арм. *g*, то и в остальных случаях, т. е. в отношении диалектного *gh* < и.-е. *gh*, *bh* < и.-е. *bh*, *dh* < и.-е. *dh*, имеется вторичное передвижение (*bh* > др.-арм. *b* > диал. *bh* и т. д.). К такому заключению приходим неизбежно, ибо невозможно допустить, что в самых ограниченных явлениях, в звукоизменениях «исключительных» или «аномальных», обнаруживается абсолютное единство, а в мутациях или «передвижениях», представляющих единую систему, этой общности нет.

До сих пор мы касались только тех фактов армянского языка, которые генетически связаны с индоевропейским праязыком. Но для разрешения обсуждаемого вопроса большой и ценнейший материал представляют армянские заимствования из различных языков и в различные эпохи. Исследование заимствований наглядно показывает, что их древняя часть подвергается тем же звуковым изменениям в армянских диалектах, которым подверглись лингвистические единицы (корни, аффиксы, окончания) индоевропейского происхождения, тогда как другая часть (новые заимствования) не подвергается этим изменениям или подвергается в отдельных случаях. Исходя из этого, мы приступаем к анализу заимствований. Для большей ясности и доступности мы будем исследовать языковые данные каждой группы в отдельности, что неизбежно приведет к некоторым повторениям.

### I группа

К этой группе, по словам А. С. Гарибяна, относятся «те диалекты, которые по сравнению с индоевропейским консонантизмом производят лишь передвижение одних чистых глухих в ряд глухих придыхательных» (стр. 82). Допустим, что это так. В этом случае в словах индоевропейского происхождения должны были бы иметь место следующие соответствия:

<sup>5</sup> См. А. Meillet, *Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique*, Vienne, 1936, стр. 49.

и.-е.	<i>bh</i>	<i>b p</i>	<i>ph</i>	<i>dh</i>	<i>d</i>	<i>t</i>	<i>th</i>	<i>gh</i>	<i>g</i>	<i>k</i>	<i>kh</i>
арм. диал. I гр.	<i>bh</i>	<i>b</i>	<i>ph</i>	<i>dh</i>	<i>d</i>		<i>th</i>	<i>gh</i>	<i>g</i>		<i>kh</i>

Из этого следует, что заимствованные слова из языков, не имеющих, скажем, *bh*, *gh*, *dh*, в диалектах этой группы не должны были иметь аспирированных звонких. Так, например, если в слове, заимствованном из пехлевийского, был *b*, то он должен был бы оставаться без изменения. Рассмотрим факты двух диалектов.

1. Севастийский диалект. В нем имеются, например, следующие слова, заимствованные из пехлевийского:

пехл.	др.-арм.	севаст.	
<i>bazuk</i>	<i>bazuk</i>	<i>bhazug</i>	«рука»
<i>gavmeš</i>	<i>gomeš</i>	<i>ghomeš</i>	«буйвол»
<i>datavar</i>	<i>datawor</i>	<i>dhadaver</i>	«судья»
<i>juxt</i>	<i>juxt</i>	<i>juhd</i>	«пара»
<i>čakat</i>	<i>čakat</i>	<i>čagad</i>	«лоб»

Из этих примеров видно, что пехл. *b*, *g*, *d*, *p*, *k*, *t* > др.-арм. *b*, *g*, *d*, *p*, *k*, *t*, а в севастийском диалекте — *bh*, *gh*, *dh*, *b*, *g*, *d*, т. е. чистые звонкие переходят в звонкие придыхательные, а чистые глухие — в чистые звонкие. Только того факта, что в пехлевийских заимствованиях имеется этот фонетический закон, достаточно было бы для опровержения версии А. С. Гарибяна. Но мы продолжим изучение фактов и сопоставим этот закон с изменениями индоевропейских взрывных в севастийском диалекте.

и.-е.	<i>bh</i>	<i>dh</i>	<i>g'h</i>	<i>g<sup>2</sup>h</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>g'</i>	<i>g<sup>2</sup></i>	<i>p</i>	<i>t</i>	<i>k'</i>	<i>k<sup>2</sup></i>
севаст.	<i>bh, v</i>	<i>dh, jh, z</i>	<i>jh, ž</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>j</i>	<i>g</i>	<i>h, w</i>	<i>y</i>	<i>s</i>	<i>kh</i>	
пехл.	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>g</i>	<i>p</i>	<i>t</i>	<i>k</i>						
др.-арм.	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>g</i>	<i>p</i>	<i>t</i>	<i>k</i>						
севаст.	<i>bh</i>	<i>dh</i>	<i>gh</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>g</i>						

Из этого сопоставления можно видеть, что: а) звонкие придыхательные севастийского диалекта только в некоторых случаях совпадают с индоевропейскими звонкими придыхательными, а именно: *dh* > *dh*, *bh* > *bh* перед гласными непереднего ряда. Последний фонетический закон — общеармянский и его никак невозможно считать специфичным явлением севастийского диалекта, ибо мы находим в нем звонкие придыхательные во всех положениях и перед любыми гласными (ср. *ghal* «волк», *ghed* «река», *dhadhar* «покой, отдых», *dhayuj* «усталый», *ghadhaxkh* «гроб», *ghidnal* «знать»); б) звонкие придыхательные генетически соответствуют древнеармянским чистым звонким, какого бы происхождения они ни были; в) чистые звонкие севастийского диалекта совпадают с индоевропейскими чистыми звонкими, но они генетически соответствуют древнеармянским чистым глухим, так как чистые глухие и в заимствованных словах превращаются в севастийском диалекте в чистые звонкие.

Все это приводит к заключению, что в севастийском диалекте имеет место регрессивное передвижение древнеармянских чистых звонких в звонкие придыхательные и чистых глухих — в чистые звонкие, т. е.:

и.-е.	<i>bh</i>	<i>dh</i>	<i>g'h</i>	<i>g<sup>2</sup>h</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>g'</i>	<i>g<sup>2</sup></i>	<i>w</i>
др.-арм.	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>j, z</i>	<i>jh, ž</i>	<i>p</i>	<i>t</i>	<i>c</i>	<i>k</i>	<i>g, w</i>
севаст.	<i>bh</i>	<i>dh</i>	<i>jh, z</i>	<i>jh, ž</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>j</i>	<i>g</i>	<i>gh, v</i>

Для подтверждения этого можно было бы привести множество примеров, но мы ограничимся только одним. Против и.-е. \**gav* имеем др.-арм. *kov* «корова», в севаст. *gov*; ср. также пехл. *gavazan* (= *gav* < и.-е. *gav* + *zan* — основа аориста от *zadan* «ударить») > др.-арм. *gavazan* «посох» > севаст. *ghavazan*; здесь и.-е. *g<sup>2</sup>* превратился в древнеармянском в *k*,

который позднее превратился в *g* в севастийском; тот же и.-е. *g* > пехл. *g* дает в древнеармянском *g*, а этот последний — *gh* в севастийском диалекте.

Итак, приведенные факты подтверждают, что консонантизм севастийского диалекта представляет систему, возникшую из консонантизма древнеармянского языка, а не консервированное состояние индоевропейского консонантизма.

Выше мы показали, что переход и.-е. *p* > (*ph* > *f*) > *h*, *w* — явление общеармянское, причем последнее звено этого процесса (*f* > *h*, *w*) хронологически относится к эпохе III в. до н. э. — III в. н. э. Из этого вытекает, что все различия современных армянских диалектов возникли не ранее III в. н. э. Мы уже видели, что пехлевийские заимствования подвергаются «передвижению» взрывных севастийского диалекта. Этим передвижениям подвергаются также заимствования из сирийского, греческого, кавказских и арабского языков, например: сир. *qattu* > др.-арм. *katu* «кошка» > севаст. *gadu*; сир. *zifta* > др.-арм. *jiwth*<sup>6</sup> «деготь, смола» > севаст. *jhuth*; груз. *baki* > др.-арм. *bak* «двор» > *bhag*; груз. *cona* > др.-арм. *canr* «тяжелый» > *janyə*; груз. *mušxki* > др.-арм. *mšak* «работник» > *mšag*; греч. βάλανιον > др.-арм. *bałanikh* «баня» > *bhaynikh*; араб. *baqla* > др.-арм. *baklay* «боб» > *bhayla*.

Что касается позднейших заимствований, то в них замечается озвончение чистых глухих, а чистые звонкие остаются без изменения, например:

турецк. *baruth* > ср.-арм. *baruth* «порох» > севаст. *baruth*

татар. *tubrak* > ср.-арм. *toprak* «мешок» > севаст. *dorbag*

Все эти примеры позволяют установить приблизительную хронологию передвижений согласных в севастийском диалекте. Можно предположить следующее: сирийские заимствования относятся к I—VI вв. н. э. (в основном к III—IV вв.), грузинские наблюдаются с древнейших времен до наших дней, греческие относятся к IV—VI вв. н. э., арабские — к VII—X вв. н. э., тюркские — к XI в. н. э. и наблюдаются до наших дней.

Так как сирийские, пехлевийские, грузинские (древние), греческие и арабские заимствования подвергаются передвижению *b*, *d*, *g*, *j*, *ġ* > *bh*, *dh*, *gh*, *jh*, *ġh*, а тюркские, новоперсидские и грузинские заимствования новых времен не подвергаются этому передвижению, то ясно, что указанное передвижение хронологически может относиться к периоду с III в. н. э. по XI в. н. э. Что же касается передвижения чистых глухих в чистые звонкие, то оно также произошло не ранее III в. н. э., но продолжает действовать и после XI в.

2. Х е м ш и н с к и й д и а л е к т. Этот диалект представляет собой три разновидности трех групп говоров: малаской, чаникской и трапезундской [говору населения Трапезундского района, переселившегося из Хемшина (Хамамашена)]. Консонантизм этих говоров представляет следующую картину:

маласк. гр.	<i>bh</i>	<i>dh...</i>	<i>b</i>	<i>d...</i>	<i>ph</i>	<i>th...</i>
чаник. гр.	<i>b</i>	<i>d...</i>	<i>p</i>	<i>t...</i>	<i>ph</i>	<i>th...</i>
трапезунд. гр.	<i>b</i>	<i>d...</i>	<i>ph</i>	<i>th...</i>		

Из этого видно, что малаская группа говоров лишена чистых глухих, чаникская — звонких придыхательных при наличии чистых глухих, а трапезундская группа лишена и звонких придыхательных, и чистых глухих. Отсюда ясно, что хотя эти три группы и являются г о в о р а м и одного диалекта, они представляют различные системы консонантизма и должны быть отнесены к различным диалектным группам: малаская — к I группе, чаникская — к IV группе, трапезундская — к VII группе. Рассмотрим факты каждой группы в отдельности:

и.-е.	<i>bher-</i>	«принести»	<i>dhē-</i>	«положить»	<i>gheiem</i>	«зима»
др.-арм.	<i>berel</i>	»	<i>dnel</i>	»	<i>jmerñ</i>	»
маласк.	<i>bheruš</i>	»	<i>dhnuš</i>	»	<i>jhmer</i>	»

<sup>6</sup> Как видно, и в сирийских словах, заимствованных в основном в I—IV вв. н. э., *f* > *w* (*zifta* > *jiwth*).

и.-е.	<i>dekṃ</i> «десять»	<i>g'onwi</i> «колени»
др.-арм.	<i>tasn</i> »	<i>cungn</i> »
маласк.	<i>dasə</i> »	<i>jung</i> »

## В заимствованиях:

пехл.	<i>dat</i> «судить»	<i>čakat</i> «лоб»	<i>barak</i> «тонкий»
др.-арм.	<i>datel</i> »	<i>čakat</i> »	<i>barak</i> »
маласк.	<i>dhaduš</i> »	<i>jağad</i> »	<i>bharag</i> »
сир.	<i>zifta</i> «смола»	<i>qaṭṭu</i> «кошка»	груз. <i>cona</i> «тяжелый»
др.-арм.	<i>jiwth</i> »	<i>katu</i> »	др.-арм. <i>canr</i> »
маласк.	<i>jhuth</i> »	<i>gadu</i> »	маласк. <i>jondr</i> »

Из этих примеров видно, что и здесь имеется такое же явление, как в севастийском диалекте.

Чаникская группа лишена звонких придыхательных; в ней против индоевропейских звонких придыхательных имеются чистые глухие, а против чистых звонких — чистые звонкие. «Передвижение» объясняется очень просто: и.-е. *bh, dh, g<sup>2</sup>h* > др.-арм. *b, d, g*; и.-е. *b, d, g<sup>2</sup>* > др.-арм. *p, t, k*, а позднее — др.-арм. *b, d, g* > чаник. *p, t, k*, а др.-арм. *p, t, k* > чаник. *b, d, g*. Это легко доказывается заимствованными словами:

пехл.	<i>dat</i> «суд»	<i>čakat</i> «лоб»	сир.	<i>zifta</i> «смола»
др.-арм.	<i>dat</i> »	<i>čakat</i> »	др.-арм.	<i>jiwth</i> »
чаник.	<i>tad</i> »	<i>jağad</i> »	чаник.	<i>cut</i> »
груз.	<i>cona</i> «тяжелый»	лаз.	<i>lakoti</i> «щенок»	
др.-арм.	<i>canr</i> »	др.-арм.	<i>lakot</i> »	
чаник.	<i>jondrə</i> »	чаник.	<i>lagöđ</i> »	

Наконец, трапезундская группа имеет только два ряда взрывных: чистые звонкие и глухие придыхательные, и это само по себе обозначает возникновение данной системы из древнеармянского.

Мы не продолжаем анализа фактов других диалектов, отнесенных А. С. Гарибяном к I диалектной группе. Ознакомления с фактами двух диалектов уже достаточно, чтобы доказать наше положение о том, что передвижение индоевропейских согласных в древнеармянском является примарным. Таким образом, консонантизм армянских диалектов (в данном случае I группы) возник из древнеармянского консонантизма в результате процессов мутаций, проходивших в соответствии с различными закономерностями отдельных диалектов.

Считаем необходимым отметить только следующий факт, характерный для всех диалектов этой группы. И.-е. *k<sup>2</sup>* как в древнеармянском, так и в диалектах этой группы переходит в *kh*. В заимствованных же словах *k* переходит не в *kh*, а в *g*, т. е. озвончается. Этот закон озвончения распространяется и на звук *t* как в заимствованных, так и в тех нескольких словах, в которых и.-е. *t* сохранился без изменения после *s* (например, и.-е. \**ster* > др.-арм. *sterj* «sterilis» > харберд. *derč*, хемшин. *sdeyč*). Это значит, что индоевропейские чистые глухие аспирируются в этих диалектах соответственно с древнеармянским (общее и первичное явление), тогда как древнеармянские чистые глухие озвончаются (свойственное этой группе частное и вторичное явление).

## II группа

Ко II группе относятся диалекты, в которых «ряд взрывных (т. е. звонких.— Э. А.) придыхательных совпадает с соответствующим индоевропейским. Ряд чистых взрывных (т. е. звонких.— Э. А.) совпадает с индоевропейским рядом во всех позициях, исключая начало слова. Ряд глухих в начале слова соответствует индоевропейским звонким, и глухие придыхательные сохраняют индоевропейское состояние» (стр. 83), т. е.:

и.-е.	<i>bh dh gh b d g p t k ph th kh</i>
арм. диал. II гр.	<i>bh dh gh b d g ph th kh ph th kh</i>

Рассмотрим факты.

1. А й р а р а т с к и й д и а л е к т. Этот диалект имеет звонкие придыхательные только в начале слова; против индоевропейских чистых звонких в этом диалекте находим чистые глухие (в начале слова), чистые звонкие или глухие придыхательные (после *r*); против индоевропейских чистых глухих — фрикативные; против глухих придыхательных — глухие придыхательные, т. е.

и.-е.	<i>bh dh g'h g<sup>2</sup>h b</i>
айратат.	<i>bh, b, w (v) dh, d jh, j, z gh, g, jh, j, z b, p, ph</i>
и.-е.	<i>d g' g<sup>2</sup> p t k' k<sup>2</sup></i>
айратат.	<i>d, t, th j, c g, k h, v y, v (w) s kh</i>
и.-е.	<i>ph th k'h k<sup>2</sup>h</i>
айратат.	<i>ph th x kh</i>

Как видно, картина намного сложнее, чем представляется А. С. Гарибьяну. В отношении этого диалекта не оправдывает себя его утверждение, будто бы «ряд взрывных придыхательных (т. е. звонких придыхательных. — Э. А.) совпадает с соответствующим индоевропейским» (стр. 83). Это «совпадение» в данном диалекте обнаруживается только в начале слова. В середине слова имеются или чистые звонкие или же глухие аспирированные, например: и.-е. *dhur* > айратат. *dhur* «дверь», но и.-е. *bendh* > айратат. *pind* «крепкий»; и.-е. *dhṛ* > айратат. (путем повторения) *dhatharel* «перестать»; после *r*, как общее правило, против индоевропейских звонких придыхательных — глухие придыхательные, что означает *bh, dh, gh* > *b, d, g* > *ph, th, kh*, например: и.-е. *dhabhro* > др.-арм. *darbin* «кузнец» > айратат. *dharphin*; и.-е. *sybh* > др.-арм. *arbel* «черпать, пить» > айратат. *harphel*.

Тем же мутациям подвергаются и заимствования до X—XI вв. н. э., например:

пехл.	<i>dat</i> «суд»	<i>barak</i> «тонкий»	сир.	<i>zifta</i> «смола»
айратат.	<i>dhad</i> »	<i>bharag</i> »	айратат.	<i>jhuth</i> »

Тюркские заимствования не подвергаются этому закону (ср. тюрк. *baruth* > айратат. *baruth* «порох», тюрк. *biḡ* > айратат. *beḡ, beḡ* «усы» и т. д.).

После диалектного *x* < *γ* (гуттуральный звонкий фрикативный) имеются чистые глухие взрывные против индоевропейских звонких придыхательных, звонких чистых и глухих придыхательных, например: и.-е. *bhrevr* > др.-арм. *aṭbewr* «источник» > айратат. *axpur*; и.-е. *oligo* > др.-арм. *aṭkhat* «бедный» > айратат. *axkat* и т. д. В этом отношении знаменательны: и.-е. *bhrevr* > айратат. *axpur*; и.-е. *bhrater* > айратат. *axper*. Известно, что и.-е. *bhrater*, *bhrater* в связи с перемещением *bhr* > *rbh* превратились в *rbewr, rbayr*; при этом из данных форм (с прибавлением *e* или *a* перед начальным *r* и диссимилацией одного из двух *r*) получились *aṭbewr, aṭbayr (eṭbayr)*; в дальнейшем процессе развития древнеармянского языка (но не ранее IX в. н. э.) *t* > *γ*, этот последний с последующим *b* привел к сочетанию *xp* (\**bhrater* > \**bhrayr* > \**rbhayr* > \**rbayr* > \**erbayr, \*arbayr* > *eṭbayr, aṭbayr* > *eγbayr, aγbayr* > айратат. *axper* «брат»).

Все факты подтверждают, что появление в начале слов звонких придыхательных — результат вторичного процесса после общеармянского передвижения индоевропейских взрывных. Мы не считаем нужным приводить факты превращения древнеармянских чистых глухих в чистые звонкие. Ввиду того, что и в айрататском диалекте озвончаются древнеармянские чистые глухие в середине и в конце слова любого происхождения (но не заимствования после XI в. н. э.), и здесь утверждается то же положение.

2. К а р и н с к и й д и а л е к т. Он представляет ту же картину в консонантизме, что и айрататский, т. е. и здесь звонкие придыхательные

имеются только в начале слова, древнеармянские чистые глухие (какого бы происхождения они ни были) в начале слова остаются без изменения, в середине и конце его переходят в чистые звонкие. Данные исторической фонетики такие же, как и предыдущего диалекта.

3. **Мушский диалект.** Этот диалект отличается от двух предыдущих тем, что звонкие придыхательные могут быть и в середине слова, если они стоят в начале второго компонента сложения или получают какой-либо префикс (ср. *bheran* «рот», *bhačbheran* «ротозей», *ghin* «цена», *anghin* «бесценный» и т. д.). В остальном указанный диалект сходен с предыдущим.

Как в каринском, так и в мушском диалекте «передвижению» взрывных подвергаются также и новейшие заимствования из турецкого, курдского, русского языков; ср. русск. *кооператив*, мушск. *koberad*, турецк. *demirçi*, карин. *dhamərçi* «кузнец» и т. д. Следовательно, и в этих диалектах закон озвончения чистых глухих продолжает действовать.

Таким образом, консонантизм II группы тоже не представляет консервированного состояния индоевропейской системы, а происходит из консонантизма древнеармянского. Одним из наиболее знаменательных фактов, подтверждающих нашу точку зрения, является следующее: в начале слова против индоевропейских чистых звонких в этих диалектах имеется чистый глухой ( $b > p$ ,  $d > t$  и т. д.), но если слово, начинающееся с чистого глухого, получает префикс или является вторым компонентом сложения, то его начальный глухой переходит в звонкий. Так, например, др.-арм. *kerakur* «пища» > мушск. *keragur*, *keragul*; известно, что данное слово происходит от корня *ker* «пища» (< и.-е.  $g^2er$ ) + *kur* «корм, пища животных» (от того же индоевропейского корня  $g^2er$ ); так как сложное слово образовано на армянской почве, то и переход др.-арм.  $k > g$  является позднейшим явлением. (Ср. также др.-арм. *haw* «птица», «курица» + *kith* «доеение» > мушск. *hav-gith* «яйцо»; др.-арм. *tun* «дом» + *tikin* «барыня» > мушск. *tandəgin* «хозяйка» и т. д.)

### III группа

К III группе относятся диалекты, «которые произвели передвижение индоевропейских звонких придыхательных в ряд чистых звонких, сохранив при этом индоевропейские чистые звонкие» (стр. 84), т. е.

и.-е.	<i>bh</i>	<i>dh</i>	<i>gh</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>g</i>	<i>p</i>	<i>t</i>	<i>k</i>	<i>ph</i>	<i>th</i>	<i>kh</i>
арм. диал. III гр.	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>g</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>g</i>	<i>ph</i>	<i>th</i>	<i>kh</i>	<i>ph</i>	<i>th</i>	<i>kh</i>

В эту группу входят диалекты: трапезундский, евдокийский, новонахичеванский, константинопольский и марашский.

Остановимся на двух из указанных диалектов.

1. **Константинопольский диалект.** Этот диалект имеет только два ряда взрывных: чистые звонкие и глухие придыхательные. Соответствия с индоевропейским и древнеармянским представляют следующую картину:

и.-е.	<i>bh</i>	<i>dh</i>	<i>g'h</i>	<i>g<sup>2</sup>h</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>g'</i>	<i>g<sup>2</sup></i>
др.-арм.	<i>b, v (w)</i>	<i>d</i>	<i>j, z</i>	<i>g, j, ž</i>	<i>p</i>	<i>t</i>	<i>c</i>	<i>k</i>
констант.	<i>b, v</i>	<i>d</i>	<i>j, z</i>	<i>g, j, ž</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>j</i>	<i>g</i>
и.-е.	<i>p</i>	<i>t</i>	<i>k'</i>	<i>k<sup>2</sup></i>	<i>ph</i>	<i>th</i>	<i>k'h</i>	<i>k<sup>2</sup>h</i>
др.-арм.	<i>h, w</i>	<i>y, w</i>	<i>s</i>	<i>kh</i>	<i>ph</i>	<i>th</i>	<i>x</i>	<i>kh</i>
констант.	<i>h</i>	<i>y<sup>7</sup></i>	<i>s</i>	<i>kh</i>	<i>ph</i>	<i>th</i>	<i>x</i>	<i>kh</i>

В заимствованиях древнего периода имеются следующие соответствия:

пехл.	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>g</i>	<i>p</i>	<i>t</i>	<i>k</i>	<i>ph</i>	<i>th</i>	<i>kh</i>
др.-арм.	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>g</i>	<i>p</i>	<i>t</i>	<i>k</i>	<i>ph</i>	<i>th</i>	<i>kh</i>
констант.	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>g</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>g</i>	<i>ph</i>	<i>th</i>	<i>kh</i>

<sup>7</sup> *w*, полученный от и.-е. *p* или *t*, являющийся вторым компонентом дифтонгов древнеармянского, здесь, как и в большинстве диалектов, сливается в один гласный (ср. др.-арм. *hawr* > констант. *hor* «отца»).

Например: пехл. *čakat* > др.-арм. *čakat* «лоб» > констант. *īagad*; сир. *qattu* > др.-арм. *katu* «кошка» > констант. *gadu* и т. д.

Из этого следует, что: а) в передвижении звонких придыхательных, чистых глухих и глухих придыхательных константинопольский диалект абсолютно совпадает с древнеармянским; б) против индоевропейских чистых звонких указанный диалект имеет чистые звонкие, тогда как в древнеармянском находим чистые глухие. Но так как во всех случаях против древнеармянских чистых глухих в этом диалекте имеются чистые звонкие, то ясно, что именно древнеармянские чистые глухие перешли в чистые звонкие. Лучшим доказательством этого является следующее: выше было сказано, что только в отдельных случаях индоевропейские чистые глухие могут оставаться таковыми в древнеармянском, а именно: после *s*. Так как в константинопольском диалекте, по представлению А. С. Гарибяна, ряд чистых глухих перешел в ряд глухих придыхательных, то и в этом случае против и.-е. *p*, *t* должны были бы быть *ph*, *th*. Однако факты говорят совсем другое: как во всех случаях, так и в этом древнеармянские *p*, *t*, переходят в константинопольском диалекте в *b*, *d*, например: и.-е. *stel* > др.-арм. *stečanel* «творить» > констант. *əsdeçjel*, ср. пехл. *spētak* > др.-арм. *spitak* «белый» > констант. *isbidag* (пехл. *sp* > др.-арм. *sp* > констант. *sb*).

Чистые глухие не передвижаются в ряд глухих придыхательных, а превращаются во фрикативные (*h*, *v*, *y*, *s*). Только в тех случаях, когда они перешли в глухие придыхательные в древнеармянском, согласно определенным фонетическим законам, в константинопольском имеем глухие придыхательные; в тех же случаях, когда индоевропейские чистые глухие остаются таковыми в древнеармянском, они перешли в чистые звонкие в константинопольском, т. е. не вправо (в ряд глухих придыхательных), а влево (в ряд чистых звонких).

Все это с предельной ясностью говорит о том, что и в константинопольском диалекте мы имеем мутации позднейшего периода; следовательно, и консонантизм константинопольского диалекта образовался на основе древнеармянского (общеармянского) консонантизма.

2. Новонахичеванский диалект. В этом диалекте различаются две группы говоров. I группа имеет звонкие придыхательные (*bh*, *dh*, *gh*), чистые звонкие (*b*, *d*, *g*) и глухие придыхательные (*ph*, *th*, *kh*).

II группа имеет чистые звонкие (*b*, *d*, *g*) и глухие придыхательные (*ph*, *th*, *kh*)<sup>8</sup>. Результаты мутации взрывных не отличаются от тех, которые указаны выше. И здесь имеется мутация древнеармянского (а не индоевропейского непосредственно) консонантизма.

Итак, анализ лингвистических данных, в частности исторической диалектологии, опровергает концепцию А. С. Гарибяна, лишённую всякой исторической почвы, и подтверждает точку зрения Г. Гюбшмана, А. Мейе, Р. Ачаряна и других арменистов о том, что все современные армянские диалекты возникли из древнеармянского.

Согласно концепции А. С. Гарибяна, «передвижение» индоевропейского консонантизма в армянских диалектах отражает передвижение армянских племен с запада, а «группировка армянских диалектов по системе согласных отражает процесс распространения армянского языка на территории исторической Армении» (стр. 90).

Обратимся к фактам. По мнению А. С. Гарибяна, получается следующая картина размещения армянских диалектов:

- I гр. — историческая Малая Армения
- II гр. — центральные области исторической Армении
- III гр. — западнее и севернее исторической Малой Армении
- IV гр. — район Киликии и Северной Сирии

<sup>8</sup> См. Р. Ачарян, Исследование ново-нахичеванского диалекта, Ереван, 1925, стр. 23—30 (на арм. яз.).

- V гр. — Северная Месопотамия и Юго-Западная Армения  
 VI гр. — среднее течение р. Аракс (историч. Гохтан, Атрпатакан)  
 VII гр. — восточные окраины исторической Армении, «т. е. в противоположной стороне Малой Армении, исходной области распространения армянского языка» (стр. 88).

Эта схема ничего не говорит о подлинном положении вещей. Так, например, ванский диалект, относимый к VII группе армянских диалектов, территориально расположенный с противоположной стороны «исходной области распространения армянского языка», находился в соседстве с мушским диалектом (I группа). Между Ванской областью (исторический Васпуракан) и Карабахом нет никакого территориального соприкосновения, но они относятся к одной группе. Диалекты III группы, по словам А. С. Гарибяна, расположены «главным образом западнее и севернее Малой Армении (исключение составляет марашский диалект, расположенный в районе Киликии)» (стр. 85). В эту группу входят диалекты: константинопольский (на берегах Босфорского залива), новонахичеванский (ныне — Крым и Кубань<sup>9</sup>), трапезундский (берег Черного моря), находящийся в соседстве с хемшинским (I группа). Мегринский, карчеванский и агулисский диалекты не имеют никакого территориального соприкосновения с ардвинским и тбилиским диалектами, но относятся вместе с ними к VI группе. Они находятся в непосредственном соседстве с джульфинским (II группа), новонахичеванским (III группа) и карабахским (VII группа) диалектами.

Следует также учитывать, что на одном и том же отрезке территории, на территории одного и того же диалекта находим разные системы консонантизма. Так, в хемшинском диалекте представлены три системы консонантизма трех говоров, а именно: малаская (система I группы армянских диалектов), чаникская (система IV группы армянских диалектов), трапезундская (VII группа армянских диалектов); новонахичеванский диалект, относящийся к III группе, представляет две разновидности, первая из которых имеет систему III группы, а вторая — V группы. Можно перечислить такие факты и из других диалектов (например, из айрататского).

Что же касается группировки диалектов на основе консонантизма, то она находится в противоречии с концепцией Гарибяна в самом принципе. Классификация или группировка А. С. Гарибяна на основе системы гласных — статическая (синхронная), а его выводы и предположения претендуют объяснить исторический процесс развития консонантизма. Иными словами, А. С. Гарибян пытается осветить историю языка, не учитывая исторического процесса, а основываясь только на статическом состоянии, а от этого получается «историзм» без истории.

Важно и то, что даже при своем, не приемлемом для нас, подходе А. С. Гарибян не придерживается определенного, последовательно применяемого принципа. Прочитав его статью, читатель неизбежно приходит к следующему выводу: группировка армянских диалектов на основе консонантизма зиждется на степени близости их системы взрывных к системе индоевропейского праязыка. Из этого вытекает, что I группу должны были бы составить диалекты, «сохранившие» индоевропейскую систему взрывных без изменения или почти без изменения, II группу — диалекты, частично изменившие индоевропейскую систему, и т. д. Иными словами, консонантизм I группы армянских диалектов ближе к системе праязыка, чем II группы, консонантизм II группы — ближе, чем III группы, и т. д. Но так ли это у А. С. Гарибяна? Нет, не так, потому что «по сравнению с индоевропейской системой согласных диалекты I группы лишены только одного ряда, а именно ряда чистых глухих» (стр. 82), тогда как в консонантизме II группы «полностью представлены четыре ряда» (стр. 83), т. е.:

<sup>9</sup> Говорящие на этом диалекте переселились из Нахичевани.

и.-е.	<i>bh gh dh b g d p k t ph kh th</i>
арм. диал. I гр.	<i>bh gh dh b g d — — — ph kh th</i>
арм. диал. II гр.	<i>bh gh dh b g d p k t p kh th</i>

Как видно, по определению самого же А. С. Гарибяна, система взрывных II группы ближе к индоевропейской, чем система I группы. Следовательно, II группа должна была быть признана I группой, а I группа — II группой. Большинство диалектов I группы «расположено в области исторической Малой Армении, которая считается „колыбелью“ армянского народа» (стр. 83), а диалекты II группы — это «все диалекты центральных областей исторической Армении... Естественно предполагать, что указанная (вторая. — Э. А.) группа образовалась после иммиграции армян в историческую Армению с Запада, из Малой Армении, т. е. из заевфратских областей. Следовательно, в результате рассмотрения системы согласных диалектов центральных областей, мы получаем прямые указания на миграцию армян из Малой Армении, т. е. с Запада» (стр. 84; разрядка моя. — Э. А.). Если диалекты, отнесенные А. С. Гарибяном ко II группе, считать I группой, а диалекты I группы — II группой, то из этого само собой получается, что индоевропейская система взрывных лучше «сохранена» в диалектах центральных областей исторической Армении, чем в диалектах Малой Армении, т. е. в «колыбели» армянского народа. А это в корне противоречит концепции А. С. Гарибяна о том, что «группировка армянских диалектов по системе согласных отражает процесс распространения армянского языка на территории исторической Армении» (стр. 90). Поэтому он и вынужден выделить во II группу диалекты, обладающие четырьмя рядами взрывных, а в I группу — диалекты, обладающие тремя рядами, т. е. лишённые ряда чистых глухих.

А. С. Гарибян не учитывает также данные истории армянского народа. Всем известно, что в разные исторические эпохи армяне переселялись из восточных частей в западные и обратно. Вследствие этого современных армян данной территории нельзя отождествлять с армянами той же территории, скажем, I в. н. э. Так, например, армяне Севастии, диалект которых по системе взрывных относится к I группе, переселились из Вана в XI в. н. э. (1016—1022 гг.). Носители новонахичеванского диалекта живут в Крыму и на Кубани, переселившись туда из Нахичевани; носители новоджувльфинского диалекта переселились из Старой Джувльфы (на Араксе) и т. д. и т. п. Все эти факты говорят о том, что научно не обосновано отождествление современного диалекта данной территории с говорами ее жителей I—II вв. н. э. и ранних эпох. Как можно севастийский диалект считать продолжением говора севастийских армян I—II вв. н. э. или даже более ранних эпох, когда из истории известно, что древние армяне Севастии ассимилированы с византийцами и только в XI в. н. э., в эпоху царства Багратидов в Армении, из Вана переселились в Севастию.

Все изложенное уже достаточно наглядно показывает несостоятельность концепции А. С. Гарибяна. Однако мы считаем необходимым остановиться и на других не менее важных обстоятельствах. Для разрешения проблемы первичности диалектов по сравнению с древнеармянским надо было бы основываться не только на консонантизме, но и на вокализме. А вокализм современных армянских диалектов возник из древнеармянской системы гласных. Это положение доказано в особенности исследованиями Р. А. Ачаряна, и никто (в том числе и А. С. Гарибян) не оспаривает его.

Следует обратить особое внимание на то, что почти во всех армянских диалектах наблюдается прибавление в начале некоторых слов перед гласным звука *h* (др.-арм. *ənker* «товарищ», *iñç* «что», *ov* «кто», *ut* «кому» > диал. *hənger*, *hiñç*, *hov*, *hum* и т. д.), а также превращение др.-арм. *y* в диал. *h* в начале слова (др.-арм. *yišel* > диал. *hišel* «помнить»; др.-арм.

*yʔel*<sup>10</sup> > диал. *hyel* «посылать» и т. д.). Это явление объясняется следующим образом: для произношения гласного, как и сонанта *y* в начале слова, необходимо совпадение начала вибрации голосовых связок с моментом вытеснения воздушной струи из легких. Если же вибрация голосовых связок начинается хоть с незначительным опозданием, то перед начальным гласным получается придыхание (= звуку *h*), а в случае начального положения сонанта *y* совершается переход *y* > *h*. В языках, не имеющих фонемы *h*, придыхание в начале слова не имеет никакого значения, но в армянском языке, в котором *h* является полноценной фонемой<sup>11</sup>, такое произношение имело колоссальное значение с точки зрения изменения звуков.

Нам кажется, что таким образом объясняется также возникновение звонких придыхательных армянских диалектов. Ведь и для произношения чистых звонких взрывных в начале слова необходимо совпадение начала вибрации голосовых связок с моментом вытеснения воздушной струи, с одной стороны, и совпадение момента прекращения вибрации с моментом перехода к произнесению следующего звука, с другой. Если же вибрация начинается с некоторым опозданием или прекращается раньше перехода к артикуляции следующего звука, то это приводит к образованию придыхания (ср. аспирирование начальных звонких взрывных в некоторых армянских диалектах). Видимо, только после этого вследствие ассимиляции в группе диалектов возникли звонкие придыхательные в середине и в конце слова. Это объяснение, разумеется, чисто теоретическое, но оно кажется нам приемлемым, если учесть, что образование придыхания в начале слова (в некоторых случаях и в других позициях) — обычное явление в армянских диалектах.

Наконец, необходимо также отметить, что, сгруппировав армянские диалекты, основываясь только на системе взрывных, А. С. Гарибян совершенно игнорирует принятую в армянской диалектологии (и самим же А. С. Гарибяном) основную морфологическую классификацию. Между тем эта классификация во многом помогла бы читателям ориентироваться в обсуждаемой проблеме, ибо она показала бы, что диалекты одной ветви по морфологической классификации относятся к разным группам по системе взрывных (например, в составе ветви *ит* имеются диалекты II, VI, VII групп, в составе ветви *кэ* — диалекты I, II, III, V, VII групп). А это в корне противоречит той схеме распространения армянского языка, которая представлена А. С. Гарибяном.

Итак, концепция А. С. Гарибяна лишена всякой исторической почвы и должна быть отвергнута.

Как классическая арменистика, так и большинство современных представителей этой специальности (А. С. Гарибян причисляет последних к «традиционной арменистике») считают доказанной точку зрения, согласно которой современные армянские диалекты возникли из системы древнеармянского языка. Большинство исследований советских арменистов и в первую очередь исследования покойного академика АН Арм ССР Р. А. Ачаряна доказывают, что А. Мейе был прав, когда говорил: «Современные армянские говоры не содержат ни одной черты, которая предполагала бы наличие существенным образом отличных друг от друга диалектов в V в. н. э.; во всяком случае говоры не содержат почти ничего такого, что предполагало бы сохранение индоевропей-

<sup>10</sup> В древнеармянском было два *l*: переднеязычный (*l*) и велярный (*l*). Последний в дальнейшем во всех диалектах, как и в современном языке, превратился в заднеязычный фрикативный звук и в транскрипции передается буквой *ç*. А. С. Гарибян в своей статье приводит древнеармянское слово *hol* «земля» с конечным *l* (со знаком сонанта-гласного), которого не имелось, а диалектные формы *hoç*, *huç*, *foç*, *föç*, *xuç* приводит в транскрипции *hol*, *hul*, *fol*, *föl*, *chul*, что неверно.

<sup>11</sup> В некоторых армянских диалектах имеется также звонкий *h*.

ских особенностей, не известных классическому армянскому языку»<sup>12</sup>. Все «пережитки», обнаруженные в диалектах исследованиями А. Р. Ачаряна и другими, сводятся к отдельным словам, не сохранившимся в древнеармянском литературном языке, и отдельным звуковым или грамматическим явлениям, которые опять-таки не предполагают сохранения индоевропейских особенностей, а представляют древнейшие диалектные различия самого же армянского языка<sup>13</sup>.

Итак, согласно принятой в советской арменистике теории, современные армянские диалекты возникли из общенародного разговорного древнеармянского языка. Классический армянский язык, или грабар, или литературный древнеармянский язык, является литературно-обработанным состоянием общенародного разговорного древнеармянского языка.

Следует обратить также внимание на то, что А. С. Гарибян неверно излагает положения представителей «традиционной арменистики». В своей статье он пишет: «Традиционная арменистика утверждала также, что армянские диалекты образовались в процессе разложения древнеармянского языка, т. е. образование армянских диалектов явилось результатом перерождения древнеармянского языка, которое выразилось будто бы в постепенном угасании древнеармянского языка приблизительно к XI в. н. э. и сложении армянских диалектов, начиная с XI—XII вв.» (стр. 81—82). В подстрочном примечании к этому изложению положений «традиционной арменистики» автор статьи дает ссылку на книгу Р. А. Ачаряна «История армянского языка». Однако в книге Р. А. Ачаряна ничего подобного нет. По теории Р. А. Ачаряна, армянские диалекты возникли путем ответвления древнеармянского общенародного языка в результате его внутреннего развития, что привело к неизбежному отмиранию древнеармянского языка. Современные армянские диалекты возникли не после XI—XII вв., как полагает А. С. Гарибян; согласно теории Р. А. Ачаряна, возникновение современных диалектов начинается с V в. н. э. и продолжается до сего времени в армянских колониях. Часть диалектов (как, например, карабахский, мегринский, айрататский, агулский и многие другие), как показывает Р. А. Ачарян в своей книге на основе анализа языкового материала, в основном была уже образована к XI—XII вв., а другая часть образовалась позднее. Можно сравнить также следующие строки, написанные другим представителем «традиционной арменистики» — Э. Б. Агаяном: «Постепенное развитие этих (диалектных. — Э. А.) элементов приводит к тому, что в V в. мы уже имеем новые диалекты, хотя расхождения между ними не так сильны и выражаются, в основном, в консонантизме (оглушение звонких — в одних, оглушение/аспирирование — в других и сохранение без изменения — в третьих). Интенсивный процесс дифференциации новых диалектов происходит в последующие века, в особенности в XII—XIII вв., что объясняется ходом истории армянского народа (арабское завоевание, нашествие турков и татар и т. д.). Этой же эпохой датируется отмирание древнеармянского языка»<sup>14</sup>. «Традиционная арменистика» придерживается точки зрения, согласно которой современные армянские диалекты возникли в результате внутреннего развития (а не разложения) древнеармянского общенародного языка и его ответвлений; процесс возникновения диалектов начался задолго до V в. н. э., но усилился в VII—VIII и в особенности в XII—XIII вв.

Мы не касаемся здесь статьи профессора Парижского университета Ж. Фурке, так как она основана на материалах и выводах проф. Гарибяна.

<sup>12</sup> А. Meillet, указ. соч., стр. 9 (разрядка моя. — Э. А.).

<sup>13</sup> См.: Р. Ачарян, История армянского языка, ч. II, Ереван, 1951; Э. Агаян, Древнейшие диалектные различия в армянском языке, «Изв. [АН АрмССР]», Серия гуманитар. наук, № 5, 1958 (на арм. яз.).

<sup>14</sup> Э. Д. Агаян, К вопросу о возникновении новоармянских диалектов, «Историко-филологический журнал», 1958, № 2, стр. 232 (на арм. яз., резюме на русском).

М. А. ЧЕРКАССКИЙ

К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ СИНГАРМОНИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ  
И ПАРАЛЛЕЛИЗМОВ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Начиная со второй половины XIX в. внимание многих исследователей неизменно привлекают факты спорадического изменения или колебания огласовки начального слога ряда основ в тюркских языках<sup>1</sup>. Интерес к указанным явлениям определяется тем, что их происхождение, как полагают некоторые ученые, связано с доисторическим этапом развития тюркских или «прототюркских» языков. Сравнение языка, зафиксированного в древнетюркских письменных памятниках (V—VIII вв. н. э.), с современными тюркскими языками позволяет говорить о том, что грамматический строй тюркских языков в наиболее существенных чертах остается почти неизменным. При таких условиях воссоздание картины эволюции морфологической структуры тюркского слова представляет значительные трудности, и любые, даже косвенные данные в этой области обладают определенной ценностью. В то же время другие ученые считают возможным объяснить возникновение мены гласных основы исходя из современного состояния тюркских языков и тем самым отрицают связь этих явлений с какими-либо типологическими сменами.

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы проанализировать некоторые наиболее характерные особенности указанных выше явлений и на этой основе попытаться рассмотреть правомерность отдельных гипотез, так или иначе трактующих генезис упомянутых фактов. Сначала мы обратимся к тем гипотезам, которые выводят интересующие нас явления из современного состояния тюркских языков, а затем — к тем из них, которые связывают возникновение этих явлений с пройденными этапами типологической эволюции.

Прежде чем перейти непосредственно к существу проблемы, необходимо определить некоторые понятия и оговорить термины, так как в литературе вопроса нет единства терминологии и само явление, как нам кажется, должным образом не расчленено. В словарном составе тюркских языков регулярно наблюдаются группы семантически тождественных или близких основ, обладающих одинаковым консонантизмом, но различающихся между собой по огласовке. Следует сразу же заметить, что хотя большинство авторов говорит только о различиях огласовки подобных основ по признаку ряда (передний — задний), в действительности их огласовка может различаться также и по признакам подъема и огубленности или по любой из комбинаций этих трех признаков. Семантические отношения между основами, входящими в эти группы, неодинаковы. С этой точки зрения мы различаем сингармонические варианты и сингармонические

<sup>1</sup> Помимо работ, на которые делаются ссылки при дальнейшем изложении, можно назвать еще следующие: W. Schott, *Über das altaische oder finnisch-tatarische Sprachgeschlecht*, Berlin, 1849, стр. 45—46; J. Grunzel, *Entwurf einer vergleichenden Grammatik der altaischen Sprachen*, Leipzig, 1895, стр. 21—23; G. Jarri ng, *Studien zu einer osttürkischen Lautlehre*, Lund, 1933, стр. 94—96; Н. К. Дмитриев, *Чередование гласных заднего и переднего ряда в одном и том же корне отдельных тюркских языков*, в кн. «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. 1, М., 1955; A. v. Gabain, *Altürkische Grammatik*, Leipzig, 1950, стр. 44—46, 49 и сл.

параллелизмы<sup>2</sup>. При выборе терминов имелся в виду не столько тот факт, что различия огласовки основ отчасти напоминают сингармонические различия между вариантами аффиксов<sup>3</sup>, сколько то обстоятельство, что происхождение интересующих нас различий, по-видимому, действительно связано с явлением сингармонизма (см. ниже).

Сингармоническими вариантами мы называем основы, различия в огласовке которых безразличны для смысла. В одних случаях такие варианты относятся к одному и тому же языку или диалекту и употребляются в нем более или менее факультативно<sup>4</sup>, например: др.-тюрк. *qovv* ~ *quvv* «счастье (его?)»<sup>5</sup>, др.-уйг. *alp* ~ *ǎlp* «герой»<sup>6</sup>, каракалп. *тырна* ~ *турна* «журавль»<sup>7</sup>, кирг. *чомул* ~ *чөмүл* «нырять, погружаться»<sup>8</sup>, турецк. *tara* ~ *tırа* «пробка» и т. д. В других случаях варианты одной и той же основы относятся к разным языкам или диалектам, например: казах. *мәңгi* ~ тув. *мөңгe* «вечный», казах. *жібек* ~ туркм. *йўпек* «шелк», казах. *жұмыртқа* ~ хакас. *нымырха* «яйцо», казах. *жүміс* ~ якут. *көмүс* «серебро», казах. *тырна* ~ турецк. *turna* «журавль», казах. *шом* ~ тув. *шым* ~ уйг. *чөм* «нырять» и т. п. В соответствии с этим мы разграничиваем внутриязыковые (внутридиалектные) и межъязыковые (междиалектные) сингармонические варианты.

Под сингармоническими параллелизмами мы подразумеваем основы, различия в огласовке которых связаны с их смысловой дифференциацией. (В ряде случаев указанная смысловая дифференциация может подкрепляться также и соответствующей аффиксацией каждой из основ.) Так же, как и сингармонические варианты, сингармонические параллелизмы могут быть либо внутриязыковыми (внутридиалектными), либо межъязыковыми (междиалектными). Примеры внутриязыковых (внутридиалектных) сингармонических параллелизмов: казах. *еңре* «рыдать, плакать навзрыд» // *ыңыра* «тихо и протяжно стонать», кирг. *акыр* «кричать (бранить кого-либо)» // *өкур* «кричать (издавать крик)»<sup>9</sup>. татар. *ачы* «горький» // *эче* «кислый», башк. *җайны* «свекор, тесть» // *кәйнә* «теща»<sup>10</sup>, тув. *арын* «лицо» // *эрин* «губа», турецк. *bağır* «реветь» // *böğür* «мычать». Межъязыковые (междиалектные) сингармонические параллелизмы: казах. *кййік* (орф. *кййік*) «дикая коза, серна» // др.-уйг. *käjik* (~ *kijik*) «хищное животное, зверь»<sup>11</sup>; казах. *жіп* «нитка, шпагат, шнур» // туркм. *йўп* «веревка, канат, аркан» // чуваш. *чеп* «веревка из волоса»; казах. *сұлу* «красивый, изящный» (ср. др.-огуз. *silik* в том же значении<sup>12</sup>) // кирг. *сылык* «гладкий, жеманный, деликатный, вежливый». Надо сказать, что выявление межъязыковых (междиалектных) сингармонических параллелизмов сопряжено с определенными трудностями. Иногда вся совокупность значений двух или нескольких сопоставляемых основ может входить в систему полисемии каждой из них с той только раз-

<sup>2</sup> Последний термин заимствован у Й. Балашша (см. Й. Балашша, Венгерский язык, М., 1951, стр. 52), но употребляется нами в более специальном значении.

<sup>3</sup> См. об этом: Д. Г. Киребаев, Вариантные слова, или сингармонические параллелизмы, в башкирском языке, «Уч. зап. [Башк. гос. пед. ин-та им. К. А. Тимирязева], вып. V. Серия филологич., № 1, 1955, стр. 143.

<sup>4</sup> На данном этапе нам важно отметить лишь само явление смены гласных начального слога, связанной или, напротив, не связанной с семантической дифференциацией основ (вне зависимости от возможных трактовок генезиса того или иного отдельного факта), чем и определяется некоторая произвольность выбора и расположения приводимых здесь примеров.

<sup>5</sup> С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, М.—Л., 1951, стр. 414, 417.

<sup>6</sup> Там же, стр. 357, 364.

<sup>7</sup> Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык, т. II, М., 1952, стр. 41.

<sup>8</sup> К. К. Юдахин, Киргизско-русский словарь, М., 1940, стр. 132, 134.

<sup>9</sup> Русско-киргизский словарь, под ред. К. К. Юдахина, М., 1957, стр. 310.

<sup>10</sup> Д. Г. Киребаев, указ. соч., стр. 145.

<sup>11</sup> С. Е. Малов, указ. соч., стр. 392, 394.

<sup>12</sup> Там же, стр. 421.

ницей, что для одной основы данное значение является ведущим, а для другой — периферийным. Подобные случаи бывает трудно отграничить от межъязыковых (междialeктных) сингармонических вариантов (ср., например, казах. *сұлу* и кирг. *сылык*).

Более или менее тесные смысловые связи, существующие между сингармоническими параллелизмами, позволяют предположить общность их происхождения, хотя здесь приходится учитывать элемент субъективности, неизбежный при семантических сопоставлениях. Мы в полной мере сознаем, что относительно гомогенности некоторых основ, приводимых в качестве примеров, могут возникнуть сомнения, и тем не менее используем их, поскольку в каждом конкретном случае для этого имеются фонетические и семантические основания и в то же время нет убедительных данных о гетерогенности сопоставляемых основ.

В каждом отдельно взятом тюркском языке, а также в тюркской языковой семье в целом сингармонические варианты и параллелизмы, восходящие к одной и той же основе, как правило, тесно переплетаются и образуют своеобразные общности, которые нам представляется удобным называть лексико-сингармоническими гнездами.

\*

Мы начнем свое рассмотрение с вопроса о том, возможно ли объяснить генезис лексико-сингармонических гнезд, исходя из современного фонетико-морфологического строя тюркских языков, так как если такая возможность будет доказана, то сам собою отпадет вопрос об отношении этого явления к эволюции морфологического строя. С самого начала оговорим, что под современным строем тюркских языков мы понимаем типологию, характеризующуюся двумя основными признаками: агглютинацией суффиксального типа и гармонией гласных. При таком понимании строй тюркских языков является «современным» на всем протяжении своей письменно засвидетельствованной истории, т. е. по крайней мере с V в. н. э. Чтобы ответить на поставленный вопрос, мы проанализируем некоторые черты фонетической и морфо-фонологической сторон лексико-сингармонических гнезд и попытаемся выяснить, выводимы ли эти особенности из условий современного строя тюркских языков.

Прежде всего обратимся к фонетической стороне явления. В некоторых работах возникновение интересующих нас фактов связывается с комбинаторными изменениями гласных. Однако при этом обращает на себя внимание одно весьма примечательное обстоятельство: по свидетельству самих же авторов этих работ, воздействие предполагаемых комбинаторных факторов на вокализм начального слога оказывается чрезвычайно нерегулярным, спорадическим<sup>13</sup>. Более того, как правило, не удается определить даже направления таких звуковых изменений, ибо имеющийся материал не дает оснований для установления относительной хронологии вариантов огласовки начального слога<sup>14</sup>. В специальной литературе получила некоторое распространение гипотеза, согласно которой лексико-сингармонические гнезда обязаны своим происхождением изменению гласного звука основы под влиянием аффиксального гласного *и*, т. е. своеобразному «умлауту»<sup>15</sup>. Однако и эта концепция вызывает ряд возражений.

Прежде всего, по логике рассуждений ее сторонников, в частности Д. Г. Киекбаева, следует, что первоначально узкие гласные непервых

<sup>13</sup> См., например: М. Ряснян, Материалы по исторической фонетике тюркских языков, М., 1955, стр. 72 и сл.

<sup>14</sup> См. там же, стр. 53; В. Г. Егоров, Современный чувашский литературный язык в сравнительно-историческом освещении, ч. I, Чебоксары, 1954, стр. 184 и сл.

<sup>15</sup> Вслед за В. В. Радловым (W. Radloff, *Phonetik der nördlichen Türk-sprachen*, Leipzig, 1882, стр. 64) этого мнения придерживается Д. Г. К и е к б а е в (указ. соч.); см. также А. М. Щ е р б а к, Способы выражения грамматических значений в тюркских языках, ВЯ, 1957, № 1, стр. 25—26.

словов могли относиться только к переднему ряду (например, \**ачиг* «горький», \**акирин* «тихо», \**йабшитир*-«клеить» и т. п.). Иначе говоря, предполагается, что в тюркских языках палатальная гармония гласных — явление относительно позднее. В то же время «умлаут» якобы господствовал изначально, предшествуя, таким образом, установлению прогрессивной гармонии гласных. Однако в пользу такого весьма спорного взгляда не приводится ни одного довода. Между тем, если последовательная гармония гласных засвидетельствована уже в древнейших письменных памятниках тюркских языков, а также известна всем другим алтайским языкам, то «умлаут» систематически проявляется только в новобуйгурском языке и в некоторых диалектах узбекского, т. е. как раз в тех языках, которые значительно отошли от общетюркского фонетического типа.

Далее, упомянутая гипотеза не объясняет, почему предполагаемый «умлаут» произошел не во всех словах, в которых имелись для этого достаточные условия, и даже не всегда в одном и том же слове (в результате чего, согласно этой гипотезе, и возникли «вариантные слова»). Ведь и в германских языках, которые привлекаются Киекбаевым для сопоставления, и в новобуйгурском это явление осуществляется весьма последовательно.

Наконец, остается непонятным, каким образом изменение гласного звука основы распространилось со словоформ, имеющих аффикс с гласным *и*, на словоформы без такого аффикса. Иначе говоря, не ясно, почему наряду с такими формами, как башк. *сүжеш* «молот», *кәңәше* «его совет» (по Д. Г. Киекбаеву, из \**сок-иш*, \**каңаш-и*), возникли формы *сүк* «гуй», *кәңәштән* «от совета» и т. п. Ни в новобуйгурском, ни в германских ничего подобного, как известно, не наблюдается; ср. уйг. *emüm* «моя лошадь» (<\**am-ым*<sup>16</sup>), но *am* «лошадь»; нем. *die Gäste* (<\**gast-i*), но *der Gast*; именно благодаря этому германский умлаут и смог стать одним из смысловозначительных средств. Разумеется, нельзя вообще отрицать в тюркских языках наличия комбинаторных изменений гласных начальных слогов. Таковым, несомненно, является, например, упомянутый выше новобуйгурский *и*-умлаут; ср. соответствия: уйг. *елиш* — казах. *алыс* «взятие», уйг. *белик* — казах. *балык* «рыба» и т. п. Однако именно в силу своей регулярности и живой фонетической обусловленности подобные случаи не имеют отношения к лексико-сингармоническим гнездам.

Поскольку непосредственной фонетической обусловленности возникновения лексико-сингармонических гнезд в тюркских языках обнаружить не удается, некоторые исследователи пытаются объяснить генезис этого явления всевозможными «спонтанными» звуковыми изменениями: самопроизвольными «переходами» одного гласного в другой<sup>17</sup>, процессами лабиализации<sup>18</sup>, делабиализации<sup>19</sup>, опереднения<sup>20</sup> и т. п.

Однако, если в данном языке имеется тенденция к перестройке фонетической системы в целом или в какой-то ее части, то эта тенденция, как известно, проявляется т о т а л ь н о, т. е. во всех без исключения словах, в которых налицо одна и та же фонетико-морфологическая ситуация. Между тем в случаях сингармонических вариантов и параллелизмов мы наблюдаем совершенно иную картину: различия в огласовке основ, составляющих лексико-сингармонические гнезда, лишены какой бы то ни было регулярности. В сказанном особенно легко убедиться на многочисленных фактах межъязыковых (междиалектных) сингармонических вариантов. Например, тувинскому *ы* начального слога в отдельных основах любого другого тюркского языка могут спорадически соответствовать самые

<sup>16</sup> В новобуйгурском языке первоначально различавшиеся гласные *и* (переднего ряда) и *ы* (заднего ряда) закономерно совпали в звуке *и*, нейтральном в отношении сингармонизма.

<sup>17</sup> В. Г. Егоров, указ. соч., стр. 160—165.

<sup>18</sup> Там же, стр. 185—186.

<sup>19</sup> Там же, стр. 184—185; Н. А. Баскаков, указ. соч., стр. 41.

<sup>20</sup> Л. И. Яфаров, Некоторые закономерные тенденции в фонетике татарского языка. Автореф. канд. диссерт., Казань, 1955, стр. 8—12.

разнообразные звуки: *ы, и, у, ʏ, а, о*,—т. е. почти все гласные (шесть из восьми), возможные в начальном слоге основы большинства тюркских языков<sup>21</sup>. При этом нет никаких оснований полагать, что в тувинском языке весь общетюркский вокализм закономерно совпал в гласном *ы*, ибо, например, казахскому *ы* в тувинском может соответствовать, кроме *ы*, также гласный *и*: казах. *ым*—тув. *им* «жест, знак» и т. д. Не удастся найти и комбинаторное обоснование приведенных выше соотношений.

Еще более показательны с этой точки зрения соотношения, существующие между гласными начальных слогов в словах чувашского языка, с одной стороны, и остальных тюркских языков — с другой. При сопоставлении фактов создается впечатление, что почти каждому из чувашских гласных в любом тюркском языке может соответствовать большинство присутствующих ему гласных звуков. Попытки выявить какую-либо последовательность таких соотношений постоянно сопровождаются столь многочисленными оговорками, что они сводят на нет самые «закономерности»<sup>22</sup>.

Подобное же отсутствие регулярности наблюдается и в соотношениях огласовки многих основ в других тюркских языках. Например, в одних словах казахский имеет гласный заднего ряда, а татарский — переднего (ср. казах. *жайылы*—татар. *жәел*—«разливаться»), в других же словах соотношение обратное (казах. *тәтті*—татар. *татлы* «сладкий»). Казахскому *а* начального слога в одних словах башкирского языка соответствует тот же гласный, в других же словах — звук *э*; ср. казах., башк. *айран* «молочный напиток», но казах. *айт*—башк. *эйт*—«сказать» и т. д.

Разумеется, все сказанное отнюдь не означает, что между тюркскими языками вообще отсутствуют регулярные соответствия гласных начальных слогов. Достаточно напомнить хотя бы о том факте, что гласным *ä(e), o, ö* других тюркских языков в татарском и башкирском р е г у л я р н о соответствуют звуки *и, у, ʏ*; ср. казах. *кел*— татар., башк. *жил*—«приходить»; казах. *ол* — татар., башк. *ул* «он»; казах. *көл* — татар., башк. *күл* «озеро» и т. д. Однако подобные случаи не имеют отношения к лексико-сингармоническим гнездам. Своим возникновением они обязаны действительному сдвигу в фонетической системе татарского и башкирского, происшедшему, как можно предполагать, под влиянием причин субстратного порядка.

Отмеченная выше нерегулярность различий огласовки основ, составляющих лексико-сингармонические гнезда, не позволяет согласиться и с теми исследователями, которые во внутриязыковых сингармонических вариантах усматривают результат смешения разных диалектных напластований<sup>23</sup>.

В самом деле, даже в заведомо скрещенных языках или диалектах (за редчайшими и почти всегда убедительно объяснимыми исключениями) невозможно такое положение, при котором одно слово обладает фонетическими особенностями одного из скрестившихся диалектов, а другое — другого. Во всяком случае подобный говор находился бы в состоянии весьма неустойчивого равновесия, и в течение достаточно короткого времени в каждой части его системы абсолютно возобладали бы либо одни, либо другие диалектные черты. Кроме того, следует учесть, что в разных языках тюркской семьи явление сингармонических вариантов представляет весьма сходную картину. Поэтому принятие указанной гипотезы заставило бы допустить, что в образовании большинства или даже всех тюркских языков принимали участие одни и те же диалектные элементы, причем в одинаковых соотношениях. Это, конечно, маловероятно.

<sup>21</sup> На это в свое время обратил внимание Н. Ф. Катанов (см. его «Опыт исследования урянхайского языка», «Уч. зап. Имп. Казанск. ун-та», кн. 11, 1899, стр. 40—44).

<sup>22</sup> См., например: В. Г. Егоров, указ. соч., стр. 159—185.

<sup>23</sup> См., например: Н. А. Баскаков, указ. соч., стр. 46—47; его же, Уйгурский вокализм, в кн. «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. I, стр. 118; Э. В. Севортян, Фонетика турецкого литературного языка, М., 1955, стр. 126; А. М. Щербак, указ. соч., стр. 26.

Итак, с точки зрения своих фонетических особенностей, лексико-сингармонические гнезда из условий современного строя тюркских языков не выводимы. Их возникновение не удастся объяснить ни изменениями гласных под влиянием комбинаторных или позиционных причин, ни спонтанными звуковыми процессами, ни разными диалектными напластованиями.

Остановимся теперь на некоторых моментах морфо-фонологической стороны интересующих нас явлений. Кроме тюркских языков, сингармонические варианты и параллелизмы известны и в других алтайских языках<sup>24</sup>, а также в языках финно-угорской семьи<sup>25</sup>. Иначе говоря, эти явления более или менее постоянно сопутствуют такой типологии, которую удобно, как нам кажется, назвать агглютинацией урало-алтайского типа<sup>26</sup>. Тем не менее приходится признать, что именно с таким строем существование сингармонических вариантов и параллелизмов находится в явном несоответствии, так как оно противоречит важнейшим чертам морфологической и фонологической природы слова.

В области морфологии указанное противоречие состоит в следующем. Как известно, господствующим способом словообразования и словоизменения в алтайских языках служит аффиксация. В случаях же сингармонических параллелизмов семантическая дифференциация осуществляется путем изменений звукового состава основы. Ср., с одной стороны, аффиксальное словообразование: казах. *қыс* — «сжимать» — *қысқаш* «щипцы», *күре* — «сгребать» — *күрек* «лопата», а с другой — сингармонические параллелизмы с примерно такими же семантическими соотношениями: казах. *тарт* — «тянуть» // *терте* «оглобляя»; *қыл* — «делать» // *қол срука* // *құл* «раб»<sup>27</sup>.

Одна из наиболее характерных особенностей фонетики алтайских языков состоит в том, что вокализм начальных слогов обладает высокой степенью фонематической расчлененности, причем признаки ряда, подъема и огубленности или ее отсутствия являются здесь дифференциальными. В случае же сингармонических вариантов различия огласовки основ по одному или нескольким из названных выше признаков безразличны для смысла, и, следовательно, фонематические противопоставления гласных начального слога нейтрализованы. Если, например, в казах. *істі* «опухал» и *есті* «греб» гласные *і* и *е* суть отдельные фонемы, различающие звуковые оболочки слов и противопоставленные друг другу по признаку подъема, то в сингармонических вариантах казах. *ізгі* — *езгі* «священный, заветный» фонематическое противопоставление между теми же гласными, находящимися в аналогичных фонетических условиях, отсутствует, и, следовательно, признак подъема не является дифференциальным.

Как видим, и морфо-фонологическая природа тюркских языков в ее современном состоянии также не могла представить почвы для возникновения лексико-сингармонических гнезд.

Итак, рассмотрение фонетической и морфо-фонологической сторон лексико-сингармонических гнезд приводит к выводу о том, что, несмотря на

<sup>24</sup> См.: Б. Я. Владимиров, Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия, Л., 1929, стр. 126—134; Т. А. Бертагаев, Флексия основ в агглютинативных языках, «Сборник трудов по филологии [Бурят-Монгольск. гос. НИИКЭ]», вып. 1, Улан-Удэ, 1948, стр. 98—118; Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монгольских языков, т. I, М., 1953, стр. 114—119; И. Захаров, Грамматика маньчжурского языка, СПб., 1879, стр. 65, 118; В. И. Цинциус, Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков, Л., 1949, стр. 44 и др.

<sup>25</sup> См. об этом, например: И. Балашиха, указ. соч., стр. 52—53.

<sup>26</sup> Мы здесь совершенно не касаемся спорного вопроса об урало-алтайских генетических связях. Речь идет исключительно о типологической близости этих языков — факте общепризнанном.

<sup>27</sup> Ср. соотношение *құл* — *қил* в статье: А. Г. Гулямов, Словообразование путем внутренних изменений слова в узбекском языке, [сб.] «Научная сессия Академии наук УзССР 9—14 июня 1947 г.», Ташкент, 1947, стр. 382.

свою относительно широкую распространенность, эти гнезда занимают в современном строе тюркских языков изолированное положение, так как не соответствуют ему ни в одном из указанных аспектов. Поэтому удовлетворительно объяснить возникновение лексико-сингармонических гнезд, исходя из условий такого строя, невозможно.

\*

На основании всего сказанного выше, нам кажется более закономерным мнение тех языковедов, которые видят в интересующих нас фактах наследие каких-то уже пройденных этапов развития строя алтайских языков. Однако вопрос о типологической природе того состояния алтайских языков, к которому могут восходить лексико-сингармонические гнезда, представляется весьма сложным.

Согласно одной из гипотез, это явление представляет собой следы «внутренней флексии», которая якобы господствовала в алтайских языках в доагглютинативную эпоху<sup>28</sup>. Для доказательства упомянутой гипотезы обычно ссылаются на то, что иногда в сингармонических параллелизмах заднерядная огласовка ассоциируется с представлением о «мужском, большом, сильном, грубом», а переднерядная — с представлением о «женском, малом, слабом, нежном». Например: монг.-письм. *abai* «отец, батюшка» // *ebei* «матушка, маньжк. *хаха* «мужчина» // *хехе* «женщина» и т. п.<sup>29</sup>. На основании таких фактов делается вывод, что в «протоалтайском» значении грамматического рода или по крайней мере биологического пола выражалось посредством чередования гласных основы. А это в свою очередь было лишь частью целой «системы внутренней флексии», действовавшей в ту эпоху и впоследствии сменившейся агглютинацией<sup>30</sup>. Однако эта гипотеза вызывает серьезные возражения.

Во-первых, проявление отмеченной выше закономерности ограничено кругом слов, обладающих специфической семантикой (отдельные названия живых существ, связанные со значениями пола, возраста и отношений родства, а также некоторые звукоподражательные и образные слова) и составляющих лишь небольшую часть всех имеющихся сингармонических параллелизмов<sup>31</sup>. Содержание же семантического момента, лежащего в основе смысловой дифференциации остальных сингармонических параллелизмов, чрезвычайно многообразно и потому расплывчато. В отдельных случаях мы находим противопоставления: действия — орудию (казах. *тарт-«тянуть»* // *терте* «оглобля»); действия — результату (башк. *тараш* «чесание» // *тәрәш* «чесаный лен или конопля»); противопоставления антонимов (казах. *аст* «низ» // *уст* «верх»), а также понятий, связанных по смежности (башк. *бауыр* «печень» // *бәгер* «сердце, душа») или функционально (казах. *тійін* «белка» // *тійын* «копейка»; ср. татар. *тиен*, выражающее оба указанных значения; напомним также, что др.-русск. *куна* обозначало пушного зверя и денежную единицу), и т. п. При этом установить более или менее регулярную соотнесенность между качеством огласовки основ и какими-либо категориями значений не представляется возможным<sup>32</sup>. Достаточно сопоставить хотя бы следующие пары слов: казах. *піш-* «кроить» // *пішақ* «нож»; тув. *быж-* «кроить» // *бижсет* «нож»; якут. *быч-* «резать» // *бычак* «нож». В казахском языке слово со значением дейст-

<sup>28</sup> См.: Б. Я. Владимирцов, указ. соч., стр. 133; Т. А. Бертагаев, указ. соч., стр. 98 и сл.; Г. Д. Санжеев, указ. соч., стр. 116—117; Э. В. Севортян, указ. соч., стр. 9.

<sup>29</sup> См. Б. Я. Владимирцов, указ. соч., стр. 130—134.

<sup>30</sup> См. Г. Д. Санжеев, указ. соч., стр. 117.

<sup>31</sup> Впрочем в эвенкийском языке и в указанном круге слов (а именно, в названиях некровных родственников мужского и женского пола) мы находим совершенно обратное соотношение огласовки основ, чем то, на которое ссылался Б. Я. Владимирцов (см. об этом: В. А. Горцевская, О флексии и словосложении в эвенкийском языке, «Докл. и сообщ. [Ин-та языкознания АН СССР]», XI, 1958, стр. 23).

<sup>32</sup> См. об этом: Т. А. Бертагаев, указ. соч., стр. 118.

вия имеет в данном случае гласный переднего ряда, а слово со значением орудия — гласный заднего ряда; в тувинском — соотношение обратное; в якутском же огласовка обоих слов одинакова. Как видим, ничего похожего на индоевропейский аблаут с его соответствием ступеней чередования гласных определенным грамматическим категориям в случаях сингармонических параллелизмов не наблюдается.

Во-вторых, и это, пожалуй, самое важное, гипотезе о том, что лексико-сингармонические гнезда представляют собой остатки системы «внутренней флексии», противоречит тот факт, что наряду с сингармоническими параллелизмами в алтайских языках имеется большое количество сингармонических вариантов, т. е. таких основ, у которых различия огласовки вообще не связаны с семантической дифференциацией. Из рассматриваемой гипотезы логически вытекает, что сингармонические варианты возникли путем десемантизации чередований гласных в сингармонических параллелизмах. Однако, если в истории разных языков известны многочисленные случаи, когда первоначально незначимые чередования становились значимыми, то возможность обратного процесса фактами не подтверждается.

Нам кажется, что при решении вопроса о типологических условиях генезиса лексико-сингармонических гнезд было бы полезно учесть следующие общие соображения. Поскольку незначимые чередования звуков всегда предшествуют значимым, а не наоборот, то и в процессе образования лексико-сингармонических гнезд сингармонические варианты должны были предшествовать сингармоническим параллелизмам. Различия же в огласовке сингармонических вариантов должны были в момент своего образования иметь определенную фонетическую обусловленность, ибо невозможно предположить, чтобы в речи одного и того же коллектива значительная группа слов без всяких на то причин расщепилась на безразличные для смысла фонетические варианты, образован тем самым ряды ничем не оправданных абсолютных синонимов.

Указанная фонетическая обусловленность варьирования гласных основы могла лежать только вне данной морфемы, так как внутри нее нет никаких самостоятельно изменяющихся звуковых элементов, способных воздействовать на качество огласовки (палатализация и лабиализация согласных сами являются производными, будучи неразрывно связаны с изменением гласного).

Из предыдущего тезиса следует, что в отличие от современных алтайских языков в эпоху образования сингармонических вариантов вокализм основ должен был быть слабо дифференцирован фонематически и подвержен комбинаторным чередованиям типа гармонии гласных. Последнее же осуществимо лишь при условии, что каждая данная основа могла попадать в фонетическую (resp. морфологическую) зависимость от другой основы. Это в свою очередь возможно только тогда, когда по крайней мере две основы входят в состав одного фонетико-морфологического целого.

В свете сказанного несомненный интерес представляет догадка Е. А. Крейновича о том, что «парные слова современных алтайских языков (т. е., по нашей терминологии, сингармонические варианты и параллелизмы. — М. Ч.) могли остаться в них от того состояния, когда в этих языках или в языках, предшествовавших им, синтетические элементы господствовали над элементами агглютинатива»<sup>33</sup> (разрядка моя. — М. Ч.). Такое предположение кажется нам тем более вероятным, что, по свидетельству того же автора, в некоторых современных инкорпорирующих языках (например, в чукотском) наблюдаются факты, не только вполне сопоставимые с сингармоническими вариантами и параллелизмами, но и иллюстрирующие возможные

<sup>33</sup> Е. А. Крейнович, Фонетика нивхского (гиляцкого) языка, М.—Л., 1937, стр. 102.

пути возникновения как тех, так и других<sup>34</sup>. Не исключено, что здесь мы находим *in statu nascendi* то, что в алтайских языках представлено в виде уже сложившейся, а возможно, и пережиточной системы.

Если в принципе принять указанную гипотезу, то картину возникновения и первоначального развития лексико-сингармонических гнезд можно представить в следующем виде. В отличие от современных тюркских языков в «протоалтайском» наряду с палатально-лабиальной гармонией действовала, по-видимому, также и гармония по подъему. О том, что этот признак во всяком случае не был фонематическим, свидетельствуют такие факты, как, например, др.-уйг. *kāmi~kimi* «лодка»<sup>35</sup>, казах. *таб~тув. тыв-* «находить», азерб. *тәкәр~туркм. тигир* «колесо» и т. п.<sup>36</sup>. К сказанному можно добавить еще и то, что в маньчжуро-тунгусских языках, в частности в нанайском, гармония гласных строится именно на признаке подъема<sup>37</sup>. При таких условиях огласовка основ, входивших в предпологаемый полисинтетический комплекс, могла варьироваться по всем трем признакам (ряд, подъем, огубленность) и их комбинациям.

При выделении основ из комплекса судьбы этих разновидностей, а также отношения между ними могли складываться двояким образом. В первом случае все или хотя бы некоторые разновидности одной и той же основы продолжали сосуществовать в данном языке или диалекте, сохраняя свое семантическое тождество, т. е. образуя внутриязыковые (внутридиалектные) сингармонические варианты. Некоторые из них могли в эмоциональной речи объединиться и образовать широко известные в алтайских языках парные слова типа казах. *шақыр-шұқыр* «хруст, треск», уйг. *диг-дуг* «суматоха, неразбериха», татар. *тимер-томыр* «всякое железо» и т. п. Однако чаще всего огласовка каждой основы в дальнейшем, по-видимому, унифицировалась по одному из своих вариантов, причем в разных языках или диалектах унификация одной и той же основы могла происходить по разным ее вариантам. Возможно, что именно таким путем возникли межъязыковые (междиалектные) сингармонические варианты.

Во втором случае образовавшиеся варианты основы были использованы для дифференциации значений. Если при этом они продолжали сосуществовать в пределах одного и того же языка или диалекта, то представляли собой внутриязыковые (внутридиалектные) сингармонические параллелизмы. Естественно, что в дальнейшем каждый из них мог самостоятельно осложниться словообразовательной аффиксацией. Например: казах. *қара-«смотреть»//кәр «видеть»//қор «охранять»//қырағы «бдительный»* (к этой же группе относятся *көз «глаз»//күзет «охранять»*). Если же из образовавшихся описанным выше путем сингармонических параллелизмов в данном языке или диалекте сохранился лишь один, в другом — другой и т. д., то мы имеем дело с межъязыковыми (междиалектными) сингармоническими параллелизмами (если только это не позднейшее переосмысление межъязыковых сингармонических вариантов — см. стр. 54).

<sup>34</sup> Подробнее см. там же, стр. 87—102.

<sup>35</sup> См. С. Е. Малов, указ. соч., стр. 393, 394.

<sup>36</sup> Аналогичные примеры приводит также Н. А. Баскаков (см. его «Каракалпакский язык», II, стр. 45—46).

<sup>37</sup> См. В. А. Аврутин, Сингармонизм гласных в нанайском языке, «Докл. и сообщ. [Ин-та языкознания АН СССР]», XI, 1958, стр. 140—150.

Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ

## О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ ВОПРОСАХ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОНЕТИКИ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

В тюркологии и монголистике в последнее время широкое распространение и безоговорочное признание получил ряд формул фонетических законов. Цель настоящей статьи — рассмотреть некоторые из этих считающихся общепризнанными фонетических законов и показать, в какой степени они обоснованы.

## 1

Рассмотрим прежде всего известное соответствие: чувашскому *r* соответствует *z* других тюркских языков. Естественно, при этом возникает вопрос, в каком направлении шло в данном случае изменение звуков: шло ли оно в направлении от более древнего *z* к более позднему *r* или, наоборот, от более древнего *r* к более позднему *z*.

Некоторые исследователи, например Э. Гомбоц, а также Ю. Немет и И. Бенцинг, считали первичным *z*, который в дальнейшем в преобладающем большинстве тюркских языков сохранился, в чувашском же превратился в *r*<sup>1</sup>.

Г. Рамстедт, наоборот, предполагает, что более древний алтайский *r'* в монгольском, тунгусском и корейском языках сохранился как *r*, утратив палатализацию, а в тюркских языках превратился в *z*, за исключением чувашского, где он сохранился в виде *r*<sup>2</sup>. Почти все наши монголисты и тюркологи безоговорочно приняли гипотезу Рамстедта, не подвергая анализу вопрос о том, каким путем была установлена в данном случае направленность изменения звука (*r'* > *z*).

Как известно, для установления направленности изменения звуков существует четыре основных приема: 1) направленность изменения звука устанавливается на основании показаний письменных памятников. При этом желательно, чтобы изучаемый язык был историческим продолжением языка древних письменных памятников; 2) для установления направленности изменения звуков могут быть привлечены наблюдения над изменением подобных звуков в других языках. Эти наблюдения позволяют определить пути потенциально возможного изменения звуков и вместе с тем направленность их изменения; 3) при отсутствии этих возможностей для установления направленности изменения звуков можно использовать результаты изучения фонетического облика иноязычных слов, заимствованных и фонетически адаптированных данным языком; 4) направленность изменения звуков может быть определена, если данное изменение окажется одним из звеньев целой цепи определенным образом направленных изменений, подчиненной общей тенденции изменения звуков. Любой вывод о направленности исторического изменения звуков, не основанный на

<sup>1</sup> См.: Z. G o m b o c z, Zur Lautgeschichte der altaischen Sprachen, «Keleti szemle», t. XIII, Budapest, 1912—1913; J. N e m e t h, Türkische Grammatik, Berlin—Leipzig, 1916, стр. 8; J. B e n z i n g, Tschuwassische Forschungen (II), «Zeitschr. der Deutschen morgenländischen Gesellschaft», Bd. 94 (Neue Folge — Bd. 19), Hf. 3, 1940.

<sup>2</sup> G. J. R a m s t e d t, Einführung in die altaische Sprachwissenschaft, Helsinki, 1957, стр. 103.

применении этих четырех основных приемов, не может считаться имеющим под собой достаточных оснований.

Возникает вопрос, какой из перечисленных выше приемов использовал Г. Рамстедт, чтобы установить направленность изменения общеалтайского  $r'$  в тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских и чувашском языках. Совершенно ясно, что Рамстедт не мог использовать первый прием, так как никаких памятников, написанных на общеалтайском праязыке, как известно, не существует.

Рамстедт попытался использовать второй прием. Подтверждением того, что дело обстояло именно так, может служить следующее замечание ученого: «Переход  $r$  в  $z$  можно обнаружить как закономерное явление в польском и чешском языках... В романских диалектах имеются свидетельства перехода  $r$  в  $z$  ( $-r > -z$ ), например, лат. *cathedra* > франц. *chaire*, но диал. *chaise*. Причиной такого перехода всюду является палатализация, вызываемая гласными переднего ряда, особенно влиянием  $-i-$ »<sup>3</sup>.

Это замечание, однако, вызывает ряд недоумений. Прежде всего необходимо заметить, что ни в польском, ни в чешском никогда не наблюдалось перехода  $r$  в  $z$ . «Во всех славянских языках, — замечает А. М. Селищев, — с доисторического времени был гласный мягкий  $r'$ , получившийся некогда в результате ассимиляции  $r$  с  $j$ :  $rj \rightarrow r'$ : *mor'e*, *mor'a*, *bur'a*. Мягкий  $r'$  имел разную судьбу в чехо-моравской и словацкой группах. У чехо-моравян при образовании  $r'$  спинка языка стала высоко приподниматься к твердому нёбу; бока языка стали плотно примыкать к верхним зубам и деснам; для вибрации осталась узенькая каемка переднего кончика языка. Выдыхаемая струя воздуха, проходя через узкое отверстие между нёбом и языком, стала производить трение о стенки этой теснины и разбиваться о края зубов. Таким образом, при вибрациях кончика языка получился мягкий фрикативный шипящий элемент. Этот согласный передается в чешском правописании посредством  $\check{r}$ ... В том же направлении происходило изменение  $r'$  в языке поляков. Но в их речи произошла затем утрата вибраций и отвердение:  $r' \rightarrow \check{r} > \check{z}$  или  $\check{s}$ »<sup>4</sup>.

Если бы в тюркских языках древнейшей поры действительно имел место  $r'$ , то он мог бы дать нечто вроде чешского  $\check{r}$  или польского  $\check{z}$  ( $zs$ )<sup>5</sup>, но никак не чистый  $r$  или  $z$ . Подобный процесс, по всей вероятности, происходил также в удмуртском языке (ср. удм. *džuk* «каша», коми-зырян. *rok*, фин. *rokka*; удм. *džoktini* «разгружать», коми-зырян. *rektiini*) с тем лишь различием, что вместо  $\check{z}$  получилась аффиката  $dž$ .

Что же касается соответствий *chaire* ~ *chaise*, то переход  $r$  в  $z$  в данном случае не отражает никакого фонетического закона. Известный исследователь истории французского языка М. Регула, касаясь соотношения вариантов *chaire* ~ *chaise*, указывает: «В XVI в., а также в начале XVII в. парижанки произносили  $r$  как  $z$ . Маро осмеивает это жеманное произношение в „Epistre du biau fys de Pazy“. Остатки этого модного сигматизма сохраняются еще в словах *besicles*, *chaise*, *nasiller*, *Ozoir*, кроме того, бытуют еще также в Шампани, в Блэз и Берри, в районе Кю и на Джерсее»<sup>6</sup>. Таким образом, привлечение этого примера для установления направленности изменения указанных звуков можно считать равносильным тому, как если бы по прочтении следующих строк из поэмы А. С. Пушкина «Евгений Онегин»:

Корсет носила очень узкий  
И русский Н как N французский  
Произносить умела в нос,

<sup>3</sup> G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 105.

<sup>4</sup> А. М. Селищев, Славянское языкознание, т. I — Западославянские языки, М., 1941, стр. 106.

<sup>5</sup> Укажем, однако, что  $\check{z}$  в абсолютном исходе слова для тюркских языков совершенно не типичен.

<sup>6</sup> M. Regula, Historische Grammatik des Französischen, Bd. I — Lautlehre, Heidelberg, 1955, стр. 117.

кто-либо стал бы утверждать, что такое произношение является отражением фонетического закона. Следовательно, аналогия, приводимая Рамстедтом, при ближайшем ее рассмотрении не может быть признана удачной.

В то же время данные других языков свидетельствуют о том, что *z* в интервокальном положении или в конце закрытого слога может превращаться в *r*; ср. лат. *uro* «жгу» < *uso* (поскольку суфин этого глагола имеет форму *us-tum*), где *s* через промежуточную ступень *z* (*uzo*) превратился в *r*, откуда *uro*. Ср. также др.-исл. *dagr* «день» < *dagaz* (гот. *dags*).

Предположение о первичности *r* в чувашском построено без учета также основных тенденций развития чувашского консонантизма. Одна из наиболее характерных особенностей развития чувашского консонантизма состоит в стремлении к ослаблению смычки, в соответствии с чем, например, древний задненёбный *q* в чувашском языке превратился в *χ* (ср. чуваш. *χura* «черный», татар. *qara*; чуваш. *χupla-* «покрывать», татар. *qapla-*; чуваш. *χurǎχ* «вор», татар. *qaraq*); в интервокальной позиции древний *q* также превращался в *χ* с последующей соноризацией (ср. чуваш. *suχal* «борода», татар. *saqal*). Древний *č* в чувашском языке превращался в *s'*; ср. чуваш. *jǎvǎs'* «дерево», турецк. *ağac* (*aač*); чуваш. *s'učǎr-* «кричать, визжать», турецк. *çağrıla-* (*čaγryla-*) «звать, приглашать». В интервокальном положении *s'* превращается в *z'*. Древний интервокальный *-d-*, а также *d* в абсолютном исходе слова в чувашском языке по этому же закону должен был превратиться в *z*, который затем превращался в *r*, ср. др.-тюрк. *adaq* «нога», чуваш. *ura* < *uza*; енисейско-орхон. *qod* «клади», чуваш. *χur*.

Если бы в чувашском языке исконным был не звук *z*, а *r*, то он также должен был бы подвергнуться действию закона ослабления смычки. Из *r* через промежуточную ступень *ř*, т. е. звука, напоминающего чешский *ř*, в чувашском языке в лучшем случае получилось бы *ž*, но такого пути развития в чувашском языке мы не видим. Что могло бы получиться в том случае, если бы в чувашском языке исконным был звук *z*? Поддав под действие закона дальнейшего ослабления щели затвора, исконный *z* мог бы дать *r*, так как несмотря на артикуляционную сложность *r* степень раскрытия затвора у *r* больше, чем у *z*. Процесс превращения в чувашском языке исконного *z* в *r*, естественно, распространился также и на тот *z*, который возник вследствие действия закона ослабления смычки из древнего *d* (*δ*). Поэтому слово *uza* «нога», возникшее из более древнего *adaq*, стало в чувашском языке звучать как *ura*.

Рассмотрим теперь на некоторых конкретных примерах, к чему может привести безоговорочное признание формулы Рамстедта. Н. К. Дмитриев утверждал, что в туркменской отрицательной форме 3-го лица ед. числа будущего первого времени *almaz* «он не возьмет» конечный исконный *-r* превратился в абсолютном исходе в *-z*, т. е. *almaz* < *almar*, тогда как в формах 1-го и 2-го лица ед. числа исконный *r* якобы сохранился, например: *almarın* «я не возьму, не буду брать», *almarsın* «ты не возьмешь, не будешь брать»<sup>7</sup>.

Однако, если конечный *-z* в форме *almaz* развился из более древнего *-r* (< *almar*), то возникает вопрос, почему в чувашском языке, где, по утверждению ученых, разделяющих точку зрения Рамстедта, древний конечный *-r* сохранился (ср. чуваш. *pǎr* «лед», татар. *boz*), туркменским и турецким отрицательным аффиксам *-maz*, *-mez* все же соответствуют *-mas*, *-mes*, а не *-mar*, *-mer*; ср., например, *сыр-мас-ть* «он не пишет», *ёслё-мес-т* «он не работает» и т. д. Остается неясным также, почему турецким и туркменским аффиксам *-maz*, *-mez* в казанско-татарском языке соответствует *-mas*, *-mäs*, хотя, по утверждению тюркологов, поддерживающих гипотезу Рамстедта,

<sup>7</sup> Н. К. Дмитриев, Соответствие *p/z*, в кн.: «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков, ч. I — Фонетика», М., 1955, стр. 324—325.

в татарском языке древний *r* превращался в *z*, ср. татар. *qyz* «девушка», камско-булг. *çir*, чуваш. *çer*.

Подобная несогласованность лишней раз свидетельствует о том, что в отрицательных аффиксах *-mas*, *-mes* исконным был *s*, а не *r*. Этот исконный звук *s* хорошо сохранился, например, в таких языках, как татарский, чувашский, узбекский, каракалпакский, казахский и др. Что же касается таких форм, как турецк. или туркм. *almaz* «он не возьмет», то озвончение *-s* в *-z* в данном случае представляет вторичное явление.

Утверждение Н. К. Дмитриева о сохранении древнего *r* в форме 1-го лица ед. числа *almaryn* уязвимо и с другой стороны: если бы интервокальное положение создавало благоприятные условия для сохранения древнего *r*, то вместо форм *kizim* «моя девушка» в турецком и *gy'izym* в туркменском языках мы имели бы формы *kirim* и *gy'rym*.

Появление *r* на месте ожидаемого *z* в туркменских формах *almaryn* «я не возьму» и *almarys* «мы не возьмем» может быть объяснено как частный случай ротацизма *z* между гласными. Наличие аффикса *-mar* в формах 2-го лица *almarsyñ* «ты не возьмешь» и *almarsyñyz* «вы не возьмете» может быть объяснено действием аналогии: здесь, несомненно, сказалось влияние форм 1-го лица. Не исключена также возможность контаминации в этой парадигме двух аффиксов различного происхождения *-mas* и *-mar*.

Безоговорочно принимая тезис Рамштедта о первичности *r* и вторичности *z*, Н. К. Дмитриев нередко смешивал совершенно разные явления. Так, он рассматривал в одной рубрике такие слова, как чуваш. *pâr* «лед» (в других тюркских языках *buz* / *tuz*... / якут. *tuus*), чуваш. *çer* «дочь, девушка» (в других тюркских языках *qyz* / *qyz* / *çys* / якут. *çys*) и чуваш. *çirân* «береза» (в других тюркских языках *qadyñ* / *qazyñ* / *qajyn*)<sup>8</sup>.

Если, по мнению ученых, разделяющих точку зрения Рамштедта, чуваш. *pâr* «лед» сохраняет древний *r*, то этого никак нельзя сказать о чуваш. *çirân*, где *r* не представляет исконного *r*, но развился из более древнего *d* (ð). Однако, как мы старались показать выше, *d* (ð) в чувашском языке, подчиняясь общей тенденции ослабления смычки, мог превратиться сначала только в *z*, но никак не в *r*. Если бы исконный *r* в чувашском действительно сохранялся, то развитие древнетюркского *qadyñ* остановилось бы в чувашском языке на промежуточной стадии *çizân* — форме, которая не могла бы превратиться в *çirân*, если бы фонетический закон превращения *z* в *r* не распространился на вторичный *z* в слове *çizân*.

Все эти факты свидетельствуют о том, что сформулированный Рамштедтом закон *r' → z* остается недоказанным. Как показывают наблюдения, звук *z* в тюркских языках является первичным, а соответствующий ему чувашский *r* — вторичным.

## 2

Рассмотрим теперь, как Г. Рамштедт решал вопрос о судьбе *j* в алтайских языках. Известно, что в некоторых тюркских языках начальный *j* соответствует аффрикатам или шипящим других тюркских языков, ср. турецк. *jol* «путь», татар. *jul*, но кирг. *žol*, казах. *žol*, чуваш. *s'ul* и т. д. Имея в виду алтайский праязык, Г. Рамштедт утверждает, что «из спирантов *j*- и *s*-, несомненно, являются древнейшими звуками... Древний звук *j* сохранился в монгольском, тунгусском и, по всей видимости, в корейском. В тюркском уже в дотюркский период *d*-, *ž*- и *n*-совпали с *j*-»<sup>9</sup>. Многие наши тюркологи и монголисты в этой формуле Рамштедта: тюркский начальный *j*- мог возникнуть из *d*, *ž*, *n* — увидели открытие, недостаточно вникая в вопрос о том, каким путем оно было сделано.

<sup>8</sup> Н. К. Дмитриев, указ. соч., стр. 323.

<sup>9</sup> G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 66.

Преобразование древней аффрикаты  $\zeta$  в  $j$  Рамстедт представлял следующим образом: «В тюркском языке древнейшей поры в звуке  $\zeta$  ослаб ффрикативный элемент, в результате чего возник  $j$ -, который в некоторых случаях также утратил ффрикативный элемент и превратился в полугласный  $i$ . Полное совпадение  $\zeta$ -,  $d$ -,  $n$ - и  $j$ - наступило довольно рано. В тюркском языке древнейшей поры существовали диалекты, в которых звук  $j$ - уже после совпадения всех этих первоначально различных звуков произносился с сильным ффрикативным оттенком (mit starker Reibung)  $d^j$ - или  $d'$ -. От одного из таких диалектов происходит чувашский  $s'$ - ... Он выступает теперь как  $s'$ - ~  $z'$ -, т. е. в абсолютном начале слова — как глухой  $s'$ - и только в соединениях, в результате действия сандхи, после звонких согласных — как  $z'$ -.

В южных и восточных тюркских диалектах начальный  $j$ - имеется, по-видимому, начиная уже с древнетюркской эпохи; в западных диалектах  $j$ - отчасти сохранился (киргизский, казанско-татарский, ногайский и т. д.), отчасти превратился в  $dj$ -,  $d\zeta$ - (киргизский), в казахском (быв. Букеевская орда) превратился в  $\zeta$ -. В северных тюркских диалектах произношение  $d\zeta$ - возникло раньше (ist die Aussprache  $d\zeta$ - viel älter) и после потери звонкости развивается в  $D\check{Z}$ - (у Радлова и Катанова  $\check{c}$ -, у Кастрена  $t'$ - ~  $d'$ -)<sup>10</sup>. Сказанное Рамстедтом можно резюмировать следующим образом: алтайский  $\zeta$  в пратюркском языке превратился в  $j$ -, а затем в отдельных тюркских языках снова превратился в  $\zeta$ , что могло бы быть выражено формулой:  $\zeta$ - ~  $j$ - ~  $\zeta$ -.

Для того чтобы доказать возможность превращения алтайского  $\zeta$ - в  $j$ -, Рамстедт приводит примеры: тюрк. *jol* «путь», чуваш. *s'ul*, монг. *zol* «счастье»; тюрк. *je*- «есть», кирг. *že*-, чуваш. *s'i*-, монг. *že-m* «падаль», калм. *zöm*- «хотеть есть, быть голодным»; тюрк. *jyl*- «скользить», *jylan* < *jylγan* «змея», монг. *zilgai* «гладкий»<sup>11</sup>.

Возникает, однако, вопрос о том, каков критерий, позволяющий исследователю установить, что  $\zeta$ - в монг. *zilgai* «гладкий» является первичным по отношению к начальному  $j$ - в турецк. *jylan* «змея». Вопрос этот остается без ответа, так как по существу такой критерий у Рамстедта отсутствует.

Для того чтобы доказать возможность превращения древнего  $d$ - через промежуточную ступень  $d'$ - в  $j$ -, Рамстедт приводит такие примеры, как монг. *dajin* «враг», др.-тюрк. *jaγu*, казанско-татар. *jau*, кирг. *žau*, чуваш. *s'u*; тунг. *dul* «теплота», монг. *dul* «теплая погода»; монг. *deley* «вымя», тюрк. *jälın*; тунг. *dureγ*- «ходить», тюрк. *jürü*-, *jür*- и т. д.<sup>12</sup> Однако и в данном случае критерий, который позволял бы категорически утверждать, что  $d$ - в монгольском слове *dajin* «враг» является более древним по сравнению с начальным  $j$ - в татарском слове *jau* «враг», у Рамстедта отсутствует.

Разделяя мнение Рамстедта относительно  $j$ - <  $d$ -, М. Ряснен, кроме того, полагает, что в некоторых тюркских языках начальный  $j$ - мог превращаться в  $d'$ -, ср. приводимые им примеры: венг. *gyeplb* «веревка» < < \**dipliγ* < \**jiplik*; ср. также возникшее в некоторых южных говорах татарского языка *djat* из *jat*; ср. также у греческих авторов  $\Delta\alpha\tau\epsilon$  «Урал-река» < *jaγyk*<sup>13</sup>. Здесь снова возникает вопрос о том, какое из двух рассмотренных  $d'$  является первичным и какое — вторичным.

Рассмотрим далее сопоставления, которые приводятся Г. Рамстедтом для доказательства возможности превращения начального алтайского  $n$ - через промежуточную ступень  $n'$ - в  $j$ -. монг. *nan* «солнце», тюрк. *jaç*

<sup>10</sup> G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 59.

<sup>11</sup> Там же, стр. 65—66.

<sup>12</sup> Там же, стр. 50—52.

<sup>13</sup> М. Ряснен, Материалы по исторической фонетике тюркских языков, М., 1955, стр. 160, 161.

«весна», якут. *sasyn(sahyn)*, откуда венг. *nyár* «лето»; монг. *nudurga* «кулак», тюрк., уйг. *juduruq*<sup>14</sup>. Надо отметить в то же время, что данные тюркских языков свидетельствуют о возможности развития *n*- из более древнего *j*-, ср. туба *n'ayu* «новый», карагас. *n'ā*... саг. *naγu* < \**naγu*~общетюрк. *jaγu*, тув. *čaγa*<sup>15</sup>. Таким образом, сущность этого выведенного Г. Рамstedтом алтаистского фонетического закона можно свести к трем формулам, весьма неопределенным в силу того, что направленность изменения звуков здесь установить оказывается фактически невозможным:

$$\begin{aligned} *j &\sim j \sim \check{j} \\ *n &\sim n' \sim j \sim n' \\ *d &\sim d' \sim j \sim d' \end{aligned}$$

Рассуждения Рамstedта о возможности превращения звуков *d*-, *n*-, *ž*- в *j*- лишены доказательной силы, так как они не основываются на использовании общеизвестных четырех основных приемов установления направленности звуковых изменений (см. выше). Ученые, придерживающиеся точки зрения Рамstedта, возможно, будут утверждать, что подобного рода формулы выводятся Рамstedтом на основании учета большей архаичности монгольских, тунгусо-маньчжурских и корейского языков. Следует, однако, напомнить, что абсолютная архаичность этих языков, равно как и их признаваемое несомненным генетическое родство, все еще остаются недоказанными. Кроме того, не все структурные элементы даже архаичных языков бывают в одинаковой степени архаичны.

Выше уже говорилось о том, что, по мнению Рамstedта, в тюркском языке древнейшей поры никаких процессов превращения исконных *d*-, *n*-, *ž*- в *j*- уже не наблюдалось, поскольку в начальной позиции *d*-, *n*-, *ž*- совпали с *j*-, который и заменил собой эти звуки в указанной позиции. Следовательно, например, турецк. *jol* «путь» в тюркском праязыке звучало уже как *jol*, а не *žol* (ср. монг. *žol* «счастье»). Отсюда, казалось бы, должен следовать довольно ясный и определенный вывод: если речь идет о словах тюркских языков, содержащих начальный *j*-, мы вправе говорить о пратюркском начальном *j*-.

Тем не менее некоторые наши тюркологи и монголисты обычно смешивают эти две части гипотезы Рамstedта и отождествляют алтайскую эпоху с пратюркской. Так, например, С. Е. Малов, касаясь вопроса о происхождении начального тюркского *j*-, утверждает: «Относительно *й* — *дж*, *ч*, *ш*, *ж* я могу сказать предположительно, что более древними здесь были пипящие и свистящие звуки *дж*, *ч*, *ш*, звук же *й* был в очень малом и редком употреблении (в начале слова), в письменном языке древних тюрков и у ближайших потомков их теперь по языку — желтых уйгуров»<sup>16</sup>. Надо сказать, что приведенное положение никакими доказательствами не подкрепляется.

Явления, наблюдаемые в северо-восточных тюркских языках, явно противоречат положению, сформулированному С. Е. Маловым. Например, в сагайтском наряду с *čir* «земля», соответствующим турецк. *jer*, употребляется *čablak* «картофель» < русск. *яблоко*<sup>17</sup>. Если бы в этом языке не имел места процесс превращения начального *j* в *č*, русск. *яблоко* никогда не могло бы превратиться в *čablak*.

Некоторые из тюркологов, неправоммерно отождествляющих алтайскую эпоху с пратюркской, пытаются свои утверждения аргументировать более подробно. Так, Н. А. Баскаков пишет по этому поводу следующее: «Вопрос хронологии  $j > \check{j}$  в начале слова является спорным. Если конеч-

<sup>14</sup> G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 75, 77.

<sup>15</sup> М. Ряснянен, указ. соч., стр. 162.

<sup>16</sup> С. Е. Малов, Древние и новые тюркские языки, ИАН ОЛЯ, 1952, вып. 2, стр. 141.

<sup>17</sup> М. Ряснянен, указ. соч., стр. 162.

ный коренной *j* в слове мог быть результатом развития *d*,  $t > z$ ,  $s > j$ , то *j* в начале слова мог быть также результатом фонетического развития аффрикативных и фрикативных, в том числе шипящих и свистящих согласных  $\check{c}$ ,  $\check{z}$ ,  $tj$ ,  $dj$ ,  $z$ ,  $s > j$  и даже >выпадение, например, в карачаево-балкарском языке: *axšy* вместо *jaxšy* „хороший“ и проч.<sup>18</sup>

В этом утверждении нетрудно усмотреть противоречие. В тюркских языках действительно имеются случаи, когда интервокальный *-d-* или конечный *-d* как будто превращался в *j*; ср. орхон. *adaq* «нога», татар. *ajaq*, якут. *atax*, шорск., хакас. *azaq* или енисейско-орхон. *god* «клады», татар. *quj*.

Одинаковость в некоторых случаях рефлексов отражения интервокального и конечного *-d* в различных тюркских языках свидетельствует явно о том, что эти две позиции были подчинены действию одного и того же фонетического закона. Н. А. Баскаков, очевидно, не учитывает, что во всех вышеуказанных случаях исходным звуком был вовсе не *d*, а межзубный спирант  $\delta$ , для подтверждения чего может быть выдвинуто очень простое доказательство.

Как известно, в языке енисейско-орхонских надписей слова *adaq* «нога», *god* «клады», *ud* «посылай», *hedim* «одежда», *adyr* «отделяй» и т. д. сосуществовали с такими словоформами, как *bökmedim* «я не наслаждался», *tegride* «в небе»<sup>19</sup> и т. д. Если бы исконным звуком в данном случае был простой *d*, то в таких языках, как татарский, где енисейско-орхонскому *adaq* соответствует *ajaq*, мы неизбежно имели бы вместо формы *almadyt* «я не брал» форму *almajyt* и вместо формы местного падежа *qalada* «в городе» — форму *qalaja*. Этот переход неминуемо осуществился бы, так как фонетический закон превращения *d* в *j* не мог бы ограничиться только такими случаями, как *adaq* «нога», *udu* «спи» и т. д., и неизбежно распространился бы на любой интервокальный *-d-*. Следовательно, в словах типа *adaq* изначально имел место не *d*, а другой звук.

В. А. Богородицкий совершенно правильно, на наш взгляд, предполагает, что в таких словах первоначально выступал межзубный звонкий спирант  $\delta$ <sup>20</sup>. По мнению В. А. Богородицкого, «фонема  $\delta$  могла быть диалектально палатализованной, приближаясь к *j*, откуда объясняется рефлекс в виде *VjV* в ряде тюркских языков»<sup>21</sup>. В примечаниях Богородицкий указывает на аналогичное явление в индоевропейских языках: санскр. *dyav* «небо», род. падеж *div-áh*  $\neq$  греч. *Zēv-z*, род. падеж  $\Delta\iota-\delta\varsigma$  в критских надписях, вин. падеж  $\Delta\eta-v-\alpha$   $T\eta-v-\alpha$   $\neq$  лат. *Ju-piter*<sup>22</sup>.

Этой же точки зрения придерживается и Рамстедт, который замечает по этому поводу следующее: «Древний интервокальный *-d-*, вероятно уже в древнетюркском, как и в уйгурском, превратился в спирант и произносился как  $\delta$ . Этот спирантный звук превратился в уйгурском и в отдельных случаях в чагатайском в *-z-* [передаваемый арабским шрифтом посредством *z* (заль)], а в западнотюркском и южнотюркском уже к 1200 г. превратился в *-j-* (Махмуд ал-Кашгари); в севернотюркском *-d-*, т. е.  $\delta$ , или произносился звонко (Media), или же превратился в *-z-*. В якутском из *-d-* закономерно возникло глухое *-t-* ( $-d- > -D- > -t-$ ). В чувашском спирант  $\delta$  рано превратился в *-r-*»<sup>23</sup>.

Начальный *j-* в турецк. *jol* «путь» и татар. *jul* не мог развиваться из начального  $\delta$ , так как в енисейско-орхонских надписях слово *adaq* «нога»,

<sup>18</sup> Н. А. Баскаков, Примечания к русскому изданию кн.: М. Рясанен, указ. соч., стр. 216.

<sup>19</sup> И. А. Багманов, Язык енисейских памятников древнетюркской письменности, Фрунзе, 1959, стр. 140, 150.

<sup>20</sup> В. А. Богородицкий, Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками, Казань, 1953, стр. 107.

<sup>21</sup> Там же, стр. 108.

<sup>22</sup> Там же.

<sup>23</sup> G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 86—87.

в составе которого имелся  $\delta$ , существовало наряду со словами *jyl* «год», *joq* «нет». Если бы в словах *jyl*, *joq* присутствовал начальный  $\delta$ , то этот звук также обозначался бы посредством графемы *d*, как это имело место в слове *adaq*. Что же касается утверждения Н. А. Баскакова о том, что *j* мог возникать из более древних  $\acute{c}$ ,  $\acute{z}$ , *tj*, *dj*,  $\acute{z}$ , *s*, то оно осталось совершенно не доказанным, так как Н. А. Баскаков не привел ни одного достаточно убедительного примера из какого-либо другого языка, который подтверждал бы возможность такого развития.

Пытаясь определить направленность изменения звуков в таких соответствиях, как кирг.  $\acute{z} \sim$  казах.  $\acute{z} \sim$  мшарск., тептярск. и башк. *j*, В. А. Богородицкий, на наш взгляд, совершенно правильно привлекал к сравнению аналогичное изменение народно-латинского *j* в итал. *дж* и франц. *ж*<sup>24</sup>. Этот ряд примеров можно было бы дополнить: ср. др.-инд. *juvan* «молодой», но совр. тадж. *živon*; монг. письм. *ĭida* «копье», халха-монг. *džad*; монг. письм. *ĭit* «год», халха-монг. *dzil*<sup>25</sup>; фин. *jalka* «нога», но венг. *gyalog* (*d'álog*); марийск. литерат. *jük* «голос», диал. *zük*.

Своеобразное истолкование гипотезы Рамштедта о происхождении начального *j*- в словах тюркских языков находим и в работах Н. К. Дмитриева. Н. К. Дмитриев рассматривает случаи перехода древнего *d* в некоторых тюркских языках в  $\delta$ , *z*, *r*; например: чуваш. *ura* «нога» /орхон. *adaq* / уйг. *adak* / якут. *atax* / шорск., хакас. *azaχ*, в других тюркских языках — *ajaq*; чуваш. *χurān* «береза» / тюрк. *qadyr* / *χatyр* / *qazyр* / *qajyр* / *qajyn*<sup>26</sup>. Н. К. Дмитриев утверждает, что переходы  $d > \delta > j$  достаточно легко прослеживаются по материалам словаря Махмуда Кашгарского (XI в.): «Кое-какие следы этих закономерностей отмечались другими авторами, например, византийскими историками и, в частности, Менаандром Протекторатом (VI в. н. э.). Мы имеем такие формы, как *Δαιχ*, что можно читать только как *ḍaiχ*: так называется у Менаандра река Урал, которая получила это название, одноименное с горным хребтом Урала, лишь при Екатерине II, а до того именовалась *Яик* (т. е. *Йайык*), ср. яицкие (уральские казаки). „Яик“ дословно означает „разлившийся“, „растекшийся“ от глагольного корня *йай-* < *йаз-* < *заз...* Таким образом, в енисейско-орхонскую эпоху переход  $\acute{d} > j$  ( $\acute{z} > \acute{y}$ ), очевидно, уже состоялся»<sup>27</sup>.

Нетрудно заметить, что в этом рассуждении неправоммерно отождествлены два совершенно различных фонетических закона — закон изменения начального *j*- и закон превращения в *j* древнего  $\delta$  внутри слова (в так называемом инлауте). Интересно отметить, что сам Рамштедт не смешивал этих двух закономерностей, и вопрос о чередовании  $\acute{d} \sim j \sim z \sim t \sim r$  особо рассматривался им в разделе «Übersicht über die intervokalische Lautvertretung im Inlaut»<sup>28</sup>. По мнению Рамштедта, начальный *j*- в тюркских языках мог восходить к праалтайскому *d*, *n* или  $\acute{z}$ , но не к  $\delta$ , причем в общетюркском праязыке этот процесс уже закончился, и, следовательно, глагол *jaĭ-* «разливаться» мог звучать только именно как *jaĭ-*, но не как *ḍai-*. По мнению же Н. К. Дмитриева, вначале этот глагол звучал как *ḍai-*, что отразилось в названии реки *Δαιχ*, зафиксированном византийским историком VI в. н. э.; затем начальный  $\delta$ - превратился в *j*-, что нашло отражение в старом русском названии реки Урала *Яик*.

Истинная причина этого развития на самом деле была иной. В глаголе *jaĭ-* «разливаться» начальный *j*- был исконным. Византийский исто-

<sup>24</sup> В. А. Богородицкий, указ. соч., стр. 106.

<sup>25</sup> Б. Я. Владимирцов, Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия, Л., 1929, стр. 399.

<sup>26</sup> Н. К. Дмитриев, Соответствие *p/δ/t/s/ç/й*, в кн. «Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. I, стр. 326.

<sup>27</sup> Там же, стр. 327—328.

<sup>28</sup> G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 85.

рик мог непосредственно слышать название реки Яик не от казаха, а, вероятнее всего, от дунайских булгар. М. Рясянен замечает, что «в волжско-булгарских надгробных надписях звук *j* замещался еще  $\xi$ , в дунайско-булгарских источниках (из греческих и славяно-булгарских источников) —  $d^{**}$  ( $\Delta\alpha\xi$  „Урал-река“ < *jajyk*; *дилом* „змея“ = *d'ylam* < *jylan* > > чуваш. *s'alən*), в древнебулгарских заимствованиях в венгерском языке — *gy* (=  $d'$ ): *gyerlb* „веревка“ < \**diplic* < \**jiplic* и т. д.»<sup>29</sup>. Что же касается гидронима Яик, то он мог проникнуть в русский язык или от башкир, или от татар, представителей так называемых ёкающих диалектов. Возможно также заимствование его из казахского языка в тот период, когда начальный *j*- в казахском языке еще не превращался через промежуточную ступень  $\xi$ - в  $\xi$ -.

Н. А. Баскаков предполагает, что типичным для тюркских языков корнем является корень, состоящий из согласного + гласный + согласный. Для доказательства своего тезиса он ссылается на чувашский язык, где имеется протетический *j*; например: каракалп. *агъаш* «дерево», чуваш. *йывăç*; каракалп. *ажъ* «течь», чуваш. *йух*; каракалп. *авыр* «трудный», чуваш. *йывăр*, каракалп. *из* «след», чуваш. *йер*<sup>30</sup>. Однако если мы утверждаем, что в чувашском языке начальный *j*- через промежуточную ступень  $\xi$  превратился в *s'* (ср., например, татар. *jul* «путь», чуваш. *s'ul*), то сразу же возникает вопрос, почему этот процесс не распространился на *j* в чувашских словах типа *йывăç* «дерево», *йух* «течь», *йывăр* «тяжелый» и т. д.

Ответ на этот вопрос может быть двояким: или *j* в вышеуказанных словах возник позже, когда в древнем чувашском языке фонетический закон превращения начального *j*- в  $\xi$ - и затем в *s'*- перестал действовать, или же чувашский *s'*- возник не из *j*-. Как уже говорилось выше, опровергнуть возможность возникновения звука  $\xi$  из более древнего *j* Н. А. Баскакову не удалось. Следовательно, второе предположение подлежит исключению и, таким образом, остается первое предположение.

Любопытно при этом заметить, что Н. А. Баскаков иногда сам себе противоречит. Наряду с сопоставлениями типа каракалп. *авыр*, чуваш. *йывăр*, он приводит каракалп. *авыз* «рот» и чуваш. *сăвар*<sup>31</sup>. Но ведь по теории Н. А. Баскакова, *ç* (*s'*) в слове *сăвар* не должно восходить к *j*, подобно тому как *s'* в слове *s'ul* «путь» не восходит к *j*.

Более обоснованно решает эту проблему М. Рясянен. Чувашский *j* в вышеприведенных случаях М. Рясянен рассматривает как протезу, которая «могла возникать в разные периоды: в более древний, где *j*- участвовал в переходе *j* в *s'*: *s'ar*, *s'or* „ночь“ ~ уйг. *ir*, *jir* „север“...; *s'irma* „ручей“, „речка“ ~ турецк. *yrnak*...; в более поздний: *jiväs'*, *jäs'äs'* „дерево“ ~ общетюрк. *açäs'*...; *jäl* „деревня“ ~ общетюрк. *el*»<sup>32</sup>.

\*

Известно, что звуку  $\xi$  многих тюркских языков в чувашском языке закономерно соответствует *l*; ср. чуваш. *kätäl* «серебро», но турецк. *gö-tülş*, татар. *kütäş*; чуваш. *çäle* «зима», но татар. *quş*. В то же время имеются случаи, когда чувашскому *l* соответствует в других тюркских языках *l*; ср. чуваш. *väl* «он», татар. *ul*. Совершенно ясно, что эти два *l* первоначально качественно различались, поскольку в большинстве тюркских языков они имеют разные рефлексy.

Рамстедт утверждает, что *l* в чувашских словах типа *kätäl* отражает

<sup>29</sup> М. Рясянен, указ. соч., стр. 160.

<sup>30</sup> Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык, II, М., 1952, стр. 54, 55.

<sup>31</sup> Там же, стр. 55.

<sup>32</sup> М. Рясянен, указ. соч., стр. 163.

алтайский палатализованный *l*, т. е. *l'*<sup>33</sup>. Однако в словах, содержащих гласные заднего ряда, наличие палатализованного *l'* было невозможно; татар. *quš* «зима» не могло возникнуть из более древнего *qyl'*. Уже одно это обстоятельство ставит под сомнение гипотезу Рамстедта. Наряду с указанным палатализованным *l'* в тюркских языках должен был существовать также палатализованный *l* в словах типа *kil'* «приходи». Если бы палатализованный *l'* превращался в большинстве тюркских языков в *š*, то действие этого фонетического закона неизбежно распространилось бы и на *l* в словах типа *kil'* «приходи». В этом случае наряду с татар. *quš* «зима» мы имели бы также *kiš* «приходи».

Следовательно, в исходе слов типа *kaməl* был не палатализованный *l'*, а какой-то другой *l*, совершенно не зависимый от гармонии гласных. По всей видимости, это был билатеральный глухой *l* с сильным фрикативным оттенком, почти вроде глухого *l*, встречающегося в северных диалектах хантыйского языка. Такой *l* действительно мог превратиться в *š*.

## 3

Третьим спорным вопросом является вопрос о происхождении чувашского протетического *v*; ср. чуваш. *värman* «лес», но татар. *irman*, турецк. *orman*; чуваш. *väräm* «длинный», но турецк. *uzun* и т. д.

М. Ряснян утверждает, что в древнетюркском языке *v*- в начальном положении вообще отсутствовал. В чувашском языке, по его мнению, данный звук в одних случаях возник в результате выпадения начального согласного (*vak* «маленький» < *u'vak*); в других случаях — вследствие расщепления начального губного гласного (*von* «десять» < \**ön* и т. д.)<sup>34</sup>.

Совершенно по-иному решает этот вопрос Н. А. Баскаков. Чувашский *v*, по его мнению, отражает более древнее состояние. Следы этого древнего состояния отчасти сохраняются в современном каракалпакском языке в виде дифтонгообразного призвука, например каракалп. *ʏot* «огонь»; ср. чуваш. *vut*<sup>35</sup>. Однако в связи с этой гипотезой, выдвинутой Н. А. Баскаковым и поддерживаемой некоторыми тюркологами, неизбежно возникает ряд вопросов. Чем объяснить, например, что во всех остальных тюркских языках, по крайней мере в абсолютном большинстве их, начальный *v*- утрачивался, и каким образом можно доказать, что он утрачивался? Утрата начального *v*-, в особенности если он является билабиализованным, вообще возможна. В древнегреческом языке некогда существовал билабиальный *v*, обозначавшийся в некоторых старых надписях особой графемой дигаммой *Ϝ*, например *ξρϜν* «дело, работа» некогда звучало как *wergon* (*Ϝεργον*); ср. нем. *Werk*. Однако исчезновение этого *w* вполне доказуемо, так как, помимо этимологических данных, оно подтверждается также данными древних надписей. Что касается исчезновения начального *v* в тюркских языках, то надо сказать прежде всего, что в распоряжении науки нет данных о существовании его. В наиболее древних письменных памятниках тюркских языков, как известно, *v* в начальной позиции не зарегистрирован (ср. слова енисейско-орхонских памятников типа *uγūš* «сражение», но чуваш. *värz'ä* «война»; *uja* «гнездо», но чуваш. *java*; *on* «десять», но чуваш. *vun*). Если бы начальный *v*- в большинстве тюркских языков закономерно отпадал, то он также закономерно утрачивался бы и в словах, заимствованных из других языков и содержащих начальный *v*-. Однако пока не представлено ни одного подобного примера.

Аргумент Н. А. Баскакова, будто бы в большинстве тюркских языков начальный *v*- исчез «по аналогии с *boł* > *ōł* „быть“ в кыпчакских и огузских

<sup>33</sup> G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 103.

<sup>34</sup> М. Ряснян, указ. соч., стр. 167.

<sup>35</sup> Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык, II, стр. 55.

(например, в турецком) языках»<sup>36</sup>, не может служить для доказательства первичности *v*-, во-первых, потому, что начальный *v*- не типичен также и для кыпчакской группы тюркских языков, где начальный *b* не утрачивался; кроме того, утрата *b* в турецк. *ol*- «быть» не является следствием регулярного фонетического закона, а представляет частный случай развития звука.

Н. А. Баскаков, пытаясь доказать первичность чувашского *v*-, утверждает, что начальный *v*- более соответствовал структуре древнетюркского корня: «Исходя из анализа корней каракалпакского и других тюркских языков, можно предполагать, что типичным для тюркских языков корнем является корень, состоящий из согласного + гласный + согласный. Что же касается корня типа гласный + согласный, то звуковая структура последнего, по-видимому, представляет собой результат фонетического развития, при котором начальный согласный, претерпев ступень дифтонгообразного элемента при последующем гласном звуке, фонетически редуцировался, а затем выпал, образовав, таким образом, новый тип корня Г+С, напр., *ʷǝl*- «умирать»; *al*- «взять» и пр. Следы наличия согласного элемента в некоторых корнях сохранились в отдельных языках и диалектах»<sup>37</sup>.

Приведя в качестве примера 26 каракалпакско-чувашских соответствий типа каракалп. *at* «имя» (ср. чуваш. *йат*), каракалп. *ʷot* «огонь» (ср. чуваш. *вут*), каракалп. *урла*- «красть» (ср. чуваш. *вэрла*-) и т. д., Н. А. Баскаков делает общий вывод: «Таким образом, все начальные гласные в корнях каракалпакских слов, по-видимому, восходили к более древним сочетаниям согласного + гласный»<sup>38</sup>.

Для доказательства этого тезиса ссылки на чувашский язык, хотя бы и сопровождаемой рядом примеров, явно недостаточно. Если бы начальные согласные *v*- и *j*- в положении перед гласным закономерно отпадали, то они также отпадали бы и в иноязычных заимствованиях, проникавших в различные тюркские языки в период действия вышеуказанного фонетического закона; Н. А. Баскаков, к сожалению, такого рода примеров не приводит.

Таким образом, при ближайшем рассмотрении оказывается лишенной достаточных оснований и гипотеза о первичности чувашского *v*-.

Подводя итог вышеизложенному, нам хотелось бы подчеркнуть, что формулы, выведенные алтаистами:  $r \sim z$ ;  $d, n$ ,  $\zeta \sim j$ ;  $l' \sim \check{s}$  — фактически остаются не доказанными. Не доказана также и распространенная в настоящее время гипотеза о первичности чувашских протетических звуков *v*- и *j*-.

<sup>36</sup> Н. А. Баскаков, Примечания к русскому изданию М. Рясенена, указ. соч., стр. 216.

<sup>37</sup> Там же, стр. 54—55.

<sup>38</sup> Там же, стр. 55.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

И. А. МЕЛЬЧУК

## О ТЕРМИНАХ «УСТОЙЧИВОСТЬ» И «ИДИОМАТИЧНОСТЬ»

Проблеме так называемых несвободных сочетаний посвящено значительное количество лингвистических исследований. Однако для целей машинного перевода (МП) соответствующие теоретические результаты непосредственно использовать не удастся: имеющиеся классификации и определения несвободных сочетаний различных типов не являются формальными и достаточно точными.

Поэтому понадобилось уточнить некоторые понятия, связанные с теорией несвободных сочетаний, и упорядочить употребление соответствующих терминов. Полученные формулировки, несмотря на известную схематичность, представляют, возможно, интерес не только в узкоспециальной области МП, но и с точки зрения общего языкознания.

Попытаемся определить термины «устойчивость» и «идиоматичность».

## Устойчивость

Если рассматривать различные сочетания каких-либо элементов, естественно называть устойчивым такое сочетание определенных элементов, в котором эти элементы встречаются гораздо чаще, чем в других сочетаниях. На это представление об устойчивости и опирается наше определение. Устойчивость сочетания относительно данного элемента измеряется вероятностью, с которой данный элемент предсказывает совместное появление остальных элементов сочетания (в определенном порядке относительно предсказываемого элемента).

Устойчивость сочетания может быть вычислена относительно любого его элемента. Однако на практике для характеристики сочетания удобно брать наибольшую величину устойчивости, т. е. устойчивость, вычисленную по тому элементу, который предсказывает совместное появление остальных элементов лучше, чем какой-либо другой элемент того же сочетания. В дальнейшем мы будем иметь в виду именно эту наибольшую устойчивость. Так, под устойчивостью словосочетания *бить баклуши* понимается его устойчивость относительно слова *баклуши*, которое не употребительно вне этого сочетания и поэтому предсказывает его на 100%.

Устойчивость сочетания может изменяться от 1 (100%) до 0. Устойчивость равна единице (ста процентам), если предсказывающий элемент не встречается вне данного сочетания; например, сочетания *притча во языцех* (относительно *языцех*), *мертвецки пьян* (относительно *мертвецки*), франц. *pez aquilin* (относительно *aquilin*) и т. д. Устойчивость сочетания равна нулю, если данные элементы не встречаются в этом сочетании, например, бессмысленные сочетания «через над», «чтобы пляшем» и т. д.

Поскольку величина устойчивости сочетания может принимать любые значения от 1 до 0, при строгом словоупотреблении нельзя называть сочетания просто «устойчивыми» или «неустойчивыми»: всякое сочетание характеризуется определенной степенью устойчивости. Это соответствует

объективной действительности речи, где нет противопоставления абсолютно устойчивых и абсолютно неустойчивых сочетаний, а есть различие сочетаний по степени устойчивости.

Однако так как на практике (например, для МП) и в теории обычно представляют интерес сочетания с достаточно высокой устойчивостью, то можно для краткости условно называть такие сочетания «устойчивыми», а остальные — «неустойчивыми». При этом произвольно (исходя из практических целей) выбирается величина «порога устойчивости»; устойчивыми считаются все те сочетания, устойчивость которых выше этого порога. Подобное словоупотребление и особенно принятый порог устойчивости следует всякий раз оговаривать в явной и отчетливой форме.

Величина устойчивости сочетания, т. е. наибольшая из вероятностей предсказания одним элементом сочетания всех остальных, вычисляется на основе статистического обследования текстов (производятся наблюдения над случаями появления заданного элемента в тексте и отмечается, в скольких из этих случаев появляются все остальные элементы сочетания; при помощи этих данных теория вероятностей позволяет вычислить вероятность предсказания). Однако необходимого обследования текстов в достаточном объеме пока не предпринималось; по всей видимости, оно вообще невозможно без использования электронных машин. Тем не менее понятием устойчивости можно пользоваться уже сейчас, временно допустив приблизительное определение вероятности, основанное на субъективных ощущениях или на обследовании сравнительно небольших выборок. Эта приблизительность результатов не задевает самого способа измерения, т. е. логической структуры нашего определения.

Сформулированное выше понятие устойчивости можно распространить на сочетания типа *выносить сор из избы*. В этом словосочетании ни один из элементов не предсказывает остальных с достаточно большой вероятностью. Но два элемента вместе (*выносить сор*) уже предсказывают остальные. В таком случае можно говорить об устойчивости по двум элементам. Если сочетание хорошо предсказывается тремя элементами вместе, мы имеем устойчивость по трем элементам и т. д. Пока неясно, насколько продуктивным и полезным окажется понятие устойчивости по нескольким элементам. Однако надо иметь в виду, что для точности при термине «устойчивость» следует указывать количество элементов, на основе которых она устанавливается. Для краткости вместо «устойчивость по одному элементу» мы будем говорить просто «устойчивость».

Термин «устойчивость», как он был определен выше, применим к любым сочетаниям языковых элементов: фонем, морфем, форм слов, слов, классов слов. Поэтому понятие устойчивости можно использовать не только в лексикологии, но и при изучении фонологии, морфологии и синтаксиса.

Интересно отметить связь между изложенным выше понятием устойчивости и учением Л. Ельмслева об отношениях между языковыми элементами. Мы имеем в виду два типа отношений (функций, как их называет Л. Ельмслев): детерминацию (один элемент предполагает существование или наличие другого, но не наоборот; например, морфемы флексии предполагают существование корневых морфем и т. д.) и интердепенденцию (два элемента предполагают существование друг друга). Сформулированное определение устойчивости представляется известным уточнением этих понятий: несколько нечеткое «предполагает» интерпретируется в точных терминах как «предсказывает с определенной степенью вероятности».

В современной лингвистике слова «устойчивое сочетание» часто употребляются в качестве синонима выражений «несвободное», «фразеологическое» или даже «идиоматичное» сочетание (хотя подобное употребление как будто не оговаривается в явной форме). В данной работе предлагается рассматривать устойчивые сочетания как одну из разновидностей несвободных сочетаний: все устойчивые сочетания относятся к несвободным, но не все несвободные сочетания являются устойчивыми (в узком смысле), т. е.

имеют высокую степень устойчивости. Например, такое несвободное сочетание, как идиома *то и дело*, является неустойчивым: его элементы часто встречаются вне сочетания, и ни один из них не предсказывает остальных с высокой вероятностью.

### Идиоматичность

Наиболее распространенным является представление об идиомах как о сочетаниях, неразложимых в смысловом отношении. Наше определение исходит из этого справедливого и естественного представления. Однако, поскольку пока не предложено объективных способов для непосредственного формального исследования того, что мы называем «смыслом» или «значением», слова «смысл» и «значение» не должны участвовать в формальном определении термина «идиоматичность». Тем не менее это определение должно отражать свойство смысловой спаянности идиом. Поэтому мы будем определять идиоматичность сочетаний относительно переводных эквивалентов этих сочетаний (переводные эквиваленты являются объективной реальностью для исследователя и вместе с тем они представляют собой достаточное приближение к «значению»).

Сочетание может либо переводиться на разные языки («межъязыковая» идиоматичность, которая зависит от выбранной пары языков), либо подвергаться синонимическим заменам в пределах одного и того же языка («внутриязыковая» идиоматичность). Выбор межъязыкового или внутриязыкового определения идиоматичности зависит от наших целей и задач. В дальнейшем под «переводными эквивалентами» понимаются как иноязычные эквиваленты, так и синонимичные замены в пределах одного языка.

Сущность нашего определения состоит в следующем: сочетание идиоматично только тогда, когда его переводный эквивалент не совпадает с суммой переводных эквивалентов его частей. Эта вполне тривиальная схема нуждается в существенных поправках и уточнениях. Прежде всего при такой формулировке идиоматичность зависит от выбора переводных эквивалентов, т. е. от словаря (дву- или одноязычного) и от правил, при помощи которых осуществляется перевод. Испанское словосочетание *la llave en el ojo* «ключ в замочной скважине» при переводе на русский язык оказывается идиоматичным, если в словаре слово *ojo* имеет только один эквивалент — «глаз», и неидиоматичным, если слово *ojo* снабжено по крайней мере двумя эквивалентами: 1) «глаз», 2) «замочная скважина».

Принципиально возможен такой словарь, содержащий лишь отдельные слова, но не сочетания слов, при котором ни одно сочетание в данном языке не оказывается идиоматичным относительно перевода на другой (или на тот же самый) язык: каждому слову приписаны все возможные переводные эквиваленты, в том числе — сугубо «идиоматичные».

Кроме того, идиоматичность зависит от наших требований к качеству перевода. Когда мы переводим сочетание исп. *la boca del perro* при помощи словаря, где *boca* = «рот», то это сочетание неидиоматично при условии допустимости перевода «рот собаки» и идиоматично, если этот перевод нас не удовлетворяет (надо: «пасть собаки»).

Тройная относительность идиоматичности (при данной паре языков, при данном словаре и при данных требованиях к качеству перевода) впервые была сформулирована в явном виде И. Бар-Хиллелом. Его определение гласит: «То или иное предложение на языке  $L_1$  является идиоматичным по отношению к языку  $L_2$  по данному двуязычному<sup>1</sup> словарю и данному перечню грамматических правил, если и только если с помощью этого словаря и этих правил невозможно построить никаких таких последовательностей на языке  $L_2$ , которые представляли бы собой грамматически и се-

<sup>1</sup> Не включающему сочетаний слов. — И. М.

мантически удовлетворительный перевод исходного предложения»<sup>2</sup>. (В той же работе дается аналогичное определение идиоматических сочетаний относительно синонимических замен в пределах одного языка.)

Бар-Хиллел учел возможность такого расширения словаря, при котором ни одно сочетание не является идиоматичным (см. выше). Он называет подобное решение вопроса «не внушающим доверия лингвистическим фокусом» (стр. 188) и, очевидно, отвергает его. Однако приведенное определение само по себе не исключает такого словаря (с соответствующими правилами перевода), при котором отнесение сочетаний к идиоматичным или к неидиоматичным будет резко противоречить естественному представлению об идиоматичности.

Наша цель — перестроить определение таким образом, чтобы решение вопроса об идиоматичности не зависело от произвола в выборе словаря. Тогда, используя внутриязыковую идиоматичность, можно будет получить некоторую постоянную характеристику сочетания с точки зрения его идиоматичности. Исходная предпосылка такова: имеется достаточно большое количество текстов и их максимально адекватных переводов. Именно из этих реально существующих текстов и переводов подбираются переводы для рассматриваемых сочетаний; предполагается, что перевод (или несколько переводов) можно указать для любого сочетания.

Предлагается следующее определение. Сочетание является идиоматичным, если и только если в него входит хотя бы одно такое слово, которому при переводе сочетания в целом пришлось бы приписать переводный эквивалент, возможный для данного слова только при появлении этого слова одновременно со всеми остальными элементами сочетания (в определенном порядке), причем данное слово может встречаться также без остальных элементов и имеет тогда другой перевод.

В приведенном определении можно выделить три основных момента.

1. В идиоматичном сочетании должно быть хотя бы одно слово с «единичным переводом», т. е. с переводом, возможным лишь при наличии другого определенного слова (или при одновременном наличии нескольких определенных слов).

Следует подчеркнуть, что приписывание «единичных переводов» — это прием, необходимый для логики рассуждений, и что его использование отнюдь не означает, будто слова на самом деле имеют (или должны иметь) «единичные переводы». Наоборот, при помощи «единичных переводов» доказывается, что в тех случаях, когда слову приходится приписать «единичный перевод», оно входит в идиоматичное сочетание и вообще не должно иметь отдельного перевода. Иными словами, схема рассуждений такова: допустим, что то или иное слово имеет такой-то перевод; оказывается, что этот перевод — «единичный»; тогда мы считаем, что данное слово само по себе не должно иметь этого перевода и что оно входит в состав идиоматичного сочетания.

Помня о данном разъяснении, читатель не должен удивляться такому неестественному «распределению» перевода, как, например, в сочетании *остаться с носом* = «остаться ни с чем», где *нос* получает единичный перевод «ничто» только при одновременном наличии слов *остаться* и *с*, или в сочетании *собаку съел* = «знаток» («мастер», «прекрасно разбирается» и т. д.), где *собаку* = «знаток» («мастер» или пропуск), а *съел* = пропуск или «прекрасно разбирается» и т. д.

Заметим, что при выявлении слова с единичным переводом не имеет значения ни выбор конкретного переводного эквивалента для сочетания

<sup>2</sup> См. Y. Bar-Hillel, *Idioms*, сб. «Machine translation of languages», New York — London, 1955.

в целом, ни то, как мы «распределим» этот эквивалент по элементам сочетания<sup>3</sup>. Так, для выражения *остаться с носом* мы могли бы взять эквивалент «лишиться всего», и при этом суть дела не изменилась бы: *нос* имел бы единичный перевод «все» (только при *остаться с*), а *остаться* получило бы единичный перевод «лишиться» (только при *с носом*). Можно было бы по-другому распределить перевод сочетания: *остаться* = «лишиться всего» (при *с носом*), а *нос* = пропуск (при *остаться с*); все равно в данном сочетании оказалось бы слово с единичным переводом. Важно лишь следующее: идиоматичное сочетание не имеет ни одного такого переводного эквивалента, который можно распределить по элементам этого сочетания так, чтобы ни одно из слов сочетания не получило единичного перевода.

2. В идиоматичном сочетании слово с единичным переводом должно иметь этот перевод только при одновременном появлении данного слова со всеми остальными элементами. Это условие необходимо для выделения идиоматичных сочетаний из более сложных единиц, в которые эти сочетания входят как часть. Например, предложение *Ему сразу дадут по шапке* = «Его тут же выгонят» не является идиоматичным: слово *дадут* имеет единичный перевод «выгонят» и при отсутствии двух элементов сочетания *ему* и *сразу* (*За это ей дадут по шапке* = «Из-за этого ее выгонят»). Действительно, это предложение содержит в себе идиоматичное сочетание. Если мы опустим «лишние» слова *ему* и *сразу*, без которых *дадут* все-таки может иметь единичный перевод, останется идиоматичное сочетание *дадут по шапке* (*дадут* имеет единичный перевод только при одновременном наличии обоих остальных элементов: *по* и *шапке*).

3. Слово с единичным переводом, входящее в состав идиоматичного сочетания, должно встречаться в не данного сочетания и иметь тогда другой перевод. Это условие позволяет отличать идиоматичные сочетания от неидиоматичных с очень высокой устойчивостью (100%). Рассмотрим, например, два сочетания слов: *точить лясы* (= «вести пустые разговоры») и *закадычный друг* (= «лучший друг»). Оба сочетания устойчивы на 100% по выделенным словам. В обоих сочетаниях есть слово (*лясы* = «пустые разговоры» и *закадычный* = «лучший»), имеющее единичный перевод только при наличии другого слова сочетания, поскольку без этого другого слова данные слова с единичным переводом не употребляются. При выборе перевода для этих слов наличие сочетания ничем не помогает: у них всего один перевод и они сами предсказывают сочетание. Но в первом из этих двух сочетаний есть слово *точить*, имеющее в сочетании с *лясы* единичный перевод «вести». Слово *точить* может употребляться и вне сочетания *точить лясы* и имеет тогда другие переводы. Для слова *точить* наличие сочетания очень существенно, так как только оно обуславливает выбор нужного перевода. Что касается сочетания *закадычный друг*, то в нем нет слова, для которого наличие сочетания определяло бы единичный перевод. Поэтому первое сочетание является идиоматичным, а второе — нет.

Сформулированное определение идиоматичности позволяет контролировать состав имеющегося словаря: на основе реальных текстов и переводов можно включать в словарь недостающие переводные эквиваленты и исключать лишние (присущие не отдельным словам, а идиоматичным сочетаниям). Пусть, например, мы переводим сочетание исп. *la manzana de caserío*; в словаре, которым мы располагаем, *manzana* имеет один эквивалент — «яблоко». Перевод всего сочетания в целом, полученный путем сопоставления параллельных текстов, должен быть «квартал поселка», откуда *manzana* в переводе получает эквивалент «квартал». С точки зре-

<sup>3</sup> Распределить переводный эквивалент сочетания по элементам сочетания — это значит соотносить с каждым элементом сочетания один элемент переводного эквивалента всего сочетания; в частности, это может быть отсутствие какого-либо элемента — пропуск.

ния определения Бар-Хиллела, сочетание *la manzana de caserío* идиоматично относительно используемого словаря. Однако, согласно данному выше определению, это сочетание неидиоматично, так как слово *manzana* переводится как «квартал» во многих других сочетаниях (например, *toda la manzana está amenazada de incendio* = «всему кварталу угрожает пожар» и т. д.). Просто наш словарь неполон: *manzana* должно иметь словарный эквивалент «квартал».

Данное определение делает возможным автоматическое построение переводных словарей. Для этого в машину должны быть введены параллельные тексты на двух языках и правила установления соответствий между элементами этих текстов. Руководствуясь определением, машина сможет сама отличать свободные сочетания от идиоматичных и создавать списки этих последних («единичные переводы», служащие признаком идиоматичных сочетаний, не будут включаться в словарь).

Предполагается, что сформулированное определение дает результаты, которые по крайней мере в большинстве случаев соответствуют интуитивным оценкам идиоматичности сочетаний. Насколько это так, выяснится лишь после того, как с точки зрения данного определения будет обследована вся масса сочетаний, обычно рассматриваемых как идиоматичные, и будут проанализированы случаи расхождения.

Одну из трудностей стоит оговорить здесь же. Возможен случай, когда небольшое число сочетаний (два, три, четыре...) имеет одно общее слово, а остальные слова — разные, причем общее слово употребляется и вне данных сочетаний, имея ряд определенных переводов. Но в данных сочетаниях общее слово имеет особый перевод, не присущий этому слову вне сочетаний. Например, слово *глубокий* встречается вне сочетаний *глубокая ночь*, *глубокая осень*, *глубокая старость* с переводами «имеющий большую глубину» (*глубокая яма*), «значительный, серьезный» (*глубокая печаль*, *глубокие мысли*) и т. д. Однако только в названных трех сочетаниях слово *глубокий* имеет перевод «поздний», «давно начавшийся». Если бы таких сочетаний было не три, а одно, то оно было бы идиоматичным — в соответствии с нашим определением. Однако, поскольку этих сочетаний три, они оказываются неидиоматичными. Если даже признать этот результат в отношении данных конкретных сочетаний со словом *глубокий*, то все равно остается вопрос в общей форме: правильно ли, что идиоматичность сочетания поставлена в такую тесную зависимость от единственности сочетания? При нашем определении достаточно, чтобы слово имело специфический перевод не в одном, а хотя бы в двух сочетаниях, и оба эти сочетания не считаются идиоматичными.

Весьма вероятно, что определение следует видоизменить, введя в него представление о степени идиоматичности. Тогда идиоматичность будет измеряться количественно; противопоставление идиоматичных и неидиоматичных сочетаний заменится различием сочетаний по степени идиоматичности. Для краткости можно условно называть идиоматичными сочетания с высокой степенью идиоматичности (выше произвольно выбранного «порога идиоматичности»), аналогично понятию устойчивости.

Идиоматичность можно измерять, связав ее с количеством сочетаний, которые имеют общее слово, снабженное одинаковым специфическим переводом только в пределах данных сочетаний, но встречающееся (обязательно с другим переводом или переводами) и вне этих сочетаний. Если таких сочетаний всего одно, то оно идиоматично на 100%. По мере роста числа таких сочетаний идиоматичность уменьшается, постепенно приближаясь к нулю. Точно определить характер функции, связывающей число сочетаний и величину идиоматичности, можно эмпирическим путем. В качестве первого приближения можно взять обратную пропорциональную зависимость (идиоматичность уменьшается на столько, на сколько увеличивается число сочетаний, где общее слово имеет специфический перевод).

Заметим в заключение, что понятие идиоматичности приложимо не только к сочетаниям слов, но и к сочетаниям любых элементов, которые могут иметь переводные эквиваленты (морфемы, синтаксические конструкции). В настоящей работе, говоря об устойчивых и идиоматичных сочетаниях, мы пользовались в качестве материала лишь сочетаниями слов только потому, что они дают наиболее простые и наглядные примеры.

С точки зрения предложенных определений устойчивость и идиоматичность — это совершенно независимые свойства сочетаний. Сочетание может быть устойчивым (иметь высокую степень устойчивости), не будучи идиоматичным, или наоборот. Следовательно, возможны четыре типа сочетаний: 1) устойчивые<sup>4</sup> идиоматичные, 2) устойчивые неидиоматичные, 3) неустойчивые идиоматичные, 4) неустойчивые неидиоматичные. Ниже приводим примеры на сочетания разных типов. В устойчивых сочетаниях выделен элемент, по которому определяется устойчивость.

1. Устойчивые идиоматичные сочетания: *бить баклуши, краугольный камень, попасть впросак, исчадие ада, не казать глаз, у черта на куличках, точить лясы, и вся недолга, темна вода во облацех, во время оно, положи руку на сердце, во всяси, скрепя сердце, сложа руки, задать стрекача, сам с усам, филькина грамота* и т. д. Все эти сочетания имеют очень высокую степень устойчивости, так как выделенные элементы вообще не встречаются вне соответствующих сочетаний. Вместе с тем эти сочетания идиоматичные, поскольку в каждом из них можно указать такое слово с единичным переводом (имеющим место только при наличии всех остальных слов), которое встречается и вне данных соединений; например, *бить баклуши* = «бездельничать» (*бить* = «бездельничать» только при *баклуши* = пропуск); *попасть в попасть впросак* = «совершить промах» (*попасть* = «совершить» только при *впросак* = «промах»); *ада* в *исчадие ада* = «злодей, чудовище» (*ада* = пропуск только при *исчадие* = «злодей») и т. д.

2. Устойчивые неидиоматичные сочетания: *беспросынное пьянство, вопиющая несправедливость, не видать ни зги, совесть зазрела, закадычный друг, заклятый враг, мертвецки пьян, неизгладимое впечатление* и т. д. Эти сочетания имеют устойчивость 100%, поскольку выделенные слова не встречаются вне них. Однако они неидиоматичные, так как в них нельзя указать такого слова, которое употреблялось бы вне них, а в их составе имело бы единичный перевод.

3. Неустойчивые идиоматичные сочетания: *была не была, как ни в чем не бывало, как пить дать, под мухой, в доску, под градусом, то и дело, куда ни шло, из рук вон, чем свет, намылить голову, остаться с носом, заморить червячка, втирать очки, подложить свинью, чесать язык, на большой палец, так как* и т. д. Все эти сочетания неустойчивые, так как ни один из элементов этих сочетаний не предсказывает остальных элементов с достаточно большой вероятностью. При этом все сочетания — идиоматичные, так как в каждом можно указать такое слово, которое имеет специфический перевод только в данном сочетании, но употребляется (с другим переводом) и вне сочетания. Например, в сочетании *была не была* = «будь, что будет» таковы все три элемента (*была* = «будь», *не* = «что», *была* = «будет»).

4. К неустойчивым неидиоматичным сочетаниям относятся все так называемые свободные сочетания (*белая стена, быстро ехать, мы ждем* и т. д.), а также ряд несвободных сочетаний: сложные термины (*дифференциальные уравнения, органическое соединение,*

<sup>4</sup> Здесь и ниже термины «устойчивость» — «неустойчивость» употребляются в «узком» смысле («высокая степень устойчивости» — «низкая степень устойчивости»); порог устойчивости принимается равным 90%.

удельный вес, части речи), штампы или клише (*будь здоров, с приветом* — в конце письма, и т. д.), поговорки, поговорки, «крылатые слова» и т. д.

Отсюда ясно, что сформулированные определения охватывают далеко не все несвободные сочетания. Типы несвободных сочетаний, которые упомянуты в предыдущем абзаце (и некоторые другие разновидности), справедливо выделяемые на основе интуитивных представлений, еще нуждаются в точных определениях.

Далее, желательно, чтобы при описании сочетаний было учтено весьма важное понятие «сочетаемости». Под сочетаемостью данного элемента предлагается понимать число других элементов, с каждым из которых данный элемент может вступать в определенное отношение (скажем, быть зависимым от него; например, сочетаемость прилагательного — это число существительных, к которым оно может быть определением, и т. д.). Устойчивость и идиоматичность сочетания, очевидно, связаны с сочетаемостью его элементов определенной зависимостью.

Если сочетаемость какого-либо элемента сочетания равна единице, то устойчивость сочетания по этому элементу равна 100% (так как этот элемент не употребляется вне данного сочетания). По мере роста сочетаемости устойчивость уменьшается; какова точная зависимость, неизвестно. Теоретически мыслимы такие случаи: имеется прилагательное, сочетаемость которого равна 100 существительным, причем из 10 тыс. случаев употребления этого прилагательного 9901 раз оно употребляется с одним и тем же существительным (сочетание  $C_1$ ) и по одному разу с остальными 99 существительными. Тогда устойчивость сочетания  $C_1$  по этому прилагательному очень велика — более 99%! Если при той же сочетаемости прилагательное встречается с каждым из 100 существительных одинаковое число раз, то устойчивость любого из этих сочетаний очень мала — 1%. Имеют ли место в языке эти теоретически возможные соотношения сочетаемости и устойчивости, неизвестно. Сходные рассуждения можно провести относительно сочетаемости и идиоматичности. Однако детальная разработка понятия сочетаемости и выяснение действительной зависимости между сочетаемостью, устойчивостью и идиоматичностью должны составить содержание отдельной работы.

Особо интересен анализ случаев типа *навострить уши* (или *лыжи*); *щекотливый вопрос* (или *обстоятельство, положение*); *потупить взор* (или *взгляд, глаза*); *шарашкина фабрика* (или *лавочка, контора*) и т. д., когда один элемент с большой вероятностью (близкой к 100%) предсказывает не другой конкретный элемент или группу одновременно появляющихся конкретных элементов, а любой из небольшого числа (два, три, четыре...) элементов <sup>5</sup>.

Кроме того, следует построить детальную внутреннюю классификацию идиоматичных сочетаний: дать точное определение, соответствующее естественному различию так называемых «мотивированных» и «немотивированных» сочетаний (в классификации акад. Виноградова «фразеологические сращения» и «фразеологические единства»); исследовать удобство и практический смысл классификации идиоматичных сочетаний по типу их элементов (например, по классам слов, образующих сочетание), по взаимному расположению элементов (контактное или дистантное, фиксированный или свободный порядок) и т. д.

Дальнейшее применение сформулированных определений к текстовому материалу и, в частности, к сочетаниям различных типов, а не только к сочетаниям слов позволит выявить степень их пригодности и внести необходимые уточнения <sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Отметим различие в значениях: *навострить лыжи* — *навострить уши*.

<sup>6</sup> Автор выражает глубокую признательность Вяч. В. Иванову, Э. А. Макаеву, Р. М. Фрумкиной, Б. С. Шварцкопфу и многим другим, особенно тем, чьи советы и критика помогли ему на первом и самом трудном этапе работы.

В. А. ТРОФИМОВ

О НЕКОТОРЫХ СЛОВСОЧЕТАНИЯХ НАРЕЧНОГО ТИПА  
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Происхождение наиболее распространенных в русском языке наречий на *-о* представляется исследователям довольно прозрачным. Еще Ф. И. Буслаев считал, что наречия типа *хорошо, долго, гораздо* и под. являются по своему происхождению формой вин. падежа ед. числа имен прилагательных среднего рода<sup>1</sup>. Эта точка зрения возражений не вызывала, и хотя А. А. Потехня в первом томе «Из записок по русской грамматике» допускал возможность видеть в подобных образованиях форму им. падежа (*право судиль еси* возникло из *правъ судиль еси* путем устранения согласования при переходе именной формы в наречную)<sup>2</sup>, позднее он также склонялся к трактовке этих наречий как «следов объективности», видя в них, однако, существительные среднего рода в вин. падеже<sup>3</sup>. Формой вин. падежа прилагательных среднего рода считали наречия на *-о* В. А. Богородицкий и Д. Н. Кудрявский, обращавший особое внимание на субстантивацию прилагательных<sup>4</sup>.

А. М. Пешковский, разделяя это мнение, также подчеркивал, что речь идет о формах прилагательного в значении существительного. Возникновение наречия, по А. М. Пешковскому, связано с утратой этими формами всех прочих падежей, отчего вин. падеж перестал выступать в качестве падежной формы<sup>5</sup>. А. А. Шахматов, давая в своем «Учении о частях речи» широкую перспективу адвербиализации слов и форм, особо говорил о субстантивации наречия в сочетании с существительным в древнерусском языке<sup>6</sup>. В современных исследованиях вопрос о происхождении наречных форм на *-о* не затрагивается, если не считать ряда замечаний Е. М. Галкиной-Федорук, вполне согласных с традиционными, но обнаруживающих также попытку установления относительной хронологии явления. Галкина-Федорук полагает, что процесс становления наречий на *-о* как особой категории протекал до расчленения единой категории имени на категорию имен прилагательных и категорию имен существительных<sup>7</sup>.

Таким образом, исследователи сходятся в том, что необходимым посредствующим звеном для возникновения наречной формы на *-о* из формы вин. падежа имени среднего рода и отсоединения ее от согласования с существительным при отнесении к глаголу должна была явиться субстантивация этой именной формы. Первоначально нерасчлененная единая имен-

<sup>1</sup> Ф. Буслаев, Историческая грамматика русского языка, [I], М., 1875, стр. 156.

<sup>2</sup> А. А. Потехня, Из записок по русской грамматике, т. I, М., 1958, стр. 126.

<sup>3</sup> А. А. Потехня, указ. соч., [т.] III, Харьков, 1899, стр. 64.

<sup>4</sup> В. А. Богородицкий, Общий курс русской грамматики, Казань, 1913, стр. 273; Д. Н. Кудрявский, Школьная и научная грамматика, в кн.: С. А. Новикова, Руководство к книге «Русский язык», СПб., 1910, стр. 8.

<sup>5</sup> А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, 7-е изд., М., 1956, стр. 166.

<sup>6</sup> А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, 2-е изд., М.—Л., 1941, стр. 504.

<sup>7</sup> Е. М. Галкина-Федорук, Наречие в современном русском языке, М., 1939, стр. 127—128.

ная категория типа *добро, зло* на более поздних этапах развития языка распалась на имя прилагательное и имя существительное, уже выделенные категориально. Материалы древнерусского языка дают основание думать, что процесс возникновения категории наречия весьма древнего происхождения и длительного осуществления. Видимо, его начало относится к той эпохе, когда единая категория имени еще не была расчленена. На более поздней стадии субстантивация прилагательного, являющаяся необходимой предпосылкой образования наречной формы, предполагала отпадение существительного, с которым согласовано прилагательное.

Для понимания хода и содержания этого процесса может оказаться небесполезным привлечение некоторых диалектных материалов. В произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка встречаются конструкции, являющиеся сочетанием качественного прилагательного с существительным *место*. Вся конструкция вполне соотносительна по своему значению и употреблению с единичным наречием на *-о*. Прилагательное в составе конструкции может иметь как краткую, так и полную формы.

Имеющиеся материалы фиксируют разные ступени процесса «оместоменивания» слова *место*, утраты им его прямого пространственного значения. Пронаминализация слова была связана с расширением сферы его сочетаемости с другими словами, с вовлечением в нее прилагательных различных номинативных значений. При этом процесс утраты конкретного первоначального значения слова *место* начинается уже в тех случаях, когда это слово в сочетании с различными прилагательными употребляется еще в своем собственном, пространственном значении. Ср.: «Не близкое место Орда, этово-тово, верст с пятьсот будет» («Три конца»); «Не близкое место: сотен на шесть верст от ближнего жилья» («Пир горой»); «Я еще даве, на плоту, тебя приметил... Неужто пешком прошла экое место?» («Три конца»); «Не на век расстаемся,— оговорила ее Парасковья Ивановна, стеснявшаяся при посторонних.— Невелико место от Крутяша до господского дома в заводе» (там же).

Наиболее ярко наречный характер конструкции проявляется при сочетании ее с глаголом — ср., например, оборот *легкое место сказать* «Легкое место сказать: весь завод бросился ловить одного Окулка» («Три конца»); «Легкое место сказать, на кого позарилась-то» (там же); «Легкое место сказать: Фотьянка... Три версты надо отмерять до Фотьянки» («Золото»); «Вон теперь сколько денег издержала опять на приданое Феклисте: легкое место вымолвить,— как в яму, так деньги и валишь» («Авва»). При употреблении без глагола предикативное значение конструкции усиливается. Ср.: «Легкое ли место, как отец-то наш тогда принял тебя... Горяч он стал больно» («Приваловские миллионы»); «Легкое ли место — такому мужчине какой-нибудь девчонки бояться!» (там же). Ср. также: «Глупое место было: мне бы бежать, а мне это даже приятно было... Ей-богу, от глупости больше!» («В болоте»).

Известная в современных диалектах, в просторечье и в старорусском языке возможность сочетаний слова *место* с существительными временного значения повела к наполнению самого слова *место* временным значением и к возникновению конструкций с различными прилагательными в сочетании со словом *место*, воспринявших это временное значение. Например: «С час места промаялся с нею» (Кохановская, После обеда в гостях); «Чтобы глазком-то его увидеть, надо с месяц места побегать» (Салтыков-Щедрин, Дневник провинциала); «Через полгода места в Глухове ярмарка» (Квитка-Основьяненко, Пан Халявский); «С неделю места я живу у вас в сеяе» (Плавильщиков, Мельник и сбитенщик соперники). Ср. и в начале XVIII в.: «Кирка, государь, надобно так сделать, чтоб она к черену была крепка: то хорошо, чтоб насада на черен, год место mocno было ею работать» (И. Посошков, Боярину Ф. Головину о ратном поведении, 1701). Такие конструкции получают возможность употребления в качестве обстоятельства времени при различных глаголах, требую-

щих в составе предложения временной конкретизации. Ср.: «Обо ждем еще мало места, а потом я сам пойду» (Мамин-Сибиряк, Золото); «— С коего места, соседушка милый, призабыла я, пономарь наш колдовать-то стал? — спрашивает одна баба другую» (Левитов, Сказка и правда)<sup>8</sup>.

Подобным же образом слово *место*, сочетаясь с различными существительными со значением количества [тысячу-места, миллион-места, на две десятины места; ср.: «В Устрицком стану дворян сотня-места, чаю, есть» (И. Посошков, Книга о скудости и богатстве, 1724)], само наполняется количественным значением и приобретает способность образовывать в сочетании с местоименным прилагательным конструкции с этим значением. Ср.: «Хлеба-то, хлеба-то экое место! — подумал Василий и тихо вздохнул» (Засодимский-Вологдин, Хроника села Смурина); «Посмотри, вчера какое место выслали народу» (Гринкова, К изучению народной основы литературного языка, из говора гор. Нолинска Пермской обл., устный доклад, 1942); «Славнецкие пироги выходят, только душице потом, как наедятся экого места» (Бажов, У старого рудника)<sup>9</sup>.

Слово *место* в сочетании с прилагательным может быть употреблено и с союзным оттенком. Ср.: «Этакой засухи старики не запомнят: яровое так и палит, словно полымем. Осимь ино место червь сгубил, ино место раньше морозы сгубили» (Гончаров, Обломов). Ср. у Григория Котошихина: «А будет по доброй его воле не учинит, и не пострижется, и он ее бьет и мучит всячески, до тех мест, что она похочет постричься сама»<sup>10</sup>.

\*

Среди существительных «с ослабленным значением» А. А. Шахматов приводил и слово *дело* (на которое в этой связи обратил внимание еще Ф. И. Буслаев): «... служебными подлежащими могут быть не только местоимения 1-го и 2-го лица, но также и имена существительные: мы находим при 3-м лице единств. и множ. такие существительные, которые настолько ослаблены в своем значении, что, так сказать, только грамматически поддерживают значение сказуемого (слова, как *человек, люди*, областное *крещенье*, слово *дело* и др.)»<sup>11</sup>. О «прономинализации» слова *дело*, «почти теряющего свое конкретное значение», говорит В. В. Виноградов<sup>12</sup>.

Наречно-предикативную функцию слово *дело* обычно принимает в сочетаниях с различными прилагательными, имеющими как полную, так и краткую формы. Ср.: «Осмотрел циркульник Марусю и крикнул... тихо про себя сказал:— Плохо дело!» (Квитка-Основьяненко, Маруся); «Чудно дело! Так и быть, стану, царь, тебе служить» (Ершов, Конек-горбунок); «Но странное дело! все эти распоряжения, заботы... не затрогивали сущности дела»<sup>13</sup> (Л. Толстой, Война и мир); «[Степан Федоров] Ну, и должен ценить. [Михайло] Да, это конечное дело» (Потехин, Чужое добро впрок не идет); «Известное дело, батюшка, мужчинское ли дело за хозяйством глядеть?»<sup>14</sup> (Трофимов, На Песках); «Чего же тут не знать? — скромно отзывается Гаврила Семеныч.— Всем известно, слава богу... Действительно, дело известное» (Мамин-Сибиряк, В последний раз);

<sup>8</sup> У А. Подвысоцкого в «Словаре областного архангельского наречия» (СПб., 1885) отмечено: «Кое место — иногда по временам. Деньжонок-то соседи сужали кое-место, а тут и верить перестали. Мезенский у.» (стр. 68).

<sup>9</sup> Указанные значения слова *место* отмечены в словаре Даля.

<sup>10</sup> В плане нашего изложения особый интерес приобретает наречие *покамест* из *по ка места*. Ср.: «И преж сего писцы мерили мордве по та места ж, покаместа ныне межа стала» («Арзамасские акты»). Ср. также у Фонвизина: «Вить, мой батюшка, пока Митрофанушка еще в недорослях, пота его и понежить» («Недоросль»).

<sup>11</sup> А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 163.

<sup>12</sup> В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 325.

<sup>13</sup> Пример интересен тем, что слово *дело* является здесь в двух функциях: в ослабленной (*странное дело*) и в прямой (*сущности дела*).

<sup>14</sup> То же.

«Штольня обвалилась, а туда приказчик со своей свитой ушел. Не шутка дело» (Бажов, Приказчиковы подошвы)— ср. «не шутка место» у Мамин-Сибиряка; «Те и думают: Пустяшное дело. Может, сама же была» (Бажов, Малахитовая шкатулка); «Машин купили пеньки дергать. А к чему они, пеньки-то? Лесу не стало? Пять вон школ завели постройкой. Легкое ли дело» (его же, Уральские были); «Нелегкое дело,— думал генерал, болезненно морщась,— в моем положении оставаться спокойным» (Казакевич, Весна на Оudere); «— Плохо дело,— думал он сосредоточенно,— совсем худо...» (Фадеев, Разгром).

Реже встречаются наречно-определятельные сочетания. Ср.: «Барин, конечно, сейчас же туда:— Что вы! Мысленное ли дело тут прожить?» (Бажов, Малахитовая шкатулка); «Возьми меня, дедо, с собой...— Что ты! Что ты! Статочное ли дело зимой по лесу маленькой девчонке ходить!» (его же, Серебряное копытце). Сочетание с прилагательным может иметь и иную падежную форму: «И то пойду, Агнюшка. Я сама догадалась, што не спроса дела приехал Лаврентий-то Тарасыч» (Мамин-Сибиряк, Пир горой).

Наречное сочетание типа современного *грешным делом* в форме твор. падежа известно уже у Котошихина: «прикинулся в болезнь нарочным делом». Ср.: «Поучил я его малым делом тогда дома, а он как расстервенится, этово-тово...» (Мамин-Сибиряк, Три конца); «...по старине, как праздничным делом стенка на стенку ходили...» (Бажов, Живинка в деле).

Иногда прилагательное отсутствует: «Алексей Степаныч просидел бы в безмолвном уединении, если б разумная старуха хозяйка не смекнула делом и не заняла гостя приличными разговорами» (Аксаков, Семейная хроника). Ср. также иные возможные сочетания с существительным: «Катя сном дела не знала, что за ней подглядывают» (Бажов, Горный мастер).

\*

Приведенный материал, видимо, оправдывает предположение о том, что наряду с возникновением наречия на -о путем непосредственной адвербиализации древнего нерасчлененного имени среднего рода имел место более поздний процесс вычленения прилагательного из сочетания со «служебным» существительным среднего рода. Реальность этого процесса подтверждается существованием в русском языке группы таких наречий, как *напропалую, всухую, вразбитную, вслепую, в плечевую, вхолостую, на боковую, всюю, ни в какую* и под., в которых четко обнаруживается форма прилагательного женского рода в вин. падеже. А. А. Потеня прямо указывал на то, что наречия этого типа возникли при опущении существительного, которое тем труднее восстанавливается, чем оно отвлеченнее<sup>15</sup>.

Впрочем одно слово не утратило еще полностью своей знаменательности и не перешло на положение «служебного», сохраняясь в сочетаниях наречного типа. Ср.: «На живую руку был сделан балаган из березовых веток» (Мамин-Сибиряк, Три конца); «Пашка Горбатый... потихоньку каждый вечер удирал к Тишке и вместе с ним веселился на кержацкую руку» (там же); «Мужик перевязал свою ногу на скорую руку» (его же, Оборотень); «Однажды под пьяную руку Тарас даже подрался с Вахрушкой» (его же, Глухая Окся); «А, слышь, бить — так почти не бивал, разве только под пьяную руку» (Н. Некрасов, В дороге).

Охарактеризованный процесс адвербиализации имени прилагательного, связанный с ослаблением знаменательности определяемого существительного и субстантивацией прилагательного, следует рассматривать в ряду многообразных явлений перераспределения семантического веса членов атрибутивного словосочетания, при котором происходит определенное переключение от представления субстанции к представлению ее признака, как бы вбирающему в себя основное содержание словосочетания.

<sup>15</sup> А. А. Потеня, указ. соч., [т.] III, гл. 3, стр. 52—54.

Ф. З. КИМ

## ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОРЕЙСКИХ ГРАФЕМ \*

Корейское алфавитное письмо создано в XV в. Ряд ученых — как корейских, так и европейских — пытались объяснить его происхождение, однако этот вопрос, явившийся предметом серьезных научных дискуссий и представляющий, несомненно, общелингвистический интерес, по сей день считается невыясненным. Настоящая статья имеет целью изложить основные положения, касающиеся построения корейских графем.

## 1

История лингвистической мысли в Корее уходит в глубь веков<sup>1</sup>, в тот период, когда в древней Корее в качестве письменности и письменного языка были приняты иероглифы и китайский письменный язык. Уже в государствах Когуре, Пякче и Силла в связи с транскрибированием исконно корейских имен, географических названий, названий военных чинов и т. п. наблюдались попытки осмыслить свою графическую систему, основанную тогда на китайской графике, и, таким образом, делались первые шаги в лингвистическом осмыслении фонетической базы корейского и китайского языков.

При записи корейских слов по системе «хянъчхаль» иероглифы большей частью использовались в качестве фонограммы и слова обозначались зачастую по открытым слогам. Появившееся впоследствии письмо «иду» использовалось для записи корейских грамматических формантов, посредством которых оформлялись китайские по происхождению слова; эти форманты могли также обозначаться и знаками «кугёль» (упрощенное письмо, подобное японскому «кана»).

Бурное развитие политической и экономической жизни Кореи в XV в. обусловило необходимость создания нового буквенно-звукового письма. Общеизвестная практика настоятельно требовала точной записи слов корейского языка. Письмо иду по существу оторвалось от живого языка; по словам корейского ученого XV в. Чон Рин Чжи, письмо иду, «основанное на иероглифах, не только неудобно, неуклюже, но и унижительно. С его помощью нельзя записать даже и одной десятичной доли слов корейского языка»<sup>2</sup>. Существенные недостатки, возникшие при использовании иероглифов для записи корейских слов, в течение многих столетий привлекали к себе внимание; не случайно поэтому, что в истории корейского языкознания особенное развитие получила именно фонетика. Появлению нового письма способствовало также то, что все более остро давала себя чувствовать и необходимость в точной передаче произношения собственно китайских иероглифов (в этих целях в XV в. были созданы дополнительные графемы). Решение вопроса о точной передаче произношения собственно китайских иероглифов стало неотложным<sup>3</sup>.

\* Некоторые положения предлагаемой статьи получили первоначальное освещение в сообщении того же автора «Создание корейского звукового письма хунмин чонъым», опубликованном в сборнике статей Института международных отношений «Вопросы филологии» (М., 1957). — *Ред.*

<sup>1</sup> См. Цой Ден Ху, Из истории языкознания в Корее, ВЯ, 1954, стр. 116—117.

<sup>2</sup> Чон Рин Чжи, Послесловие [к трактату «Хунмин чонъым хэре»], в кн.: «Хунмин чонъым», XV в., переиздание — Пхеньян, 1954.

<sup>3</sup> Интересно отметить, что в первый же год после создания алфавита — в 1445 г.

В 1444 г. был учрежден Правительственный комитет в составе ученых Чон Рин Чжи, Цой Хан, Син Сук Чу, Сон Сам Мун и др. В том же году был создан специальный приказ, ведающий корейским письмом, — «онмунчхон». «Онмун», название корейского алфавита, произошло от слов: он «просторечный, простой», мун «письменность, язык», сочетание которых означает простое письмо, не соответствующее нормам «высокий» иероглифики. Созданию письма онмун предшествовало изучение различных систем письма: тибетской, монгольской пхасба, деванагари и т. д.

Как явствует из «Анналов короля Се Чжона» и других исторических документов, 15 января 1444 г., до организации комитета и создания приказа «онмунчхон», правительство распространило документ «Хунмин чонъым» — «Объяснение народу правильного чтения (знаков корейского алфавита)», с которым связывают изобретение корейского национального письма. «Хунмин чонъым» состоит из краткого предисловия и таблицы из 28 графем с указанием — при помощи китайских иероглифов — их «чтения», т. е. произношения и правил письма. 28 графем были расположены согласно известной в то время классификации согласных, которая была заимствована из китайской фонетической науки. Впоследствии к документу был приложен трактат «Хунмин чонъым хэре» — «Комментарий к Хунмин чонъым», составленный членами комитета. Трактат преследовал цель широко объяснить не только правила нового письма, но и самую графическую структуру каждого знака, т. е. объяснить, почему, например, для обозначения звука *c* предложена графема именно такой формы, а не какой-либо иной. Форма корейских графем была основана на изображении положения органов речи, при помощи которых произносится данный звук. Имея в виду именно эту особенность нового письма, Чон Рин Чжи писал: «Изображение графемы основано на принципе древнего письма» (буквально: «подражало древнему почерку письма»)⁴, т. е. пиктограммы, суть которой сводится к приблизительному изображению на письме предмета, обозначаемого словом. «Комментарий» к алфавиту состоит из шести разделов: а) «Объяснение создания букв», б) «Анализ начальных звуков», в) «Анализ срединных звуков», г) «Анализ конечных звуков», д) «Объяснение сочетаний букв», е) «Примеры на употребление букв», ж) «Послесловие». Документ «Хунмин чонъым» и приложенный к нему трактат были широко обнародованы в 1446 г. под названием «Хунмин чонъым» [сокращенно «чонъым», что значит «правильное чтение (знаков корейского алфавита)»]. «Хунмин чонъым» было принято в качестве названия корейского национального письма. Таким образом, создание буквенно-звукового письма разрешило, наконец, противоречие между языком и письмом, имевшее место в течение многих веков.

Позже в самом «Комментарии», возможно, вполне доступном для XV в., был обнаружен ряд неясных мест, что, в свою очередь, вызывало необходимость новых обоснований в вопросе об изображении корейских графем и приводило даже к попыткам объяснить эти графемы заимствованием их из другого письма. Неясным было изображение графем, обозначающих звуки *c*, *m*, *нь* (т. е. *ŋ*), *к*, *л*, *ж*, *а*, *о*, *а*, *у*, *ё* (т. е. *ɔ*) и др., а от них зависело изображение большинства графем, которым разные авторы давали разное истолкование. Так, например, указанные графемы по-разному толковались в работах Син Гён Чжу (см. его «Комментарий к графике „Хунмин чонъым“», 1750) и Кан Хве (см. его «Анализ корей-

корейские ученые обратились к китайскому филологу Хуан Цзан (в то время проживавшему на Ляодуне) за консультацией по вопросу передачи звуков китайского языка. Результатом почти 8-летней разработки этих вопросов явился труд «Хуну чжэньюнь исюнь» («Перевод и комментарий к Хуну Чжэньюнь», 1452). См. об этом: Чон Мон Су, Хон Ги Мун, Хунмин чонъым ёкхэ (Перевод и объяснение к «Хунмин чонъым»), Пхеньян, 1949, стр. 154.

⁴ Чон Рин Чжи, указ. соч.

ских букв», 1870)<sup>5</sup>. В большинстве случаев различия в толковании корейских графем продолжают повторяться и в настоящее время (см. ниже).

Вопросу происхождения корейских букв и их истории посвящена работа Цой Хен Бэ «Исследование корейской письменности». Во многих отношениях его взгляд совпадает с точкой зрения Син Гён Чжу, в частности относительно изображения основных букв, обозначающих *ĳ*, *н*, *с*, *м*, *ж*, а также с мнением Кан Хве об изображении букв, обозначающих *нь*, *к*, *л*. Цой Хен Бэ в то же время односторонне подходит к толкованию ряда графем, обозначающих гласные звуки<sup>6</sup>.

Мнение о том, что создание корейских букв основано на схематическом изображении органов речи во время произнесения обозначаемых звуков, полностью разделял Чон Мон Су, а в настоящее время — Хон Ги Мун, Ким Бен Чже и другие ученые. Свою точку зрения они неоднократно высказывали в ряде работ и, в частности, в статье, посвященной 515-й годовщине со времени создания корейского алфавита<sup>7</sup>. В этой статье, являющейся итогом многолетней работы исследователей над трактатом «Хунмин чонъым хэре», не дается, однако, каких-либо комментариев к построениям корейских графем, вокруг которых, в частности обозначения некоторых согласных и большинства гласных, по-прежнему продолжается научная дискуссия, начавшаяся еще в XVIII в.

## 2

В основе построения букв корейского алфавитного письма лежит принцип схематического изображения положения органов речи, имеющих решающее значение при произнесении как согласных, так и гласных звуков. Создаваемые в XV в. графемы были предназначены для записи не только корейских, но и транскрипции китайских слов, поэтому при изображении букв учитывалась артикуляция звуков и того и другого языка<sup>8</sup>.

Сначала были созданы пять букв для согласных звуков, разных по артикуляционному рисунку в соответствии с местом их образования: из заднеязычных (*к*, *кх*, *г*, *нг*) был избран *к*, из язычных (*т*, *тх*, *д*, *н*) — *н*, из губных (*п*, *пх*, *б*, *м*) — *п*, из зубных (*с*, *\*с*, *ч*, *дж*, *чх*) — *с* и из гортанных (? , *х*, *\*х*, *ĳ*) — *ĳ*.

Артикуляция при произнесении указанных звуков легла в основу изображения соответствующих букв. При графическом обозначении остальных согласных использовалась и другая характеристика — степень участия шума, в зависимости от чего к основной графеме прибавляли еще черту или же видоизменяли графему определенным образом. При этом к толкованию графем и их созданию были применены существовавшие тогда философские концепции о пяти элементах, трех элементах, а также «закон *инь* и *ян*» (об этих концепциях в данной работе упоминается по мере надобности при расшифровке трактата об изображении графем).

В трактате «Хунмин чонъым хэре» сказано: «Все 28 букв письма чонъым являются изображением формы. Из них 17 букв для согласных. Буква 7 [обозначающая заднеязычный *к*]<sup>9</sup> есть изображение формы, которую имеет язык, когда его задняя часть закрывает доступ воздуха в полость рта. Буква 1 [обозначающая язычный *н*] есть изображение фор-

<sup>5</sup> Об этих работах см. в кн.: Цой Хен Бэ, Хангыль каль (Исследование корейской письменности), Сеул, 1942, стр. 364—368 и 411.

<sup>6</sup> Там же, стр. 719—720.

<sup>7</sup> «Хунмин чонъым чханъчже 515 чунёнъыл мажымё» («515-я годовщина со времени создания корейского алфавита хунмин чонъым»), журн. «Чосон омум», Пхеньян, 1959, № 1, стр. 14—25.

<sup>8</sup> Так, на основе подлинного произношения китайских слов создавались такие графемы, которые обозначали отсутствующие в корейском языке звуки, например: *з*, *д*, *б*, *дж*, *ĳ*, а также сонанты *л*, *ж*, употреблявшиеся в начальной позиции только в словах китайского происхождения, и др.

<sup>9</sup> Дополнительные разъяснения в скобках даются в целях уточнения мысли авторов трактата.

мы, которую принимает язык, упираясь в десну у верхних зубов. Буква  $\square$  [обозначающая губной  $m$ ] изображает форму рта. Буква  $\wedge$  [обозначающая зубной  $s$ ] есть изображение формы [верхних и нижних] зубов. Буква  $o$  [обозначающая гортанный  $l$ ] изображает отверстие гортани<sup>10</sup>. Таким образом, по трактату, буква  $\neg$  представляет собой линию, проведенную от кончика языка до смычки задней части языка с мягким нёбом и от нее вниз к корню языка. Она схематически изображает положение языка

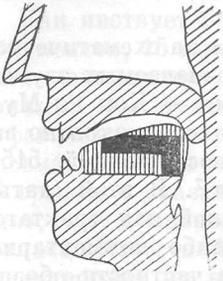


Рис. 1

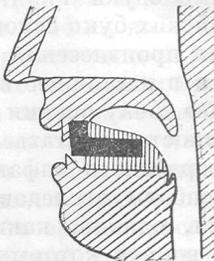


Рис. 2

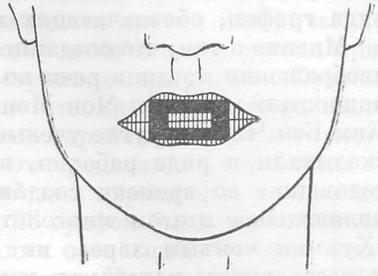


Рис. 3

при произнесении заднеязычного  $k$  (см. рис. 1). Следует отметить, что в данной букве основой является вертикальная черта, изображающая смычку задней части языка с мягким нёбом. Именно этот момент создает впечатление, будто при произнесении заднеязычных согласных коренной зуб закрывает проход воздуху. Имея это в виду, авторы трактата пишут: «Следовательно, изображение букв [обозначающих заднеязычные] было взято с формы корневых зубов»<sup>11</sup>. Это, вероятно, и послужило поводом для названия заднеязычных согласных корнезубными.

Для обозначения заднеязычного придыхательного  $kx$  к графеме  $\neg$  прибавили еще черту на том основании, что «звук  $kx$  по сравнению с звуком  $k$  более сильный, и таким образом возникла буква  $\neg$ »<sup>12</sup>. Подобным же путем создавались буквы для придыхательных и некоторых других звуков.

При произнесении переднеязычного  $n$  передняя часть языка смыкается с верхними зубами. Если провести линию по плоскости верхних зубов, а затем по направлению к корню языка, то получится рисунок  $\neg$  (см. рис. 2). В зависимости от степени участия шума к этому рисунку прибавилась дополнительная черта, и для обозначения язычного придыхательного  $nx$  —  $\neg$ .

Относительно изображения букв  $\square$ ,  $\wedge$  Чон Мон Су полагает, что они взяты из сходных по начертанию иероглифов<sup>13</sup>. Однако буква в виде четырехугольника также схематически изображает положение органов речи, в частности при сжатых губах во время произнесения губно-губного  $m$  (см. рис. 3). От этой графемы образованы видоизмененные графемы  $\neg$ ,  $\neg$ , условно соответствующие различным по качеству губным согласным и обозначающие соответственно  $n$ ,  $nx$ .

Из зубных согласных самым слабым был глухой щелевой  $s$ . «Звуки  $s$  и  $ç$  относятся к полночистым (т. е. глухим чистым. — Ф. К.), но звук  $s$  произносится слабее, чем звук  $ç$ , поэтому артикуляция при произнесении звука  $s$  стала основой для изображения графемы»<sup>14</sup>. На рис. 4 показан разрез передней части верхних и нижних зубов, которые сблизились для произнесения щелевого  $s$  и схематическое изображение которых дало букву  $\triangleright$ . Для удобства при письме кистью буква  $\triangleright$  была перевернута

<sup>10</sup> См. «Хунмин чоньым хэре», раздел «Объяснение создания букв».

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Чон Мон Су, Хон Ги Мун, указ. соч., стр. 46.

<sup>14</sup> «Хунмин чоньым хэре», раздел «Объяснение создания букв».

и таким образом была получена графема  $\lambda$ . От этой буквы образовались  $\lambda$  ( $\lambda$ ),  $\lambda$  ( $\lambda x$ ), отличающиеся друг от друга по участию шума.

Буква  $\circ$  считалась схематическим изображением гортани в виде круглого отверстия (см. рис. 5) и обозначала слабый гортанный (сонант китайского языка). К этой букве прибавили еще черту для обозначения гортанного смычного  $\text{ʔ}$ , и получилась буква  $\text{⊖}$ . В результате прибавления еще одной черты к данной букве была образована графема для гортанного приды-

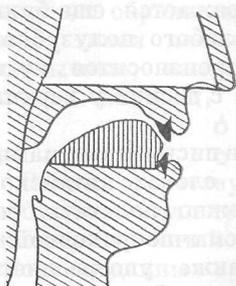


Рис. 4

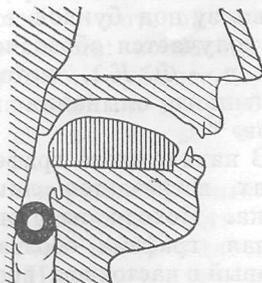


Рис. 5

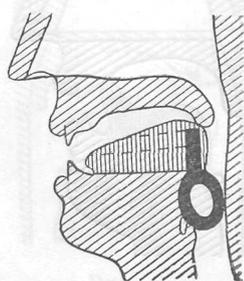


Рис. 6

хательного  $x$  —  $\text{⊖}$ . Таким образом, прибавление новой черты к каждой букве этого типа происходило в зависимости от степени участия шума.

До сих пор остается неясным, почему буквы  $\text{⊖}$ ,  $\text{⊖}$ ,  $\Delta$  имеют такое начертание. В трактате по этому поводу говорится: «Только буква  $\text{⊖}$  создана иначе. Буква  $\text{⊖}$  [обозначающая полуязычный  $l$ ] и буква  $\Delta$  [обозначающая полузубной  $ж$ ] также изображают положение языка и зубов, однако не имеет смысла создать эти буквы по-другому, добавив к ним лишнюю черту»<sup>15</sup>. «... По моим наблюдениям,— пишет Чон Мон Су, — согласный  $нъ$  — носовой, и обозначающая его графема  $\text{⊖}$  изображает очертание носа и гортани, поскольку этот согласный в начале слова произносится так же, как гортанный  $l$ »<sup>16</sup>. В трактате же «Хунмин чонъым хэре» дается следующее описание артикуляции заднеязычного сонанта  $нъ$  ( $y$ ): «Вследствие того, что проход воздуха в полость рта закрыт задней частью языка, при произнесении звука  $нъ$  воздушная струя поступает в носовую полость»<sup>17</sup>. Из этого следует, что заднеязычный сонант  $нъ$  обозначался кружком по той причине, что воздушная струя проходит через гортань в носовую полость. А что касается вертикальной черты, идущей от круглого отверстия вверх, то она была нужна не для изображения очертания носа, как утверждает Чон Мон Су, а для показа смычки задней части языка с мягким нёбом (см. рис. 6), без чего невозможно образование заднеязычного сонанта  $нъ$ . В этой связи мы не можем согласиться с утверждением Ким Чон О о том, что в букве  $\text{⊖}$  ее вертикальная черта является изображением задних корневых зубов и эта черта якобы изображена с целью не допустить смешения указанной графемы с буквой  $\text{⊖}$ <sup>18</sup>.

По поводу изображения буквы  $\text{⊖}$  Цой Хен Бэ полагает, что «в графеме показан язык, упирающийся в десну у верхних зубов; при этом изображено его колебание»<sup>19</sup>, предполагаемое при произнесении сонанта  $r$ . Это объяснение Цой Хен Бэ, однако, не соответствует характеру звуковых явлений в корейском языке XV в. Во-первых, интервокальный сонант  $r$

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> Чон Мон Су, Хон Ги Муи, указ. соч., стр. 46.

<sup>17</sup> «Хунмин чонъым хэре», раздел «Объяснение создания букв».

<sup>18</sup> Ким Чон О, Ури кыльча пончжилъгва кый пальчон панъхьянъ (Сущность корейского алфавита и его дальнейшее развитие), журн. «Чосоно ёнгу», Пхеньян, 1949, № 7, стр. 82.

<sup>19</sup> Цой Хен Бэ, указ. соч., стр. 718.

в начале слов как исконно корейских, так и слов китайского языка в XV в. не употреблялся. Этот момент очень важен, если учесть, что согласные звуки в языке XV в. устанавливались по начальной позиции в слове и артикуляция этих начальных согласных легла в основу изображения соответствующих букв. Во-вторых, в трактате «Хунмин чоньым хэре» сонант *p* рассматривается не как дрожащий звук, возникающий в результате колебания, а как сонант, произносимый со слабой выдержкой. В трактате сказано: «... внизу под буквой  $\text{ㄷ}$  изображается еще буква  $\text{ㅇ}$  и получается обозначение слабого полузубного (т. е. *p* — Ф. К.), который произносится путем временного смыкания языка с десной у верхних зубов»<sup>20</sup>.

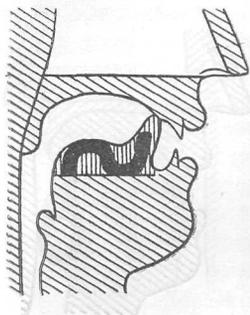


Рис. 7

В начале слога графема  $\text{ㄷ}$  в письменных памятниках встречается лишь в словах китайского языка. Исходя из этого, можно полагать, что данная графема обозначала смычнопроходной *л*, который в настоящее время также употребляется в начале китайского слова. Следовательно, изображение графемы  $\text{ㄷ}$  было установлено в соответствии с произнесением смычнопроходного *л* китайского языка, который близок корейскому *ль*, возможному в конце слова. При артикуляции смычнопроходного *л* кончик языка смыкается с передним скатом альвеол, и в этой позиции передняя часть спинки языка опущена и образует вогнутость; центральная часть спинки языка поднимается по направлению к противоположащей части нёба (на границе между твердым и мягким нёбом)<sup>21</sup>. Если изобразить эту артикуляцию линейно, то линия пойдет сверху вниз по поднятому кончику языка, затем пройдет внизу через вогнутость языка до подъема центральной части спинки языка, откуда пойдет по направлению к корню языка. Эта линия напоминает приблизительно начертание  $\text{ㄷ}$ , перевернутое для удобства при письме кистью, что дало в конечном результате графему  $\text{ㄷ}$  (см. рис. 7).

По поводу изображения графемы  $\Delta$  Цой Хен Бэ пишет: «буква  $\Delta$ , обозначающая полузубной согласный, изображает зубы в виде  $\Delta$ ; к этому изображению прибавили еще черту, закрывающую нижнюю часть буквы, чтобы показать, что эта буква читается с оттенком озвончения»<sup>22</sup>.

При таком толковании не учитывалось положение трактата, согласно которому упомянутая графема также изображает «положение языка и зубов» и «не имеет смысла создавать ее по-другому, добавив еще лишнюю черту»<sup>23</sup>. В начальной позиции эта графема употребляется лишь в словах китайского языка, например: *жил* «день», *жин* «человек»<sup>24</sup>. Следовательно, изображение графемы было установлено также в соответствии с тем, как этот звук (*ж*) произносился в китайском языке. Близким ему звуком в корейском языке был интервокальный сонант *ц*.

Полузубной *ж* в словах китайского языка произносится с активным участием кончика языка, который для образования узкой плоской щели, загибаясь немного назад, сближается с альвеолами; при этом происходит также сближение верхних и нижних зубов<sup>25</sup>. В графеме, обозначающей *ж*, схематически очерчены верхние и нижние зубы, приближающиеся друг к другу с образованием щели, в виде  $\Delta$ , как это было показано

<sup>20</sup> «Хунмин чоньым хэре», раздел «Примеры на употребление букв».

<sup>21</sup> См. об этом: И. Н. Галыцев, Фонемный состав китайского языка. Канд. диссерт., М., 1955, стр. 279.

<sup>22</sup> Цой Хен Бэ, указ. соч., стр. 718.

<sup>23</sup> «Хунмин чоньым хэре», раздел «Объяснение создания букв».

<sup>24</sup> См. перевод «Хунмин чоньым» с китайского на корейский, сделанный в XV в. (Шхеньян, 1954).

<sup>25</sup> См. об этом: И. Н. Галыцев, указ. соч., стр. 235.



буквы Цой Хен Бэ пишет: «Гласный *a* образуется в центре полости рта (?!), поэтому обозначающая его буква представляет собой изображение, которое не идет ни в горизонтальном, ни в вертикальном направлении»<sup>29</sup>. Это значит, что изображение данной буквы не основано на артикуляции органов речи, а является каким-то воображаемым элементом.

На самом же деле, поскольку язык при произнесении этого гласного значительно отодвигается назад, спинка его выгибается, образуя округ-

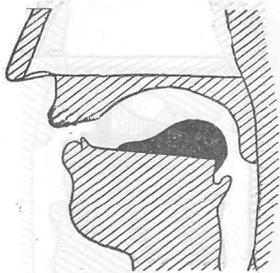


Рис. 9

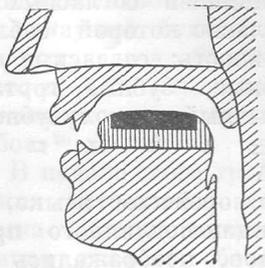


Рис. 10

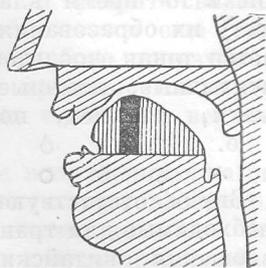


Рис. 11

ленную форму (см. рис. 9), что (для удобства при письме кистью) было изображено в виде круглой точки. Для ученых того времени было естественно сравнивать округленную форму языка с небом, которое в средние века представляли как окружность в форме купола<sup>30</sup>. «Буква — обозначает гласный *u*, — указывается в трактате. — Он (т. е. *u*. — Ф. К.) неглубокий и неблизкий, при его произнесении язык немного отодвигается. Горизонтальное положение графемы — изображение земли»<sup>31</sup>. Иначе говоря, при произнесении гласного *u* язык, незначительно отодвигаясь, принимал более или менее плоскостное положение, как это наблюдается и при современном произношении. На письме такая артикуляция языка изображалась горизонтальной чертой (см. рис. 10). С горизонтальным положением языка при этом сравнивали землю, очертания которой, в представлении средневековых ученых, совпадали с линией горизонта<sup>32</sup>.

«Буква | обозначает гласный *u*, — пишется в трактате, — он (т. е. гласный *u*. — Ф. К.) близкий, при его произнесении язык не отодвигается назад. Вертикальный вид графемы — изображение стоящего человека»<sup>33</sup>. При артикуляции гласного *u* язык, действительно, не отодвигается, наоборот, он подвинут вперед и приподнят средней частью его спинки. Вид приподнятого языка схематически изображен на письме вертикальной чертой (см. рис. 11), которую по концепции о трех элементах отождествляли с изображением стоящего человека.

Вышеупомянутые три графемы явились основными элементами построения других букв, обозначающих гласные звуки. При изображении этих букв исходили прежде всего из губной артикуляции и других данных о соответствующих гласных, в зависимости от чего в основные графемы вносились изменения и дополнения.

По губной артикуляции, гласит трактат «Хунмин чоньым хэре», «... гласные распадаются на две группы: огубленные (буквально: закрытые) и неогубленные (буквально: открытые)»<sup>34</sup>. Огубленные гласные, при артикуляции которых образуется узкое отверстие, обозначены горизонтальной чертой; неогубленные гласные, при образовании которых возникает широкое отверстие, обозначены посредством вертикальной черты.

<sup>29</sup> Цой Хен Бэ, указ. соч., стр. 719.

<sup>30</sup> См.: А. А. Петров, Ван Чун — древнекитайский материалист и просветитель, М., 1954, стр. 39.

<sup>31</sup> «Хунмин чоньым хэре», раздел «Объяснение создания букв».

<sup>32</sup> См. об этом: А. А. Петров, указ. соч., стр. 39.

<sup>33</sup> «Хунмин чоньым хэре», раздел «Объяснение создания букв».

<sup>34</sup> Там же.

По гармонии (в корейском языке она осуществлялась по признаку подъема языка) гласные в XV в. делили на две группы. К одной из них относили так называемые «светлые» гласные (*ā, a, o*), к другой — «темные» (*ы, y, ð*); обе эти группы гласных совершенно различны по артикуляции языка и губ. Их различие также отражено в изображении соответствующих букв.

В трактате содержится следующая характеристика гласного *o* и его обозначение: «Графема **o** обозначает гласный *o*. Он (гласный *o*. — Ф. К.) одинаков с гласным *ā*, но [при его произнесении] губы округляются. Изображение графемы представляет собой соединение **o** и **—**»<sup>35</sup>. Здесь важно отметить следующий момент, заключенный в фразе: «Гласный *o* одинаков с гласным *ā*»; от правильной расшифровки этой фразы зависит правильное понимание «светлых» гласных и изображение их буквами.

Син Гён Чжу, стремясь объяснить, от чего зависит постановка точки у букв, обозначающих гласные, указал, что точка ставилась над или под чертой в зависимости от выдвинутого или вогнутого положения губ. Не согласившись с этим доводом, Цой Хен Бэ исходит при артикуляции соответствующих гласных из направления воздушной струи: «При произнесении гласного *o*... воздушная струя выходит наружу, ударяясь о мягкое небо. Поэтому точка ставится над чертой»<sup>36</sup>. И далее: «При произнесении гласного *y* воздушная струя, наоборот, как бы возвращается, ударяясь о твердое небо»<sup>37</sup>, поэтому точка ставится под чертой. Таким же путем ученый истолковал остальные буквы. Следует, однако, отметить, что при произнесении этих гласных «возвращения» воздушной струи как бы обратно в полость рта не наблюдается. Кривое движение воздушной струи, возможное при преодолении препятствия, без специальных экспериментальных приборов настолько трудно ощутимо, что вряд ли оно может служить веским мотивом для характеристики гласных.

Нет сомнения, что по своему акустическому впечатлению гласные *o* и *ā* не имеют ничего общего. Но с точки зрения гармонии гласных и артикуляции эти гласные могут быть сравнимы. Так, в корейском языке XV в. эти гласные одинаковым образом подчиняются гармонии; на примерах *нанхоа* «разделяя», *почхэда* «капризничать»<sup>38</sup> можно видеть, как гласные *ā, o, a* одинаково подчиняются закону гармонии гласных. С точки зрения артикуляции перечисленные гласные можно сравнивать по степени подъема языка; так, при произнесении гласных *a, o* подъем языка почти одинаков, как это показывает исследование фонетики современного корейского языка. Стало быть, положение языка для «светлых» гласных *a, o* в XV в. было таким же, как и при произнесении *ā*; положение же языка при произнесении «темных» гласных, которые противопоставлялись «светлым», разумеется, было иным, — т. е. таким, как при произнесении *ы*. Для обозначения «светлых» гласных (*ā, a, o*) точка ставилась над чертой или же направо от нее, как об этом пишется в трактате; при обозначении «темных» гласных точка ставилась под чертой или же налево от нее. Это убедительно показано в трактате при характеристике других гласных.

Таким образом, при обозначении гласного *o* горизонтальная черта использована потому, что при его артикуляции губы образуют узкое отверстие; круглая точка ставится над чертой, поскольку гласный *o* по закону гармонии относится к «светлым» гласным.

«Графема **o** обозначает гласный *a*. Он (*a*) одинаков с гласным *ā*, но рот открыт. Изображение графемы представляет соединение **|** и **•**»<sup>39</sup>. Это значит, что гласный *a* как неогубленный (раствор губ относительно

<sup>35</sup> Там же.

<sup>36</sup> Цой Хен Бэ, указ. соч., стр. 719—720.

<sup>37</sup> Там же.

<sup>38</sup> Примеры заимствованы из работы: Л ю Ч х а н С о н, Коо рехэ (Комментарий с примерами слов древнекорейского языка), журн. «Чосоно ёнгу», 1949, № 3, стр. 150; № 6, стр. 189.

<sup>39</sup> «Хунмин чонгым хэре», раздел «Объяснение создания букв».

широк) обозначался вертикальной чертой; точку же ставили на правой стороне от черты, так как гласный *a* относится к «светлым» гласным.

«Графема  $\overline{\cdot}$  обозначает гласный *y*. Он (*y*) одинаков с гласным *y*, но губы округляются. Изображение графемы представляет соединение — и  $\bullet$ »<sup>40</sup>. При произнесении гласного *y* губы образуют узкое отверстие и немного выдвинуты вперед, поэтому для обозначения этого гласного как огубленного звука взята горизонтальная черта, и под ней поставили точку по той причине, что гласный *y*, будучи по «закону *инь* и *ян*» противопоставлен огубленному *o*, по гармонии относится к «темным» гласным.

«Графема  $\bullet|$  обозначает гласный  $\delta$ . Он ( $\delta$ ) одинаков с гласным *y*, но рот открывается. Изображение графемы представляет соединение  $\bullet$  и  $|$ »<sup>41</sup>. Для обозначения гласного  $\delta$  применена вертикальная черта, потому что гласный  $\delta$  — неогубленный; точка ставилась налево от вертикальной черты, поскольку гласный  $\delta$  по «закону *инь* и *ян*» противопоставлялся неогубленному *a* и по гармонии относился к группе «темных» гласных.

При обозначении йотированных гласных также учитывали их звуковое качество. Йотирование гласного отмечалось дополнительным кружком. «Графема  $\ddot{\cdot}$  обозначает гласный  $\epsilon$ . Он ( $\epsilon$ ) одинаков с гласным *o*, но произносится с гласным *y*»<sup>42</sup>. Это значит, что гласный  $\epsilon$  по своей акустико-артикуляционной природе близок к гласному *o*, поэтому для его изображения взяли за основу графему  $\underline{\cdot}$ , обозначающую гласный *o*, а йотирование отметили дополнительной круглой точкой, в результате получилась графема  $\ddot{\cdot}$ . Гласный *я* по слуховому впечатлению близок к гласному *a*, поэтому к графеме  $|\bullet$ , обозначающей гласный *a*, прибавили еще точку, и получилась графема  $|\bullet\cdot$ . Так образовались и остальные графемы для йотированных гласных: *y* изображается как  $\overline{\cdot}$ ,  $y\delta$  — как  $|\bullet\cdot$ .

Алфавитный порядок графем, обозначающих гласные, также был установлен по определенному принципу, согласно которому учитывались не только фонетические явления (в частности, закон гармонии гласных, монофтонги и йотированные гласные), но и концепция о трех элементах. «Три элемента (*небо, земля, человек*. — Ф. К.), — указывалось в трактате, — возникли раньше всех вещей; *небо* явилось началом трех элементов, поэтому впереди всех графем стоят три:  $\bullet$  —  $|$ , а в самом начале — графема  $\bullet$ »<sup>43</sup>. Иначе говоря, в соответствии с законом гармонии гласных алфавит начинается с графемы, обозначающей «светлый» гласный, затем идет графема, обозначающая «темный», третья буква алфавита изображает нейтральный гласный (*u*). В таком же порядке идут остальные графемы, обозначающие монофтонги *o*, *a* («светлые» гласные), затем монофтонги *y*,  $\delta$  («темные» гласные). После них следуют буквы, обозначающие йотированные гласные: сначала «светлые» гласные  $\epsilon$ , *я*, потом — «темные» гласные *y*,  $y\delta$ . Порядок графем, обозначающих гласные, таков:  $\bullet$  —  $|$  —  $\underline{\cdot}$  —  $\overline{\cdot}$  —  $\bullet|$  —  $\ddot{\cdot}$  —  $|\bullet\cdot$  —  $|\bullet$  —  $\overline{\cdot}$  —  $|\bullet\cdot$ .

Истолкование порядка расположения графем для обозначения гласных в том смысле, что они располагаются по принципу от простого к сложному и что графемы для обозначения гласных, которые произносятся «при узкой полости рта», предшествуют графемам, обозначающим гласные, произносимые «с расширением полости рта», как утверждает Чон Мон Су<sup>44</sup>, нам кажется мало соответствующим положению трактата по этому вопросу.

На основе созданных графем обозначались сочетания гласных. Нисходящие дифтонги: *ай*  $\cdot|$ , *ай*  $||$ , *ой*  $\underline{\cdot}|$ , *уй*  $\overline{\cdot}|$ , *ой*  $\bullet|$ , *уй*  $\bullet|$ ; восходящие дифтонги: *оа*  $\underline{\cdot}\bullet$ , *уо*  $\overline{\cdot}\bullet$ ; трифтонги: *оай*  $\underline{\cdot}\bullet|$ , *уой*  $\overline{\cdot}\bullet|$  и т. д.

В тех случаях, когда слово или отдельный слог слова произносятся с долгим, кратким и нейтральным гласными, на письме они сопровождаются

<sup>40</sup> Там же.

<sup>41</sup> Там же.

<sup>42</sup> Там же.

<sup>43</sup> Там же.

<sup>44</sup> Чон Мон Су, Хон Ги Мун, указ. соч., стр. 51.

соответственно разным количеством точек. Слово с долгим гласным сопровождалось двумя точками, с кратким — писалось без точки, с нейтральным сопровождалось одной точкой. Долгие гласные, наблюдавшиеся в языке XV в., сохранились в современном языке и произносятся с такой же длительностью, какая была им присуща в XV в.; например: *ма:ль* «слово, речь»; *пõ:м* «тигр». На письме слова с долгим гласным изображались, как *말* *ма:ль*; с кратким, как *ㅁ* *пõ*; с нейтральным, как *ㅁ* *мо·с*.

При письме кистью в начертания отдельных графем были внесены изменения, в результате чего вместо круглой точки стали писать черточку (например, 一 вместо , 丨 вместо ) , вместо  стали пользоваться . Некоторые графемы вообще перестали употребляться в связи с исчезновением обозначаемых ими звуков, например Δ (*ш*), • (*а*) и др.

Мало изучен вопрос о расположении корейских букв на письме; обычно исследователи этому вопросу не уделяют внимания. Однако он имеет важное значение, будучи тесно связан с учением о слове в китайском языке. В Корее это учение имело силу в связи с транскрибированием китайских слов, равных слогу, который рассматривался китайскими учеными того времени как реальная фонетическая единица языка<sup>45</sup>. Расположение букв по слогам построено именно на основе этого представления о слове. Буквы должны быть сгруппированы и представлять на письме неразложимый знак, подобно слову, выражающему отрезок речи. Эта графическая структура подчинена целям точной транскрипции различных звуков любого слога и вместе с тем дает возможность легко образовывать комбинированные знаки для обозначения совокупности различных аспектов слова, в частности количества различных звуков и голоса. Такое расположение букв на письме не свойственно ни кириллическому, ни латинскому, ни древнемонгольскому, ни другим алфавитам, в которых буква обозначает звук. Итак, значащий слог (или слово), по мнению авторов трактата, на письме должно состоять из компонентов трех позиций (начальной, срединной и конечной), и письменный знак, таким образом, представляет собой лишь обозначение звуков этих позиций<sup>46</sup>. Из звуков трех позиций, по мысли авторов, наиболее «важным является гласный, который, соединяясь с начальным и конечным звуками, образует значащий слог»<sup>47</sup>. Это значит, что вокруг букв, обозначающих гласные, должны сгруппироваться графемы для обозначения согласных. Последние пишутся, гласит трактат, над или под горизонтальной буквой, обозначающей гласный, например  (*ку·н*);  (*ку:м*); или же пишутся на левой стороне от вертикальной буквы, обозначающей гласный, либо под ней, например  (*кан*),  (*ка·к*) и т. д. Такой комбинированный знак имеет общее с иероглифами, «призванными обозначать слово». Как в иероглифе, так и в комбинированном корейском знаке совокупность разных начертаний выступает как неразложимый знак, в то же время обозначающий слог.

Так было создано в XV в. корейское алфавитное письмо. Его графемы, качественно отличающиеся от иероглифов, просты и легки в написании. Каждая графема четко отличается от другой и точно обозначает отдельный звук, поэтому корейское алфавитное письмо называют буквенно-звуковым. Графическая система алфавита, совершенно самобытная, была стройной и глубоко логичной. Этот алфавит, основанный на принципе схематического изображения положения органов речи, возник, можно сказать, на подлинно научной основе и свидетельствовал о высоком уровне исследования фонетики корейского языка и глубине анализа важнейших вопросов языкознания, как они трактовались в XV в. Создание этого алфавита

<sup>45</sup> О взглядах древнекитайских ученых на слово см.: Н. И. К о н р а д, О национальной традиции в китайском языкознании, ВЯ, 1959, № 6, стр. 21.

<sup>46</sup> «Хунмин чонъым хэре», раздел «Объяснение сочетаний букв».

<sup>47</sup> Там же, раздел «Объяснение создания букв».

в условиях господства иероглифики и ориентации господствующих кругов феодальной Кореи на китайскую культуру означало целую революцию в корейской письменности.

## 3

Корейское алфавитное письмо в течение долгого времени являлось предметом серьезных научных дискуссий. Учеными разных стран, и ранее других — корейскими, были выдвинуты различные гипотезы и теории заимствования корейского алфавита у других народов. Как известно, концепцию происхождения корейского алфавита от санскрита предложили Хван Юн Сок (XVIII в.), Ли Нын Хва (XIX в.), Канадзава (начало XX в.), Х. А. Джайлз и Дж. Скотт<sup>48</sup>; концепцию тибетского происхождения выдвинули Л. де Росни, Г. фон Габеленц и Дж. Хулберт<sup>49</sup>. На роль монгольского письма пхасба в создании корейского алфавита указывали Лю Хый и Э. Р. Хоуп<sup>50</sup>; гипотезу о китайском происхождении онмуна предложили Ли Док Му и Дж. С. Гэйл<sup>51</sup>; предположение о том, что корейский алфавит произошел от арамейского письма, принадлежит Дж. Едкинсу и Ж. Вандриесу<sup>52</sup>; мысль о его происхождении от древнеиндусского письма пали высказывали Ф. Берже<sup>53</sup> и др.

Следует отметить, что авторы всех этих гипотез не имели возможности должным образом использовать те памятники корейского письма, которые в свое время были обнародованы в Корее и Японии. При этом метод исследования, которым руководствовались указанные ученые, отличался односторонностью: в основу его был положен принцип сопоставления различных систем письменности без учета их истории; нередко для выдвигания «новой» гипотезы о заимствованном характере корейской письменности исследователям достаточно было обнаружить сходство знаков независимо от того, является ли это сходство случайным или исторически обусловленным. Естественно, что подобные гипотезы не могли быть плодотворными, поскольку при этом не учитывалось, что возникновение корейского алфавита кровно связано с развитием культуры средневековой Кореи и поскольку ученым был неизвестен тот факт, что письмо онмун, изобретение которого принадлежит исключительно корейскому народу, было основано на принципе изображения артикуляции органов речи. Ошибочность различных гипотез и теорий заимствования корейского письма ясно выявляется при изучении трактата «Хунмин чоньг хэре», проливающего свет на происхождение корейского алфавитного письма.

<sup>48</sup> Х ван Ю н С ок, Унхак повон (Основа рифм) (см. о нем: Ц ой Х ен Бэ, указ. соч., стр. 685); Ли Нын Х ва, Чосон пультгэ тхонхэа (История буддизма в Корее, (там же, стр. 687); Канадзава С ёдза бур о, Тесэнго ницугитэ (О корейском языке) (там же, стр. 688); Н. А. G i l e s, A Chinese-English dictionary, б. м., 1892; J. S c o t t, Sanscrit in Korea, «The Korean repository», vol. IV, № 3, Seoul, 1897.

<sup>49</sup> L. d e R o s n y, Aperçu de la langue coréene, «Journal asiatique», № 3, 1864; G. v o n G a b e l e n t z, Zur Beurteilung des koreanischen Schrift- und Lautwesens, «Sitzungsberichte der Königl. Preussischen Akad. der Wissenschaften zu Berlin», Bd. XXIII, 1892; Н. В. H u l b e r t, The Korean alphabet, «The Korean repository», vol. 1, № 1, 3, Seoul, 1892.

<sup>50</sup> Лю Х ы й, Онмунчжи (Описание письма онмуна), б. м., 1824; E. R. H o p e, Letter shapes in Korean Onmun and Mongol hPhagspa alphabets, «Oriens», vol. 10, № 1, 1957, стр. 150—151.

<sup>51</sup> Ли Док Му, Чхонсаньгван чонсо (Книги библиотеки Чхонсан), XVIII в. (см. Ц ой Х ен Бэ, указ. соч., стр. 685); J. S. G a l e, The Korean alphabet, «Transactions of the Korean branch of the Royal Asiatic society», vol. IV, pt. I, 1912.

<sup>52</sup> J. E d k i n s, Korean writing, «The Korean repository», vol. IV, № 8, Seoul, 1897; Ж. В а н д р и е с, Язык, М., 1937, стр. 295.

<sup>53</sup> M. P h. B e r g e r, Histoire de l'écriture dans l'antiquité, Paris, 1891, стр. 243—244.

Э. Р. ТЕНИШЕВ

## ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД САЛАРСКИМ ЯЗЫКОМ

(О влиянии китайского языка на саларский)

Салар или салыр — так называет себя народность, живущая в некоторых районах западных провинций Китайской Народной Республики (Циньхай, Ганьсу и Синьцзян). Общая численность саларов в КНР немногим превышает 30 тыс. человек (по сведениям 1958 г.). Основная масса саларского населения сосредоточена в автономном уезде Сюньхуа со столицей Цзи-ши; уезд был создан 24 февраля 1954 г., в него входит территория по правому берегу р. Хуан-хэ в горной части провинции Циньхай.

Название «салар» само по себе, независимо от языка и истории его носителей, может в известной мере указать путь к установлению происхождения саларской народности. Этот путь ведет нас далеко на запад — к туркменам, у которых существует родовое подразделение, именующееся салор или салыр. Как известно, салоры — одно из древнейших огузских племен. Махмуд Кашгарский (XI в.) упоминает их под именем «салгур», представляющим наиболее старую форму этого родового названия (вспомним, что в древних тюркских языках в ряде случаев в позиции между согласным и гласным присутствовал звук *э*, впоследствии исчезнувший). Рашид ад-дин (XIV в.) называет племя салор (салур) и относит его к левому крылу огузского войска учук. Хивинский историк Абульгази (XVII в.), посвятивший туркменам специальное сочинение, много внимания уделил салорам (или салырам); он приводит легенды, свидетельствующие о глубокой древности их происхождения<sup>1</sup>.

В период до освобождения Китая салары провинции Циньхай делились на двенадцать (затем на восемь) внутренних гунов<sup>2</sup>, составляющих ныне уезд Сюньхуа, и пять внешних гунов, которые входят в уезд Хуалун, расположенный по левому берегу р. Хуанхэ. Деление на гуны удержалось в сознании саларов до настоящего времени. Ближайшим образом это напоминает деление на «внутренних» и «внешних» саларов у туркмен.

На мысль о том, что салары не являются аборигенами края, а пришли сюда с запада, наводит характер земледельческой культуры саларов и тот факт, что они исповедуют ислам суннитского направления. В китайских династийных хрониках речь о саларах идет неоднократно; первые известия относятся к началу эпохи Мин (1368—1644)<sup>3</sup>. Но официальные источники не содержат какого-либо указания на происхождение саларов. Верную нить в решении этого вопроса (помимо языка, конечно) дают передаваемые изустно легенды саларов (*salarnigi lişi*), рассказывающие о том, как предки саларов, Караман и Ахман, переселились из Самарканда в Циньхай. Различные эпизоды и детали при этом варьируются, и только дату поселения саларов в провинции Циньхай — 1370 г. — все легенды пере-

<sup>1</sup> Сводку и анализ сведений о салырах, имеющих в источниках, см.: В. В. Б а р т о л ь д, Очерк истории туркменского народа, [сб.] «Туркмения», т. I, Л., 1929, стр. 30, 34 и сл.; см. также: «Enzyklopaedie des Islām», Bd. IV, Leiden—Leipzig, 1934, стр. 127—128.

<sup>2</sup> Как полагают, *гун* является соответствием кит. *цзюнь* («область».)

<sup>3</sup> См. «Генеалогию Хэчжоу», т. IV, стр. 23 (на кит. яз.).

дают согласно. Эти предания, в основе которых, несомненно, лежит исторический факт, вместе с другими сведениями, имеющимися в распоряжении науки, представляют ценный источник по древней истории саларов.

Итак, салары КНР — осколок старейшего огузского племени саларов, одна часть которого вошла в состав туркменского народа, а другая, как показывают данные топонимики, растворилась в массе тюркоязычных народов юго-западной группы<sup>4</sup>; третья же часть этого племени почти шестьсот лет назад двинулась на восток, достигла Китая и поселилась на берегах Хуанхэ, в соседстве с китайским и тибетским народами. В постоянном общении и взаимодействии с китайским и тибетским народами салары сформировались в самостоятельную народность.

Язык саларов, не будучи тождествен ни одному из языков юго-западной группы, среди тюркских языков занимает особое место<sup>5</sup>. Изучен саларский язык очень мало: в конце прошлого века небольшие записи саларских слов и отдельных фраз сделали исследователи Г. Н. Потанин, В. Ладыгин и В. В. Рокхил (последний дает саларские слова в сопоставлении с соответствующими турецкими)<sup>6</sup>. Из языковедов-тюркологов первым посетил саларов С. Е. Малов осенью 1910 г. и сделал записи образцов их речи<sup>7</sup>. Материалы, собранные С. Е. Маловым, пока еще не изданы.

Планомерный сбор материалов по саларскому языку и изучение его ведется силами Института языков нацменьшинств АН КНР с начала 1957 г. В 1958 г. сотрудники Института Линь Лянь-юнь и салар Хань Цзинь-е (Кериму) написали первое исследование по грамматике саларского языка. Летом 1957 г. во время поездки к саларам мною записаны в транскрипции исторические предания, сказки, песни, разговорная речь саларов; некоторые жанры фольклора как образец живой речи записаны на магнитную пленку. Кроме того, обнаружены две рукописные саларские книги, написанные арабским шрифтом и относящиеся примерно к XVII—XVIII вв. Надо сказать, что в настоящее время салары арабской письменностью не пользуются; в качестве литературного языка принят китайский язык, на котором ведется также преподавание в школах автономного уезда, делопроизводство и пр.

Саларский язык чрезвычайно интересен своими особенностями в области фонетики, грамматики и лексики. Большое влияние на саларский язык оказал язык окружающего китайского населения (цинхайский диалект). Поэтому учет китайского влияния совершенно необходим для понимания редкого своеобразия саларского языка<sup>8</sup>. Тема *sinico-turcica*, предложенная китаистом В. П. Васильевым<sup>9</sup>, нашла отклик у В. И. Нов-

<sup>4</sup> См. об этом: Вл. Гордлевский, Государство сельджукидов Малой Азии, М.—Л., 1941, стр. 45.

<sup>5</sup> См. С. Малов, Изучение живых турецких наречий Западного Китая, [сб.] «Восточные записки», т. I, Л., 1927.

<sup>6</sup> Г. Н. Потанин, Тангутско-тибетская окраина Китая и Центральная Монголия, СПб., 1893, т. I — стр. 173—174, т. II — стр. 426—434; Ф. Поярков, В. Ладыгин, Салары, «Этнографическое обозрение», кн. XVI, № 1, М., 1893, стр. 32—36; W. W. Rosskill, Diary of a journey through Mongolia and Tibet in 1891 and 1892, Washington, 1894, стр. 373—376.

<sup>7</sup> См. об этом: С. Е. Малов, Отчет о путешествии к уйгурам и саларам, «Изв. Русск. комитета для изучения Средней и Восточной Азии», Серия II, № 1, СПб., 1912, стр. 98.

<sup>8</sup> Вопрос о взаимном влиянии языков является, как известно, одним из сложнейших вопросов теоретического языкознания. В области алтаистики здесь назовем: Б. Владимирцов, О двух смешанных языках Западной Монголии, «Яфетический сборник», II, Пг., 1923; J. Németh, Zur Kenntnis der Mischsprachen (Das doppelte Sprachsystem des Osmanischen), «Acta linguistica», t. III, fasc. 1—2, Budapest, 1953; K. H. Schönfelder, Probleme der Völker- und Sprachmischung, Halle (Saale), 1956, и др.

<sup>9</sup> В. Васильев, Об отношениях китайского языка к среднеазиатским, ЖМНП, 1872, сентябрь.

городского<sup>10</sup> и вызвала отдельные наблюдения и замечания немногих ученых (С. Е. Малов, Н. А. Баскаков и др.).

Не касаясь общих представлений и взглядов о взаимоотношениях языков, в рамках небольшой статьи хочу обратить внимание специалистов на некоторые факты саларского языка, представляющие интерес как для изучения вопроса китайско-тюркского языкового взаимодействия, так и для общей теории взаимодействия языков.

## 1

О влиянии китайского языка на саларский свидетельствуют некоторые характерные особенности саларской фонетики.

В систему согласных саларского языка входят пары звуков  $c - c'$  и  $z - z'$ . Первая пара представляет собою переднеязычные аффрикаты со смычным началом и щелевым концом:  $c$  [ср. кит. *ts*] и  $c'$  [ср. кит. *ts'*]<sup>11</sup>. Вторая пара представляет собой смычно-щелевые среднеязычные аффрикаты:  $z$  (ср. кит. *tʃ*) и  $z'$  (ср. кит. *tʃ'*)<sup>12</sup>. Согласные  $c, z$  принадлежат к ряду слабых глухих или полувзвонких:  $ts \sim tʃ, tʃ \sim tʃ'$ . В отличие от них  $c'$  и  $z'$  — всегда сильные глухие, произносящиеся с придыханием.

Обе пары звуков в саларском языке надо рассматривать как нечто связанное с изменениями смычных  $t$  и  $d$  в определенных фонетических условиях<sup>13</sup>.

1. Переход  $t(d) > c'(c)$  наблюдается в говоре саларов, проживающих на востоке автономного уезда Сюньхуа (за исключением селения Мылта), в следующих позициях:

а) в позиции перед узкими гласными заднего ряда  $\text{ə}, u$ , например, *ocən* (<\**odən*) «дрова», *χācətə* (< араб. *χatəmə*) — женское имя, *c'ucəp* (<\**tutəp*) «схватив», *acəp* (<\**atəp*) «выстрелив», *sac* (<\**satəp*) «продав», *o'ncəp* (<\**o'inatəp*) «заставив играть»;

б) в позиции между узким гласным и сонорным согласным, например: *arcə* (<\**art + ə*) «задняя сторона; потом», *atc'ə* (<\**attə*) «шесть», *incə* (<\**indi*) «теперь»;

в) в конечном слоге, в частности в аффиксах прошедшего времени, например: *az'əχcə* (<\**ačəqtə*) «проголодался», *čuičə* (<\**čuidə*) «оставил», *aparčə* (<\**apardə*) «унес», *sorcə* (<\**sordə*) «спросил», *sacə* (< *satcə* <\**sattə*) «продал».

В некоторых случаях  $t$  сохраняется и при указанных выше условиях. Слова, где в указанных позициях  $t$  сохраняется, весьма редки и почти всегда имеют варианты с аффрикатой  $c$ : *otən/ocən* «дрова», *atəp/acəp* «выстрелив», *qatən* «женщина».

Смычный  $t$  в закрытом слоге с широкой гласной заднего ряда не изменяется: *ton* «одежда, шуба», *oht* «огонь», *tamna-* «доставлять»; *taŋgun* «глиняный сосуд».

2. Палатализованный  $t(d)$  переходит в смычно-щелевые среднеязычные аффрикаты  $z'(z)$  в говоре саларов, проживающих в восточной части автономного уезда, в следующих позициях:

а) в положении, когда рассматриваемому согласному предшествует или следует за ним один из гласных переднего ряда —  $i$  или  $y$ : *ziken* (<\**diken*)

<sup>10</sup> В. И. Новгородский, Китайские элементы в уйгурском языке, [М.], 1951.

<sup>11</sup> Описание соответствующих звуков китайского языка см.: А. А. Драгунова и Е. Н. Драгунова, Структура слова в китайском национальном языке, «Сов. востоковедение», 1955, № 1, стр. 61.

<sup>12</sup> О смычно-щелевых в китайском языке см.: И. Н. Гальцев, Фонемный состав китайского языка. Автореф. канд. диссерт., М., 1955, стр. 14.

<sup>13</sup> Ср. замечания Л. В. Щербы о том, что «русские смягченные, или мягкие, *ть, дь...* оказываются на самом деле не только смягченными, но и сильно качественно измененными: *ть, дь* приближаются слегка к *ць, дзь*» (Л. В. Щерба, Фонетика французского языка, М., 1948, стр. 95).

«колючка», *zil* (<\*dil) «язык», *z'yuzyn* (<\*tytyn) «дым», *z'yne* (<\*tyne) «низ, нижний», *izip* (<\*etp) «делая»;

б) в конечном слоге с узкими гласными переднего ряда, в частности в показателях прошедшего времени, например: *jyrzi* (<\*jyrdi) «ходил, двигался», *verzi* (<\*verdi) «дал», *kelzi* (<\*keldi) «пришел», *janzi* (<\*jandi) «вернулся», *paštazi* (<\*paštadi) «возглавил», *jašazi* (<\*jašadi) «молвил, сказал», *saxtaze* (<\*saxtadi) «сохранил, сберег», *daynezi* (<\*daynedi) «стал (кем-то)», *pilmizsi* (<\*pilmidi) «не знал».

В составе слога с широкими гласными переднего ряда смычный *t* сохраняется неизменным: *termen* «мельница», *temiř* «железо», *tehlli* «сладкий, вкусный», *tøht* «четыре». В отдельных случаях *t* не изменяется и перед узкими гласными того же ряда: *tix-/zix-* «саять, шить», *tır/zir* «кожа», *ti-* «говорить», *tif* «зуб», *ētisa* «завтра».

3. В говорах саларов, проживающих на западе автономного уезда, переход патализованного *t(d)* в *z'(ž)* осуществляется в следующих условиях:

а) в случае, когда *t(d)* находится в окружении узких гласных; *jizi* (<\*jidi) «семь», *ozin* (\*odən) «дрова», *z'uz-/z'ut-* (<\*tut-) «держать», *øzip* (<\*øtip) «накрывая»;

б) в позиции между одним из сонорных, с одной стороны, и узким гласным, с другой: *alz'i* (<\*altə) «шесть», *āzina* (<aržina <\*artəna) «назад», *inzi* (<\*indi) «теперь»;

в) в конечном слоге, в частности в показателе прошедшего времени: *ałz'i* (<\*ałti) «открыл», *qałz'i* (<\*qałti) «убежал», *tīzsi* (<\*tīdi) «сказал», *sałtazi* (<\*sałtadi) «толкнул», *inzi* (<\*indi) «вошел, проник», *səjinzsi* (<\*səjindi) «обрадовался», *kelzi* (<\*keldi) «пришел».

В позиции перед широкими гласными указанный переход смычного *t* не происходит: *jiriginta* «в своем сердце», *toŋ-* «замерзать», *køten* «каша», *erten* «раньше», *teř-* «бить».

Употребление в говорах западной части уезда в описанных случаях *z'(ž)* вместо *t(d)*, а в говорах восточной части — *z'(ž)* и *c'(c)* в тех же случаях обусловило чередование *c'(c) / z'(ž)*; это чередование проявляется в существовании вариантов одного и того же слова, например: *ozin/ocən* «дрова», *alz'i/atca* «шесть», *z'ut-/c'ut-* «держать», *inzi/inca* «теперь».

Таким образом, в языке саларов употребление смычного *t(d)* в позиции перед или в окружении узких гласных приводит к изменению его качества. Причем при наличии гласных заднего ряда *t(d)* может переходить и в *c'(c)*, и в *z'(ž)*, а при наличии гласных переднего ряда — только в *z'(ž)*.

В речи жителей района, находящегося на запад от Цзи-ши, и в селении Мынта (крайний северо-восток уезда) *t(d)* во всех позициях полностью перешли в *z'(ž)*, что следует объяснить позиционным смягчением узких гласных заднего ряда *ə, u*.

Этот фонетический процесс, который можно назвать «аффрикатизацией» смычных зубных, состоит из следующих звуковых переходов: для говоров восточного района *t(d) > c'(c) > z'(ž)*; для говоров западного района — *t(d) > z'(ž)*. Трудно сказать, когда эти звуковые переходы появились в саларском языке.

В старых саларских книгах в отмеченных позициях зафиксировано употребление только смычных *t* и *d*: *tutur* (Ibadet) «будет держать», *tutmař kerak* (там же) «надо держать», *tyrlyk* (там же) «разный», *janšadə* (Qissa-i qurban abdas) «молвил», *berdi* (там же) «дал». При чтении, однако, салары вместо смычных зубных в позиции перед или в окружении узких гласных, как правило, произносят соответствующие аффрикаты. Звуки *t* и *d* в указанных позициях спорадически можно слышать в речи саларов, получивших мусульманское образование (независимо от их возраста), и, таким образом, можно полагать,

что эти звуки сохранились в языке определенной группы искусственно, в то время как народный язык их давно утратил.

Из рассмотренных аффрикат в других тюркских языках (за пределами КНР) встречается только *c*; ср., например, в языке чулымских татар, где А. П. Дульзон установил два вида *c* — глухой (*ts*) и звонкий (*dz*)<sup>14</sup>. Кроме того, звук *c(u)* есть в западном диалекте языка татар Поволжья, а также в речи барабинских, тобольских, тюменских татар и луцких караимов, т. е. в сфере кыпчакских языков.

Интересно отметить, что в языке мишарей при условии соседства гласных переднего ряда зафиксированы следующие чередования:  $\acute{c}'//c'//t'$  и  $t'//c'$ <sup>15</sup>. Чередование  $t//c$  наблюдается и в языке тюменских татар<sup>16</sup>.

Таким образом, чередование  $t//c$  свойственно ряду кыпчакских языков. Поскольку салары в период их жизни в районе Самарканда соприкасались с кыпчакской языковой стихией, то можно предполагать, что в саларском языке переход  $t > c$  возник под кыпчакским влиянием.

Однако этого нельзя предположить в отношении переходов  $t > c'$  и  $t(d) > \acute{z}'(\acute{z})$ , так как звуки  $c'$ ,  $\acute{z}'$  и  $\acute{z}$  не свойственны тюркским языкам, исключая те, которые распространены на территории Китая и, следовательно, испытывают влияние китайского языка. Аффрикаты  $c'$ ,  $\acute{z}'$  и  $\acute{z}$  — звуки, присущие именно китайскому языку, и в саларский язык они могли войти только из китайского. Интересно отметить еще одно обстоятельство. В китайском языке согласные в окружении переднеязычных узких гласных произносятся всегда твердо. Поэтому смягченные  $d$  и  $t$  в заимствованных из других языков словах в китайском произношении звучат как артикуляционно близкие этим звукам переднеязычные аффрикаты  $\acute{z}(t\acute{c})$  и  $\acute{z}'(t\acute{c}')$ <sup>17</sup>. Аналогичное явление стало иметь место и в саларском — палатализованные  $d$  и  $t$  в саларских словах стали произноситься как  $\acute{z}$  и  $\acute{z}'$ ; таким образом, отмеченное явление — характерная черта фонетики китайского языка — развилось в фонетическое правило саларской речи.

Надо полагать, что и переход  $t > c$ , если он и имел место раньше в саларском языке, закрепился по аналогии с действующим в китайском языке переходом  $t > \acute{z}'$ . Если о влиянии кыпчакских языков в этом случае можно говорить лишь предположительно, то факт влияния китайского языка на саларский и в отношении этого перехода совершенно ясен.

Таким образом, влияние китайского языка глубоко проникло в структуру саларского языка: вместе с китайскими словами были не только восприняты отдельные звуки, но был усвоен и сам процесс переходов палатализованных смычных зубных в аффрикаты, реальный для говорящих по-китайски<sup>18</sup>.

## 2

В лексику саларского языка в большом количестве вошли заимствованные слова. Слов арабского и персидского происхождения сравнительно немного: вытесняемые китайскими заимствованиями, многие из

<sup>14</sup> А. П. Дульзон, Чулымские татары и их язык, «Уч. зап. [Томск. гос. пед. ин-та]», т. IX, 1952, стр. 154—155.

<sup>15</sup> Р. Ф. Шакирова, Фонетические особенности говора татар Краснооктябрьского района Горьковской области (мишарский диалект), сб. «Материалы по диалектологии», Казань, 1955, стр. 115 и 132.

<sup>16</sup> Д. Г. Тумашева, Некоторые фонетические особенности тюменского диалекта татарского языка, сб. «Материалы по диалектологии», стр. 165.

<sup>17</sup> За консультацией по вопросам фонетики китайского языка автор приносит свою благодарность проф. Н. Н. Короткову.

<sup>18</sup> Ср. аналогичный случай, когда «сербская языковая тенденция использовала в своих интересах османские языковые процессы дивергенции» (Н. К. Дмитриев, Этюды по сербско-турецкому языковому взаимодействию, II, «Докл. АН СССР», [Серия В], № 12, 1928, стр. 268 и сл.)

них стоят на пути превращения в историзмы. Много в саларском языке заимствований из тибетского, относящихся к различным сторонам быта; это свидетельствует о давности связей саларов с тибетцами, на языке которых говорят многие салары.

Но больше всего в саларском языке китайских слов. Салары почти все (может быть, кроме некоторых пожилых женщин) хорошо знают китайский язык. Многие китайские слова в потоке саларской речи воспроизводятся почти всегда точно так, как они звучат в самом китайском языке. Лексические заимствования из китайского относятся к самым различным сторонам жизни народа. Приведем некоторые из этих заимствований, распределив их на семантические группы.

1. Термины, связанные с понятием государства: *kuə* «государство», *kuət'u* «территория», *lauci* (цинхайск.; ср. кит. лит. *zuntue*) «армия», *palakozì* «стража» и др.

2. Административная терминология: *çantşay*//*çentşay* «начальник уезда», *mişu* «секретарь», *çjaŋtşay* «начальник волости», *şatşay* «председатель кооператива», *z'ytşay* «начальник района», *tujtşay* «начальник отряда» и т. д.

3. Термины, относящиеся к науке и культуре: *lişi* «история», *şi* «книга», *loşi* «учитель», *tşay* «лист бумаги»; *çin* «письмо», *tjenxua* «телефон»; *fiži* «самолет», *zitş'ə* «машина» и т. п.

4. Термины родства и брачных отношений: *tumu* «родители», *çançin* «предки», *aji*, *aku* «тетя», *z'inz'i* «родственники», *azu* «дядя»; *kəkə* «старший брат», *sunci* «внук», *qafu* «вдова», *ljanh'o* «супруги», *tafay* «первая жена» и т. д.

5. Слова, относящиеся к повседневному быту: *kaotşuə* «стол», *sejtao* (< *tsejtao*) «нож для овощей», *z'atşuy* «чайная чашка», *tiŋzir* «наперсток», *utşo* «рукавицы», *tanxanter* «легкая куртка», *can* (< *tsantsi*) «шпилька», *tanxe* «легкая обувь», *sopu* (< *ts'upu*) «простая материя», *tənci* «маленькие весы», *cançi* «чашка», *z'etao* «нож», *tjeci* «тарелка», *z'axu* «чайник»; *z'uto* «мотыга», *ziuan* «кирпич», *tş'uantay* «красный сахар», *mant'o* «пампушка» и т. д.

Значительное число саларских глаголов образовано от китайских основ (иногда фонетически измененных) при помощи глаголообразующего аффикса *-la/-na-*: *çayna-* (от кит. *çan*) «мыслить», *paŋla-* (от кит. *paŋ*) «помогать», *zula-* (от кит. *zu*) «спасать», *zanna-* (от кит. *tşən*) «заработать», *k'ola-* (от кит. *k'o*) «сдать экзамен», *kola-* (от кит. *ko*) «делать, создавать», *faŋla-* (от кит. *faŋ*) «изменяться», *tuala-* (от кит. *tuan*) «порываться», *p'ula-* (от кит. *pu*) «складывать» и многие другие.

Воздействие китайского языка на саларский не ограничивается лексикой и звуковой стороной этого языка, но захватывает и область грамматического строя саларского языка. Обширная тема влияния китайского языка на саларский в области морфологии и синтаксиса явится предметом специального исследования этого сильно смешанного языка, в котором слились элементы многих родственных и неродственных языков.

Ч. Х. БАКАЕВ

К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТНОМ И ОБЪЕКТНОМ СПРЯЖЕНИИ  
ПЕРЕХОДНОГО ГЛАГОЛА В КУРДСКОМ ЯЗЫКЕ

Известно, что в курдском языке (курманджи) переходный глагол спрягается иначе, чем в некоторых родственных ему иранских языках (например, в персидском, таджикском, осетинском, памирских и т. д.), имея в то же время некоторые общие черты с конструкцией переходного глагола в других иранских (например, в талышском, афганском), а также в некоторых иберийско-кавказских языках (грузинском, сванском, абхазском и др.). Языковеды-иранисты давно уже обратили внимание на особенности спряжения переходного глагола в курдском языке<sup>1</sup>.

В современном курдском языке сказуемое — переходный глагол в настоящем и будущем временах — согласуется в лице и числе с подлежащим — субъектом действия (впредь будем условно именовать: субъект). При этом субъект действия всегда ставится в прямом падеже, а прямое дополнение — объект действия (впредь именуем: объект) — в косвенном падеже. Например: *Кэч'ьк к'ьтебе дьхунэ* «Девушка читает книгу», где *кэч'ьк* — прямой падеж (ср. косвенный падеж — *кэч'ьке*), *к'ьтебе* — косвенный падеж (ср. прямой падеж — *к'ьтеб, -е* — формант косвенного падежа ед. числа), *дь-* — префикс наст. времени, *хун-* — основа наст. времени, *-э* — окончание 3-го лица ед. числа; *Кэч'ьк к'ьтеба дьхунэ* «Девушка читает книги», где *к'ьтеба* — косвенный падеж мн. числа (показатель косвенного падежа мн. числа — *-а*), сказуемое же осталось без изменения, так как глагол, как и в первом примере, согласован с субъектом. Следовательно, изменение числа объекта не вызывает изменений в глаголе. Но изменение числа субъекта изменяет глагольную форму в отношении числа. В примере: *Кэч'ькед мэ к'ьтебе двхуньн* «Наши девушки читают книгу», субъект *кэч'ьк* оформлен изафетным показателем мн. числа *-ед* (последний соотнесен с местоимением 1-го лица мн. числа *мэ*), а объект *к'ьтебе* оформлен показателем косвенного падежа ед. числа *-е*, глагол поставлен во мн. числе, выраженном суффиксом *-ьн*. Таким образом, сказуемое и в данном случае согласовано с субъектом. Следовательно, в настоящем и будущем временах глагол согласуется с субъектом, но не с объектом. Эта система спряжения в курдском языке называется субъектным спряжением переходного глагола. Данное правило распространяется и на случаи, где субъект выражен личным местоимением, например, *эз тэ [wi, wэ, (э)wan(a)] дьшиньм* «Я отправлю тебя [его, вас, их]». Согласование сказуемого с субъектом выражено в глаголе окончанием 1-го лица ед. числа *-ьм*.

В прошедших временах переходный глагол обычно согласуется в лице и числе с прямым объектом, но не субъектом; при этом субъект ставится

<sup>1</sup> См. например: R. F. Jardine, *Bahdinan Kurmanji. A grammar of the Kurmanji...*, Baghdad, 1922, стр. 28—30; Б. В. Миллер, О полистадиальности иранских языков, сб. «XLV академику Н. Я. Марру, [Академия наук СССР]», М.—Л., 1935, стр. 307—319; Б. В. Миллер, Талышский язык, М., 1953; Q. К'ордо, Грамматика зьмане корманжи йа корт, Ереван, 1949; К. К. Курдоев, Грамматика курдского языка (курманджи). Фонетика, морфология, М.—Л., 1957; И. И. Цукерман, Очерки курдской грамматики, [сб.] «Иранские языки», II, М.—Л., 1950, стр. 81—99; Ч. Х. Бакаев, Краткий очерк грамматики курдского языка, в кн.: «Курдско-русский словарь», сост. Ч. Х. Бакаев, М., 1957, стр. 574—575.

всегда в косвенном падеже, а объект — в прямом падеже. Рассмотрим примеры: *Кэч'эке к'этеб хвэнд* «Девушка читала книгу», где субъект *кэч'эке* — косвенный падеж ед. числа, объект *к'этеб* — прямой падеж ед. числа, глагол *хвэнд* в форме 3-го лица (та же форма употребляется для 1-го и 2-го лиц) ед. числа; *Кэч'эке пениц к'этеб хвэндьн* «Девушка читала пять книг», где субъект остался без изменения — *кэч'эке*, объект же изменился в отношении числа — мн. число в данном случае выражено числительным *пениц* «пять», в соответствии с этим сказуемое также изменилось в отношении числа — мн. число в глаголе выражено окончанием 3-го лица (та же форма употребляется и для 1-го и 2-го лиц) мн. числа *-ьн*. Значит, изменение сказуемого в числе зависит от изменения числа объекта. Следовательно, переходный глагол в прошедших временах согласуется с объектом, но не с субъектом. Эта система спряжения называется объектным спряжением переходного глагола. Подобным же образом происходит согласование глагола с объектом, выраженным личным местоимением, например: *мын [(э)ши, мэ, (э)ван (а)] т'о шанди* «Я [он, мы, они] отправил тебя», где согласование глагола с объектом выражается окончанием 2-го лица ед. числа *-и*.

В структуре объектного спряжения возможны, однако, отклонения, когда переходный глагол в прошедших временах может согласоваться с субъектом; при этом субъект ставится (как и при объектном спряжении) в косвенном падеже, а объект — в прямом падеже. Например, наряду с обычной конструкцией объектного спряжения *Шьвана бэрхэж фьрот* «Пастухи продали одного ягненка» встречается и субъектная конструкция спряжения *Шьвана бэрхэж фьротьн* «Пастухи продали ягненка». Эти оба предложения отличаются только тем, что в первом предложении глагол находится в ед. числе, а во втором — во мн. числе, которое выражено суффиксом *-ьн*. В обоих предложениях субъект *шьван + а* находится в косвенном падеже мн. числа, а объект *бэрх + эж* стоит в прямом падеже ед. числа (*-эж* — артикль неопределенности-единичности). Итак, в первом примере глагол согласован с объектом (объектное спряжение), а во втором — с субъектом (субъектное спряжение); это серьезное отклонение от обычной конструкции переходного глагола в прошедших временах.

Ниже остановимся на некоторых новых фактах, проливающих свет на развитие соотношения между субъектным и объектным типами спряжения переходного глагола. При исследовании говора курдов Туркмении<sup>2</sup> выяснилось, что наряду с отмеченными выше нарушениями объектной конструкции имеются и другие отклонения, которые сводятся к следующему.

1. Встречаются случаи, когда при переходных глаголах в прошедших временах ставится в косвенном падеже не только субъект, но и объект. При этом глагол согласуется не с объектом (как следовало бы ожидать при обычной конструкции объектного спряжения), а с субъектом. Примеры: *Шамале к'оме мын авьтэ харде. Г'оран ши т'икэ-т'икэ кьрьн* «Ветер сбросил вниз мою шапку. Волки разорвали ее на куски», где субъект *г'оран* — в косв. пад. мн. числа (формант косв. пад. мн. числа *-ан*), объект *ши* — местоимение 3-го лица ед. числа в косвенном падеже (ср. прямой падеж *эш*), глагол согласован с субъектом и поставлен во мн. числе (формант мн. числа *-ьн*); *Ван бьзьне жэ ч'але вэрхьстьн* «Они вытащили козу из ямы», где субъект *ван* — местоимение 3-го лица мн. числа в косвенном падеже (ср. прямой падеж *эш*), объект *бьзьн* — в косвенном падеже ед. числа (формант косвенного падежа ед. числа *-е*), глагол согласован с субъектом и поставлен во мн. числе (формант

<sup>2</sup> Сведения о говоре курдов Туркмении имеются в двух следующих работах: W. I v a n o w, Notes on Khorasani Kurdish, «Journal and proceedings of the Asiatic society of Bengal», New series, vol. XXIII (1927), № 1, Calcutta, 1929; В. С. С о к о л о в а, Очерки по фонетике иранских языков, I, М.—Л., 1953, стр. 78 и сл.

мн. числа -ын); *Бъзъне ши ди, гот: «Һә, бьро, тә лә бьни ши ч'ала чь к'арь дэки?»* «Коза увидела его и спросила: „Эй, братец, что ты делаешь на дне этой ямы?“», где субъект *бъзъне* и объект *ши* поставлены в косвенном падеже ед. числа (ср. прямой падеж *бъзън* и *эш*), глаголы *ди, гот* согласованы с субъектом и поставлены в ед. числе; *Незък шу къ шахе дер бьшке шә әз бьк'атама жер шә гөран мьн бьк'арана* «Немного осталось, [до того], чтобы сломалась ветвь дерева, я упал бы вниз и волки бы съели меня», где субъект *гөран* — в косвенном падеже мн. числа (ср. прямой падеж *гөр*), объект *мьн* — в косвенном падеже ед. числа (ср. прямой падеж *әз*), глагол согласован с субъектом и находится в форме сослагательного наклонения мн. числа (формант мн. числа -ана).

2. Встречаются случаи, когда при переходных глаголах в прошедших временах субъект ставится в прямом падеже (вместо косвенного падежа, характерного для обычной объектной конструкции переходного глагола), а объект, в отличие от обычной прямой формы, ставится в косвенном падеже. При этом глагол согласуется, как и в первом случае, не с объектом (как следовало бы ожидать согласно обычной конструкции объектного спряжения), а с субъектом. Примеры: *Сә мьн п'әйда кьр, һатә ба мьн* «Собака нашла меня и подошла ко мне», где субъект *сә* — в прямом падеже ед. числа (ср. косвенный падеж *се*), объект *мьн* представляет собой местоимение 1-го лица ед. числа в косвенном падеже (ср. прямой падеж *әз*), глагол согласован с субъектом, имея форму 3-го лица ед. числа; *Жьньк манган жә т'амле шәрхьст* «Женщина вывела коров из хлева», где субъект *жьньк* стоит в прямом падеже ед. числа, объект *манган* — в косвенном падеже мн. числа, глагол согласован с субъектом, имея форму ед. числа; *Т'ацьр дьрев дайә жьньке* «Купец дал женщине денег», где субъект *т'ацьр* — в прямом падеже ед. числа, объект *дьрев* — в косвенном падеже мн. числа (ср. прямой падеж *дьрав*), глагол в форме перфекта и согласован с субъектом.

3. Весьма любопытным фактом нарушения объектного спряжения является тот случай, когда переходный глагол в прошедшем времени имеет личное окончание 1-го лица ед. числа, также согласуясь не с объектом, а с субъектом, выраженным местоимением 1-го лица ед. числа в косвенном падеже. Характерным для предложений этого типа, как показывают примеры, является то, что переходному глаголу, оформленному личным окончанием 1-го лица ед. числа, обычно предшествует другое сказуемое, выраженное переходным глаголом, который ставится в неличной форме и который согласуется с субъектом только в отношении числа. Таким образом, согласование этих глаголов с субъектом происходит по-разному: глагол в неличной форме согласуется только по числу, а глагол в личной форме — по лицу и числу. (В весьма редких случаях личная форма глагола, которая согласуется с субъектом, выраженным местоимением 1-го лица ед. числа, бывает употреблена несмотря на отсутствие неличной формы глагола в предложении.) Примеры: *Мьн лә гәпәдә ши гө дагьрт шә х'ә шә х'әр'а дәготьл: «Гәпәдә шийа р'астьн»* «Я слушал его слова и сам себе говорил: „Его слова правильны“»; *Вәхта һатьмә х'ә, мьн ди, къ сьвәйә. Мьн дәкьрә ч'ьр'ь, к'омәг дәх'астьл* «Эмма к'әс нәдәһатә к'омәге мьн» «Когда я пришел в себя, я увидел, что утро. Я кричал (и) просил о помощи. Но никто не приходил мне на помощь»; *Қаре мьн жә к'әнине шан хьзана һат шә шанр'а готьл* «Я разозлился на смех этих ребят и сказал им»; *Мьн жә тьрсе щане х'ә шахе дер мәккәм гьртьшу шә лә гөран т'әмашә дәкьрьл* «Я со страху крепко уцепился всем телом за дерево и смотрел на волков»; *Р'астә әз п'әрһиз шум, әмма мьн һиве т'әзә ди шә п'әрһизе х'ә вьһенандьл* «Точно я соблюдал пост, но я увидел новолуние и нарушил свой пост»; *Әз гәрмь листьке бирдән тьштәк нәрм лә дәсте мьн к'әт. Лә шийа мьн жә шуңе х'ә базда шә т'әмашә кьрьл* «Я был в разгаре игры, вдруг что-то мягкое ударило меня по руке. Тут я выпрыгнул с места и стал

смотреть»; *Мън к'оме х'э һълани вэ р'у лэ вана вшарэ къръм вэ готъм* «Я снял свою шапку, показал им и сказал»; *Мън жэ ши ава вэж'аръмэ, мина гайэк чаг' шумэ* «Япил эту воду (и), как бык, разжирел», и т. д.

4. Не менее любопытным фактом нарушения объектного спряжения является и случай, когда переходный глагол в прошедшем времени, приобретая личное окончание, следует за непереходным глаголом, который также имеет личное окончание, и, таким образом, оба эти глагола согласуются в лице с субъектом, выраженным местоимением 1-го лица ед. числа в прямом падеже: *Әз чумэ ханийе дьн вэ вэ х'эр'а хьйал къръм* «Я пошел в другое помещение и стал думать про себя»; *Вэхта кь эз щаһил шум, лэ заводе механикийе к'ар дэкръм* «Когда я был молодой, я работал на механическом заводе»; *Әмма эз вэхта кь жэ хэве р'адэвум, дэдим, кь дийе мън хелэк вэхта сэмашаре ар кьрийэ вэ чай һазьрэ* «Но когда я просыпался, я видел, что прошло много времени [с тех пор], как моя мать поставила самовар, и чай готов», и т. д.

5. Отметим также случаи, когда субъект и объект в предложении отсутствуют, однако переходный глагол в прошедшем времени все же имеет личное окончание 1-го лица ед. числа. В подобных предложениях, таким образом, представляется невозможным определить падеж субъекта и объекта, а также число объекта, так как субъект и объект, как выяснилось из предыдущего разбора, могут оказаться соответственно в прямом падеже и в косвенном падеже. Кроме того, объект может быть в единственном и множественном числе. Как форма глагола, так и контекст показывают, однако, с ясностью, что в функции пропущенного субъекта выступает личное местоимение 1-го лица ед. числа. Например: *Про вэштэ нэкръм к'ар кьм, чьмакь жьне мън нах'ашэ вэ лэ мал к'эс т'өннэ хьзин дагьр* «Сегодня я не мог работать, так как моя жена болеет, и дома нет никого, чтобы следить за ребенком»; *Гэман дэкръм, кь лэ ве дэжъръм вэ т'ө к'эс жэ мън хэвэрдар навь* «Я думал, что тут умру и никто обо мне не узнает».

Предварительно можно сделать следующие выводы.

1. Структура объектного спряжения в курдском языке претерпела некоторые существенные изменения. В литературном курдском языке этих изменений сравнительно меньше, чем в разговорном языке, и особенно в говорах.

2. Степень указанных изменений различна в отдельных говорах курдского языка. В говорах курдов Армении и курдов Турции, например, эти изменения отмечаются по линии согласования глагола с субъектом в числе, в говоре курдов Туркмении и Хорасана, например, изменения происходят по линии согласования глагола с субъектом в лице и числе, а также путем уподобления падежа объекта падежу субъекта. Могут, повидимому, существовать и другие случаи аналогичных изменений.

3. Отмеченные выше изменения в структуре объектного спряжения переходного глагола в прошедших временах развиваются в таком направлении, что в известной мере приближают систему объектного спряжения к системе субъектного спряжения. Однако нет оснований предполагать, что в курдском языке система объектного спряжения постепенно исчезнет и уступит свое место системе субъектного спряжения.

В специальной литературе иногда употребляется термин «пассивная конструкция». Использование этого термина в применении к описанному явлению не является правомрным по следующим причинам: во-первых, в курдском пассивная конструкция передается описательным путем с привлечением специфического вспомогательного глагола, например: *Ва ханийа бь дэсти мън һатийэ чекърьне* «Этот дом построен мною (буквально: моими руками)»; во-вторых, при объектном спряжении переходного глагола несмотря на то, что субъект действия передается формой косвенного падежа, глагол-сказуемое выражает активное действие.

## ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Г. Г. БЕЛОНОВ, В. И. ГРИГОРЬЕВ, Р. Г. КОТОВ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕКСИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ  
СООБЩЕНИЙ

Язык является эффективным средством общения между людьми. Без языка невозможно существование общества. Однако язык не смог бы справиться с задачами общения, выдвигаемыми условиями жизни современного общества, если бы ему на помощь не пришли такие средства связи, как телеграф, телефон и радио. Современные средства проводной и радиосвязи неограниченно расширяют возможности языка, обеспечивая передачу речевых сообщений на большие расстояния с малой задержкой во времени. Однако на сооружение и эксплуатацию линий связи расходуется значительные средства, а поэтому задача повышения эффективности существующих в нашей стране линий связи имеет большое народнохозяйственное значение. В последнее время в связи с развитием теории информации открылись новые возможности повышения эффективности средств связи за счет использования структуры самого речевого сообщения. Такую возможность предоставляет, в частности, автоматическое лексическое кодирование телеграфных сообщений.

Лексическое кодирование сообщений состоит в замене буквенного состава слов и стандартных словосочетаний либо более короткими кодовыми комбинациями (например, порядковыми номерами слов по словарю), либо условными обозначениями из нескольких букв, которые однозначно приписываются словам и словосочетаниям в принятом лексическом коде. Принцип лексического кодирования известен с давних пор. Он применяется в различного рода переговорных таблицах, в международном радиокode и в других случаях. Так, в международном радиокode все слова и целые фразы кодируются комбинациями из пяти букв латинского алфавита. Ясно, что при таком способе кодирования объем сообщения резко сокращается. Следовательно, за единицу времени по каналу связи может быть передано большее число сообщений, т. е. канал связи используется более эффективно. Однако до сих пор лексические коды не получили большого распространения, так как кодировать сообщение приходилось вручную, что связано с большими затратами труда и времени.

В настоящее время в связи с развитием вычислительной техники появилась возможность автоматизации процесса лексического кодирования и широкого его внедрения в технику связи. Возможность сокращения объема речевого сообщения методом автоматического лексического кодирования определяется большой избыточностью языкового кода. Знаками языкового кода служат комбинации из ограниченного числа элементов — фонем в устной речи, букв в письменной речи. В среднем слово телеграфного сообщения на русском языке состоит из 8 букв, которые выбираются из алфавита, включающего 32 буквы<sup>1</sup>.

Если попытаться составить все возможные комбинации из букв русского алфавита по 8 букв в каждой, то можно получить громадное количество комбинаций, которое приближенно выражается числом с 13 нулями. Эти громадные комбинаторные возможности языкового кода используются лишь в очень малой степени. Большая часть всех возможных комбинаций в языке не имеют значения, т. е. не являются словами. Так, в русском языке есть слово *стол*, но другие возможные четырехбуквенные комбинации из этих же букв (*слот, солт, сотл, тосл, тсол* и т. д.) не являются словами. При более экономичном использовании комбинационных возможностей нужное для языка количество разных слов можно было бы получить, применяя комбинации по крайней мере в два раза меньшей длины.

Вторым источником избыточности является неравномерное статистическое распределение слов в тексте. В языке есть общераспространенные слова, которые заполняют большую часть текста, и есть слова, которые употребляются весьма и весьма редко. По данным специальных исследований<sup>2</sup>, статистическое распределение слов в тек-

<sup>1</sup> В телеграфном коде *ъ* и *ь* передаются одной комбинацией, *ё* не включается в алфавит, но зато в качестве отдельной буквы в алфавит включается пробел между словами.

<sup>2</sup> P. Guiraud, Les caractères statistiques du vocabulaire. Essai de méthodologie, Paris, 1954.

ете для основных европейских языков характеризуется следующими цифрами: если расположить слова в порядке убывающей частоты их повторения, то первые 100 слов заполняют 59% текста, первые 1000 слов заполняют 85% текста и первые 4000 слов — 97,5% текста. Далее следуют 20—30 тысяч редко употребляемых слов, которые в совокупности заполняют только 2,5% текста. Проведенный подсчет слов в русских текстах общей протяженностью в 30 000 слов подтверждает эти данные. Всего в обследованных текстах встретилось 2 897 разных слов. Из них первые 100 слов заполняют 50,7% текста, первые 500 слов — 78,9% текста, первые 1000 слов — 89,6% текста. Такая неравномерность распределения слов в тексте предоставляет дополнительные возможности сокращения средней длины слова за счет приписывания более употребительным словам более коротких кодовых комбинаций. Подобная тенденция наблюдается и в языке, где слова с большой частотой повторения в тексте состоят в среднем из меньшего числа букв, чем слова малоупотребительные. Однако эта тенденция в языке проводится далеко не последовательно.

В теории информации разработан метод вычисления избыточности кода, вытекающей из накладываемых на него комбинационных и статистических, точнее, вероятностных ограничений. Этот метод основан на сопоставлении потенциальной информационной емкости кода, определяемой общим числом возможных для данного кода комбинаций и, следовательно, числом возможных объектов кодирования, и действительными возможностями кода как средства передачи информации в условиях наличия комбинационных и вероятностных ограничений. Число возможных комбинаций кода выражается формулой  $N = k^n$ , где  $k$  — основание (число разных элементов) кода и  $n$  — длина кодовой комбинации. В теории информации информационную емкость кодов принято измерять эквивалентной длиной комбинаций двоичного кода, способного охватить всю совокупность возможных для данного кода объектов кодирования. Если обозначить эквивалентную длину комбинации двоичного кода через  $m$ , то по условию  $2^m = N$ , откуда  $m = \log_2 N = \log_2 k^n = n \log_2 k$ . Последняя формула определяет число элементов двоичного кода, которое требуется для того, чтобы получить количество двоичных кодовых комбинаций, равное количеству всех комбинаций, возможных для данного кода. Низшая единица этого двоичного масштабного кода — двоичный элемент — служит мерой информации и называется двоичной единицей информации. Таким образом, определяя эквивалентную длину комбинации в двоичном коде, мы одновременно узнаем, какое максимальное количество информации  $I_0$  может быть передано комбинацией длиной в  $n$  элементов, выбранных из  $k$  элементов нашего кода. Ясно, что, поделив это количество информации на число элементов в комбинации, можно легко определить и максимальное количество информации  $I'_0$ , приходящееся на один элемент кода:

$$I'_0 = \frac{I_0}{n} = \frac{n \log k}{n} = \log_2 k.$$

Таким образом, максимальное количество информации, приходящееся на элемент кода с основанием в  $k$  элементов, равно двоичному логарифму от основания кода. Основанием кода телеграфного сообщения на русском языке является алфавит русского языка, включающий 32 буквы. Следовательно, максимальное количество информации, приходящееся на букву телеграфного сообщения, равно  $\log_2 32 = 5$  двоичным единицам.

Фактическое количество информации, передаваемое комбинацией кода, определяется формулой:

$$I = (p_1 \log p_1 + p_2 \log p_2 + p_3 \log p_3 + \dots + p_N \log p_N).$$

В этой формуле  $p_1, p_2, p_3, \dots, p_N$  — вероятности соответственно первой, второй, третьей и т. д. комбинаций из общего числа  $N$  комбинаций кода.

В сокращенном виде эта формула может быть записана следующим образом:

$$I = - \sum_{i=1}^N p_i \log p_i.$$

Здесь  $\Sigma$  — знак суммирования, а индексы 1 и  $N$  показывают, что суммирование должно производиться по всем комбинациям от первой до  $N$ -ой включительно. Соответственно,  $i = 1, 2, 3, \dots, N$ . Смысл этой формулы можно кратко пояснить следующим образом: как было показано выше, потенциальная информационная емкость кода определяется как  $\log N$ . Но  $\log N = - \log \frac{1}{N}$ . Величина же  $\frac{1}{N}$  есть не что иное, как

вероятность появления в сообщении отдельной комбинации кода  $p_0$ , состоящего из  $N$  комбинаций, в случае, когда все комбинации кода равно возможны и применяются в сообщении одинаково часто. Таким образом, и выражение  $\log N$ , и выражение  $-\log \frac{1}{N} = -\log p_0$  в одинаковой мере определяют количество информации, передаваемое комбинацией кода. При наличии вероятностных ограничений вероятности отдельных комбинаций кода будут различными. Следовательно, различным будет и количество информации, передаваемое этими комбинациями. При этом чем меньше вероят-

ность комбинации, тем больше двоичных элементов потребуется для ее перекодирования в масштабный двоичный код, тем больше двоичных единиц информации содержится в комбинации. Произведение  $-p_i \log p_i$  учитывает удельный вес  $i$ -ой комбинации в сообщении, закодированном данным кодом, а сумма этих произведений для всех комбинаций кода дает нам среднее удельное количество информации, передаваемое комбинацией кода. Следует отметить, что формула  $I = -\sum_1^N p_i \log p_i$  учитывает также и комбинационные ограничения, накладываемые на код, так как вероятности появления невозможных для кода комбинаций равны нулю и члены  $-p_i \log p_i$ , соответствующие невозможным комбинациям, из суммы автоматически выпадают.

Если применить изложенный метод расчета к языку, используя вместо вероятностей относительные частоты повторения слов в тексте (которые с достаточной степенью приближения могут быть приравнены вероятностям), то окажется, что фактическое количество информации, приходящееся на букву текста, намного меньше приведенного выше значения для максимально возможного количества информации, равного 5 двоичным единицам. В частности, в обследованных текстах протяженностью в 30 000 слов на букву текста приходится всего 1,422 двоичных единиц информации. Избыточность кода  $R$  определяется относительной разностью значений максимально возможного и фактического количества информации, приходящегося на элемент кода,

$$R = \frac{I_0 - I'}{I_0} = 1 - \frac{I'}{I_0},$$

и в нашем случае равна  $1 - \frac{1,422}{5} = 0,716$ , или 71,6%. Полученное значение избы-

точности в какой-то мере позволяет оценить теоретический предел сокращения объема сообщения, которого можно ожидать от перевода телеграфной связи с побуквенного кода на лексический. Очевидно, что при избыточности более 70% сокращение объема сообщения в 3 раза является вполне реальной задачей. При этом следует иметь в виду, что при подсчете избыточности учитывалось только статистическое распределение слов в тексте и совершенно не учитывались статистические связи между словами (стандартные словосочетания), которые увеличивают избыточность языка.

Лексическое кодирование сообщений может осуществляться универсальной электронной вычислительной машиной. Для этого необходимо ввести в запоминающее устройство машины словарь кодируемых слов и словосочетаний и задать машине программу лексического кодирования. Однако во многих практических случаях более целесообразным является применение специального кодирующего устройства, которое будет достаточно простым и в принципе может быть выполнено в виде отдельной приставки к существующей телеграфной аппаратуре. Эта кодирующая приставка в основном должна состоять из запоминающего устройства, сравнивающего устройства, блока управления, входного и выходного устройств.

Словарь для запоминающего устройства должен составляться с учетом статистической структуры языка. Из приведенных статистических данных следует, что закладывать в словарь все слова, которые только могут встретиться в тексте, нецелесообразно. Для обеспечения значительного сокращения объема телеграфного сообщения достаточно будет заложить в словарь запоминающего устройства лишь наиболее часто встречающиеся слова, заполняющие основную часть передаваемых текстов. В таком случае слова, не включенные в запоминающее устройство, будут передаваться побуквенно в обычном телеграфном коде или иным способом. С учетом условий двоичного кода объем словаря может составлять 1000 слов (85% текста), 2000 слов (92% текста) или 4000 слов (97,5% текста). Словарь в 4000 слов, очевидно, является тем разумным пределом, дальше которого идти уже не имеет смысла. При объеме словаря в 4000 слов побуквенно потребуется передавать только 2,5% слов текста. Приведенная оценка возможного объема словаря основана на данных о статистическом распределении слов в общелитературном тексте. Однако не подлежит сомнению, что словарь телеграфных сообщений гораздо беднее словаря литературных текстов. Поэтому после соответствующей статистической обработки реальных телеграфных сообщений можно установить более выгодные значения для объема словаря кодирующего устройства.

Определенные трудности для лексического кодирования вытекают из того факта, что слова в тексте не остаются неизменными, а выступают в различных формах склонения и спряжения. Один из способов преодоления этих трудностей состоит в том, чтобы слова в запоминающее устройство закладывать во всех статистически значимых формах. При этом требуемая емкость памяти увеличивается; однако это увеличение не будет чрезмерным, поскольку не все формы слова употребляются одинаково часто. Например, для русского литературного языка окончания именительного падежа составляют около 30% всех падежных окончаний текста, а количество окончаний творительного падежа не превышает 0,5%<sup>3</sup>. По имеющимся литературным данным, общее количество словоформ примерно лишь в два раза превышает количество разных слов

<sup>3</sup> Н. Н. J o s s e l s o n, The Russian word count and frequency analysis of grammatical categories of standard literary Russian, Detroit, 1953.

в русском тексте <sup>4</sup>. Однако эти данные действительны лишь для 100% заполнения текста и оказываются явно заниженными для 70—98% заполнения, которого нужно добиваться при лексическом кодировании. В обследованных текстах протяженностью 30 000 слов на 2 897 разных слов приходится 6 784 словоформ, т. е. общее число словоформ примерно в 2,4 раза превышает число разных слов текста. Однако число словоформ, заполняющих 70—98% текста, в 3—3,5 раза больше числа слов для такого же заполнения. Таким образом, при кодировании по словоформам для обеспечения кодирования 95—98% текста в память кодирующего устройства потребуется заложить 12—14 тысяч словоформ.

Процесс кодирования по словоформам состоит в следующем: в память кодирующего устройства закладывается список словоформ и стандартных сочетаний словоформ, представленных в обычном телеграфном коде и размещенных в строго алфавитном порядке. В состав словоформы в качестве отдельной буквы включается пробел. Передаваемое сообщение накапливается буквопечатным аппаратом на перфоленту или иной носитель информации и подается на регистр входного устройства, число разрядов которого превышает максимальное число разрядов кодовой записи словоформ в памяти кодирующего устройства. Затем осуществляется цикл сравнения (например, один оборот барабана при использовании памяти на магнитном барабане) списка словоформ с началом текста, выведенным на регистр входного устройства. В случае совпадения одной из словоформ списка с началом текста порядковый номер этой словоформы в двоичном коде выдается на выход кодирующего устройства и поступает в линию связи. Запись текста на регистре сдвигается на выбранное слово и производится следующий цикл сравнения списка словоформ с началом оставшейся части текста и так до тех пор, пока текст не будет исчерпан. При отсутствии совпадения списка словоформ с началом текста производится побуквенная передача текста до ближайшего пробела включительно, после чего цикл сравнения возобновляется.

Другой способ лексического кодирования состоит в раздельном кодировании слова по основе и окончанию. В этом случае в запоминающее устройство записываются отдельно список основ слов (например, 4 000 номеров) и общий список окончаний русского языка (110—120 номеров). В список основ включаются также и некоторые стандартные сочетания из нескольких слов, из которых только последнее может принимать различные окончания. Как основы, так и окончания представлены в обычном телеграфном коде и размещены в запоминающем устройстве в строго алфавитном порядке. Передаваемое сообщение, как и в предыдущем случае, накапливается буквопечатным телеграфным аппаратом на перфоленту или иной носитель, преобразуется входным устройством в соответствующие импульсы и заводится на регистр этого устройства. Затем производится первый цикл сравнения списка основ с началом текста, выведенным на регистр входного устройства (например, первый оборот барабана). В процессе этого сравнения в специальную ячейку памяти последовательно выписываются порядковые номера всех основ, которые целиком входят в начало текста. По окончании первого цикла сравнения последний выписанный номер, соответствующий самой длинной из всех основ, входящих в начало текста, подается на выход кодирующего устройства. Запись текста на регистре сдвигается на выбранную основу, после чего вторым циклом сравнения (вторым оборотом барабана) отыскивается номер окончания по общему списку окончаний. Если во время первого цикла сравнения не произошло совпадения начала текста с одной из основ списка, начало текста до ближайшего пробела включительно передается побуквенно, после чего список основ сравнивается с началом оставшейся части текста. При несовпадении во втором цикле сравнения восстанавливается буквенный состав основы и начало текста передается побуквенно до ближайшего пробела включительно, после чего процесс кодирования возобновляется.

Как метод кодирования по словоформам, так и метод кодирования по основам и окончаниям обеспечивают сокращение объема телеграфного сообщения примерно в 3 раза. В самом деле, на существующих телеграфных связях, оборудованных буквопечатными телеграфными аппаратами СТ-35, каждая буква текста кодируется комбинациями из 5 элементарных посылок двоичного телеграфного кода. Но поскольку каждая комбинация отделяется от других комбинаций двумя разделительными посылками и, кроме того, имеются служебные комбинации, то в среднем при передаче аппаратом СТ-35 на букву текста приходится 7,5 телеграфных посылок. А так как слово русского текста в среднем состоит из 8 букв, включая пробел между словами, то получается, что средняя длина слова в телеграфном коде составляет  $7,5 \cdot 8 = 60$  телеграфных посылок. В лексическом коде при кодировании по словоформам порядковый номер словоформы при объеме списка словоформ в 12—14 тысяч единиц может быть передан 14 телеграфными посылками, поскольку  $2^{14}$  дает 16 384 комбинации. Если добавить к этим посылкам еще две разделительные, то оказывается, что в этом случае 95—98% слов текста будут передаваться комбинациями из 16 телеграфных посылок и 2—5% слов будут передаваться в обычном телеграфном коде. Таким образом, средняя длина слова в лексическом коде составит  $0,95 \cdot 16 + 0,05 \cdot 60 = 18,2$  телеграфных посылок.

<sup>4</sup> А. Г. Эттингер, Проект автоматического русско-английского технического словаря, сб. «Машинный перевод», М., 1958 (перевод с английского).

При кодировании по основам и окончаниям достигается несколько меньшая экономия (средняя длина слова — 22 телеграфных посылки), однако она может быть доведена практически до значения экономии при кодировании по словоформам, если вместо общего списка окончаний запоминающее устройство заложит несколько списков окончаний для отдельных типов склонения и спряжения. Как известно, в русском языке число окончаний отдельного слова в общем не превышает 16. Поэтому при некотором усложнении схемы можно уменьшить среднюю длину слова в лексическом коде за счет сокращения числа посылок, приходящихся на номер окончания. Кодирование по словоформам и кодирование по основам и окончаниям, естественно, не исчерпывают всех возможных способов лексического кодирования. В частности, вполне осуществимым является и способ кодирования по морфемам или по группам морфем, образующим слово. Однако, как показали ориентировочные расчеты, поморфемное кодирование может дать гораздо меньший экономический эффект, чем кодирование по словоформам и по основам и окончаниям.

В заключение следует сказать, что при существующем уровне развития вычислительной техники создание устройств лексического кодирования является вполне реальной задачей. Практическое решение этой задачи зависит от совместной работы инженеров-связистов, лингвистов и специалистов по вычислительной технике. На долю лингвистов при этом выпадает большая работа по статистическому исследованию русского языка (в особенности реальных телеграфных сообщений), по составлению словарей и программ кодирования и по изысканию дополнительных возможностей сокращения объема сообщения за счет избыточной грамматической информации. Наконец, автоматическое лексическое кодирование может во многом способствовать и решению проблемы так называемого устного ввода. Как известно, решение этой проблемы затрудняется большой вариативностью фонем и искажениями звуковой оболочки слова в процессе речи. Учет контекстных условий в пределах слова предоставляет во многих случаях возможность обойти эти трудности. Очевидно, что участие лингвистов в работах по устному вводу с применением принципов лексического кодирования будет в значительной мере способствовать успешному решению этой проблемы.

## ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

## «СЛОВАРЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ» Е. Д. ПОЛИВАНОВА

В архиве Института языка и письменности народов СССР Академии наук СССР мною обнаружена неизвестная рукопись выдающегося советского языковеда Евгения Дмитриевича Поливанова «Словарь лингвистических терминов»<sup>1</sup>. Рукопись общим объемом 293 стр.<sup>2</sup> охватывает около 210 терминов (из них около 30 литературоведческих, поскольку первоначально словарь должен был включать и их) и сохранилась в нескольких авторских пагинациях: стр. 1—114, 1—44, 1—99, 1—22 и 1—3 (в первой авторской пагинации две 6 и две 62 стр., а во второй — две 11 стр.). Это выправленная и частично отредактированная автором машинопись с многочисленными дополнительными вставками; последние 8 стр. написаны автором от руки. В нескольких местах сохранились даты написания отдельных статей. Последняя страница рукописи датирована 1 X 1935; здесь же указан адрес: г. Фрунзе, ул. Дзержинского, 37<sup>г</sup>. Приписка, сделанная автором к статье «Напряженные и ненапряженные гласные» (стр. 290 дела): «далее по старому тексту статьи (в давно уже сданной в КНА рукописи Словаря)» — позволяет думать, что в архиве Комитета нового алфавита могли сохраниться и другие материалы словаря. Обращает на себя внимание еще одна авторская приписка к статье *Слово* (стр. 238): «Если „Словарь“ будет печататься, то к статье *Слово* присоединяется в ся моя работа „Еще о критериях самостоятельного слова“». Работа Е. Д. Поливанова под таким названием неизвестна. Она не упоминается в статье Вяч. В. Иванова «Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова» и не вошла в список научных работ Е. Д. Поливанова, опубликованный вместе с этой статьей<sup>3</sup>.

«Словарь лингвистических терминов» в том виде, в каком он сохранился, представляет собой не обычный терминологический толковый словарь типа известных работ Н. Н. Дурново, Л. И. Жиркова, Е. В. Кротевича и Н. С. Родзевич или даже самого полного из словарей такого рода, составленного Ж. Марузо и недавно переведенного на русский язык<sup>4</sup>. Словарь Е. Д. Поливанова по характеру разработки подавляющего большинства статей представляет собой материалы к терминологическому словарю энциклопедического типа. Больше того, обнаруженные материалы с полным правом могут рассматриваться как своеобразная форма

<sup>1</sup> Хранится в Институте языкознания АН СССР (Арх. № 224, оп. 1, св. 19, инд. 675) под названием «Толковый терминологический словарь по лингвистике проф. Е. Д. Поливанова».

<sup>2</sup> В описи в соответствии с единой пагинацией архивного дела указано: 311 стр., так как при этом пропущена первая страница второй авторской пагинации (начало статьи «Сингармонизм»), но зато пронумерованы: адресованное во Всесоюзный центральный комитет нового алфавита сопроводительное письмо (за подписью акад. И. И. Мещанинова) от 21 IX 1937 (1 стр.) к одобренному Институтом языка и мышления им. Н. Я. Марра отрицательному отзыву ст. науч. сотр. Института С. Быховской на «Словарь лингвистических терминов» Е. Д. Поливанова, указанный отзыв (17 стр.) и машинописная копия письма Е. Д. Поливанова на имя т. Коркмасова (1 стр.). Привожу текст этого письма (по копии):

Тов. Коркмасову.

Узнав, что Вам отослана (из Ташкента) на рецензию рукопись «Словарь лингвистических терминов», спешу указать, что я недавно (28.IV) привез с собою в Ташкент остальные статьи (для переписки на машинке и присоединения к уже ранее сданным, после чего я имел в виду привести все статьи в алфавитный порядок).

Если нужно, я могу (дав переписать на машинке) дослать остальные статьи (их довольно много). Во всяком случае прошу учесть это при Вашем отзыве и решении относительно этого «Словаря».

С совершенным уважением профессор Е. Поливанов. г. Фрунзе, 5.V. с. г.

<sup>3</sup> См. ВЯ, 1957, № 3.

<sup>4</sup> Н. Н. Дурново, Грамматический словарь, М.—Пг., 1924; Л. И. Жирков, Лингвистический словарь, 2-е изд. (на правах рукописи), [М.], 1946; Е. В. Кротевич и Н. С. Родзевич, Словник лінгвістичних термінів, Київ, 1957; Ж. Марузо, Словарь лингвистических терминов, М., 1960.

систематизированной подачи тех сведений, которые обычно даются в виде курса «Общего языкознания».

В процессе составления словаря автор выработал следующую примерную схему построения статей: 1) этимология термина, 2) реальное значение термина. Но многие статьи, в том числе такие, как *Логическое (психологическое) подлежащее, Имя существительное, Номинатив, Падеж, Род, Мягкие и твердые согласные, (Г)омонимы, Народная этимология, Поэзия* и др., по обилию и свежести представленного в них материала и оригинальности и широте авторских комментариев выходят далеко за рамки какой-либо схемы.

При ознакомлении со словарем бросаются в глаза две его особенности: это, во-первых, специфически востоковедческий уклон, широкое использование данных тюркских, китайского, японского, арабского, корейского и других восточных языков; во-вторых, его полемическая антимарристская направленность<sup>5</sup>. Последнее обстоятельство и послужило основной причиной того, что материалы словаря остались в свое время неопубликованными.

Ниже приводится словник словаря с сохранением порядка следования статей в рукописи. Знаком \* отмечены нелингвистические термины; римскими цифрами обозначен номер варианта статьи (некоторые из них представлены в двух, трех и даже четырех вариантах).

Appositio, Алфавит, Акцентуация, Аффрикат(а), Адвербиальный I, Апикальный (см. *Ареж*), Альфа, Азбука, Аблаут, Альтернатива, Акrostих \*, Автобиография \*, Агглютинация, Агглютинативные языки, Allativus, Adessivus, Ablativus, Ареж, Апикальные, Articulus, Ассимиляция I, Аллитерация \*, Артикуляторная база, Аббревиатура, Альбомные стихотворения \*, Банальный \*, Аналогия I, Аугмент I, Аберрация I, Акустика, Анализ, Полисинтетические языки, Альвеолярный, Адъективный, Анекдот \*, Анапест \*, Амфибрахий \*, Аспект, Анлаут, Адвербиальный II, Анархизм, Harf, Alpha privativum, Аккузатив, Датив, Генитив, Глагол, Грамматика, Лингвистика, Драма \*, Комедия \*, Опера \*, Драматургия \*, Уменьшительное имя, Интенсив, Nomen agentis, Акусма, Кинема (см. *Акусма*), Кинакема (см. *Акусма*), Вопросительный знак, Род, Порода, Кимограф, Пневмограф, Морфология, Морфема, Морфонема, Этимология, Синтагма, Физиология, Рифма \*, Каламбур \*, Поэзия \*, Слово I, Вокализм, Номинатив, Падеж I, Творительный падеж, Слог, Дифтонг, Полифтонг, Политония, Силлабема, Филология, Философия \*, Лабиализация I, Дорсальные звуки, Идиллия \*, Идеал \*, Канонизация \*, Рифмованная проза \*, Нэзистические языки, Ямб \*, Версификация \*, Просодия \*, Окситон I, Эмфаз, Эпистолярный стиль \*, Эпистолярная форма романа \*, Эпос \*, Буква I, Психофонетика, Классификация, Физиологическая классификация звуков языка, Палатализация, Палатальные согласные, Палатализованные согласные, Велярные согласные I, Увулярные согласные.

Сингармонизм, Аугмент II, Перфект, Однократный вид I, Многократный вид I, Плюсquamперфект, Прометейские языки, (Г)омонимы, Spiritus asper, Синонимы, Инфикс, Аффикс, Инкорпорация, Гибридизация, Двужычие, Ассоциация, Ассимиляция II, Аноним \*, Псевдоним \*, Время, Полногласие.

Монофтонгизация, Заместительное удлинение, Гортанные согласные, Фарингальные согласные (см. предыдущ. статью), Герундив, Уранический, Характерный тон, Основной тон гласного, Велярные согласные II, Смычные согласные, Эксплозия (см. *Смычные*), Диалектическое дробление, Причастие, Герунд, или герундий, Окситон(а) II, Формант, Дактилическая рифма \*, Логическое (психологическое) подлежащее, Логическое (психологическое) сказуемое, Элизия, Слияние, Ассимиляция морфологическая, Носовые (назализованные) гласные, (Имя) существительное, Назализация, Носовые согласные, Сонант, Сонорные, Сравнительная грамматика I, Термин, Терминология, Форма, Формальный, Аберрация II, Лабиализация II, Склонение, Спряжение, Поселог, Грамматикализация, Падеж II, Слово II, Сравнительная грамматика (славянских языков) II, Аналогия II, Ассимиляция (прогрессивная) II, Открытый и закрытый слог, Мягкие и твердые согласные I, Клаузула \*, Ямб \*, Гекзаметр \*, Хорей \*, Анапест \*, Ион \*, Моносиллабизм, Вязь, Резонатор, Двадцать, Буква II, Прописные буквы, Маюскул, Минускул, Второстепенные члены предложения, Выпадение звуков, Алтайские языки, Геминированные согласные, Количество, Дифференциация, Голосовая щель (Гортанная щель) I, Ложные голосовые связи, Долгие гласные.

Однократный вид II, Морфологическая классификация языков (текста нет. Приписка автора: «Эта статья остается по старому тексту». См. ниже), Мягкие согласные II, Твердые согласные II, Наречие, Неопределенное наклонение, Дательный самостоятельный, Объект, Определение, Напряженные и ненапряженные гласные, Нарисательные имена, Неодушевленные имена, Мертвые языки, Междометие, Звуковые жесты, Многократный вид II, Личные местоимения, Литературный язык.

Народная этимология.

Фразовая мелодия, Монотония, Тон, Главные члены предложения, Голосовая щель II, Затворные согласные, Морфологическая классификация языков.

Безусловный интерес представляют и ссылки на статьи словаря, не вошедшие

<sup>5</sup> Убежденно в классности языка Е. Д. Поливанов разделял вместе со многими советскими лингвистами тех лет.

в найденную рукопись, но запланированные автором. Среди них привлекают особое внимание ссылки на статьи *Бодуэнизм, Объединение языковых систем и Второй путь языковой истории* (см. статью *Гибридизация*), *Общее языковедение, Эмбриональный сингармонизм, Молодограмматическая школа, Социологическая школа*. Приведем перечень ссылок в той последовательности, в какой они встречаются в отдельных статьях рукописи. *Депласация* (ударения), *Семасиологизация* (ударения), *Морфологизация* (ударения), *Фразовое ударение, Ударение, Внутренняя флексия, Чередование, Аналитические языки, Illativus, Inessivus, Elativus, Prolativus, Препозитивный член, Постпозитивный член, Деуположность ударения, Аббревиация, Комбинаторные варианты фонем), Какуминальный (звук), Церебральный (звук), Родительный падеж, Молодограмматическая (неограмматическая) школа, Пуризм (националистический), Общее языковедение, Старограмматическая школа, Социологическая школа, Фонологическая школа, Морфонология, Предложение, Фраза, Фразеология, Синтаксис, Акустическая классификация гласных звуков, Ритм, Ритмика, Заумь, Универсация, Консонантизм, Гласные, Согласные, Имя, Синтетические языки, Звонкие звуки, Антропософоника, Фонетика, Фонология, «Урало-алтайское» языковое семейство, Эмбриональный сингармонизм, Индоеропейские языки, Афетические языки, Объединение языковых систем, Второй путь языковой истории, Вид, Внешняя форма, Бодуэнизм, Предлог, Надставная труба, Базуеризм, Татпуруша, Кармаджарайа, Идеографический, Ономастология.*

Материалы к «Словарю лингвистических терминов» Е. Д. Поливанова несомненно заслуживают опубликования полностью<sup>6</sup>. Они свидетельствуют о том, что и во второй половине тридцатых годов XX в. общелингвистическая проблематика была предметом пристального внимания тех советских языковедов, которые не приняли «нового учения» о языке Н. Я. Марра, а развивая традиции бодуэновской школы, шли своим путем, стремясь разрабатывать теорию советского языковедения. Многие статьи словаря сохраняют не только исторический интерес.

Представление о замысле Е. Д. Поливанова и о характере найденной рукописи могут дать приводимые ниже избранные статьи из «Словаря лингвистических терминов». Авторский текст публикуется без каких-либо изменений; полностью сохранено и своеобразие авторской терминологии (ср., например, «турецкие языки», «суффиксация», «инкорпорация» и т. д.); осуществлены лишь некоторые обычные при оформлении словарных статей редакторские приемы (в частности, заглавное слово словарной статьи дается в тексте статьи в сокращении); в отдельных случаях текст снабжен подстрочными примечаниями пояснительного характера, которые заключаются в квадратные скобки.

В. П. Григорьев

**Лингвистика** — международный научный термин — название науки о языке (и языках). Международным он является потому, что повторяется (с небольшими вариациями) в ряде европейских языков: напр., франц. (*la linguistique*), англ. *the linguistics*, русск. *лингвистика* (только немцы, благодаря своему националистическому пуризму [см.] в терминологии, предпочитают чисто немецкий термин: *Sprachwissenschaft* — от *Sprache* «язык» и *Wissenschaft* «наука»). Термин Л. происходит от латинского слова *lingua* «язык»<sup>1</sup>, но с греческой суффиксацией *-istica* (=греч. -ιστική). Синонимами (к термину Л.) в русском языке являются: 1) *языковедение*, 2) *языковедение*, 3) (реже) *наука о языке*. Есть, правда, и чисто греческий соответствующий термин: *глоттология* — букв. «языко-словие», т. е. «наука о языке» [от греч. γλῶσσα = *glōssa*, или в другом диалекте γλῶττα = *glōtta* «язык» и λόγος = *lōg-os* «слово»], но в настоящее время вряд ли кем-нибудь употребляется (попытки разграничить значение терминов Л. и *глоттология* носят индивидуальный характер<sup>2</sup>, и так как они общепринятыми не являются, то о них можно не говорить). В узбекском принят арабский по происхождению термин *lisanijāt* — от араб. *lisan* «язык», но рядом с ним употребляется и *til bī'limi* [букв.: наука о языке]<sup>3</sup>. Л., или языковедение, делится на 1) описательное и 2) историческое, которое может быть также — в случае использования компаративного метода — сравнительным, или компаративным. Этому последнему (сравнительному языковедению) противопоставляется также *общее языковедение* [см.], которое может состоять как из общего описательного языковедения, так и из обобщений историй (т. е. исторических грамматик) разных языков — в частности, в виде общей теории эволюции языка.

<sup>6</sup> Очевидно, при этом потребуется — поскольку автор не успел завершить работу над рукописью — провести значительную подготовительную работу с учетом своеобразия той обстановки, в которой Е. Д. Поливанов создавал свой труд.

<sup>1</sup> Лат. *lingua* обозначало и язык во рту (т. е. «язык» как анатомический орган), и «язык» = система речи; ср. наличие обоих этих значений в русском слове «язык», в узбекском *til*, в эстонском *keel* и т. д. (но в немецком для первого значения служит слово *die Zunge*, а для второго — *die Sprache*).

<sup>2</sup> Автором подобного предложения — об уточнении и разграничении терминов Л. и *глоттология* — является наш талантливый молодой советский лингвист (автор «Грамматики арабского языка») Н. В. Юшманов.

<sup>3</sup> [В современном узбекском языке наряду с *til bīlimi* употребляется термин *тилшунослик*. — В. Г.].

Марксистской Л. как дисциплины, которая могла бы быть количественно соизмерима с буржуазной Л., еще не существует: есть только известный фундамент для нее в виде нескольких статей (Лафарга, Плеханова) и еще более кратких высказываний по вопросам языка таких классиков марксизма, как Энгельс, Маркс, Ленин. Сюда можно присоединить несколько книг более поздних (и современных нам) марксистов-языковедов, где в общем итоге, в сущности, обследован только один язык (французский) и то лишь только в лексическом отношении. По остальным языкам имеются лишь спорадические работы лингвистов-марксистов [например, о среднеазиатских языках говорит работа шведского лингвиста Шёльда (Johann Sköld)<sup>4</sup>]. Такое положение дела, естественно, соответствует тому, что в Западной Европе при ее буржуазном строе господствует, конечно, именно буржуазная наука<sup>5</sup>. Создание марксистской Л. как стройной и полной дисциплины — с революционной переоценкой всех отделов старой Л. — задача всех советских лингвистов, всего современного лингвистического поколения. О школах, или направлениях, Л. см. *Старограмматическая школа, Неограмматическая (или младограмматическая) школа, Социологическая школа, Фонологическая школа.*

*Сравнительная грамматика* [...] <sup>5а</sup>

Добавим, что кроме сравнительных грамматик тех совокупностей языков, которые признаются родственными с точки зрения традиционной генеалогической классификации, возможны и такие сравнительно-грамматические штудии (т. е. сравнительные грамматики), которые охватывают лишь общие (т. е. родственные) элементы в неродственных (по традиционной генеалогической классификации) языках. Напр., японский язык не является родственным ни к китайскому, ни к аннамскому, но включает в себя массу китайских заимствований (заимствованных слов), которые проникли, с другой стороны, и в корейский, и в аннамский языки; благодаря этому оказывается возможной «С. г. языков китайской культуры», в которой будут изучаться (в качестве параллелей к собственно-китайским формам слов) и вышеупомянутые китайские заимствования японского, корейского и аннамского (а также некоторых других) языков. Вторым подобным же примером могло бы быть изучение арабских заимствований (из классического арабского языка Корана) в персидских наречиях, в турецких языках, а также в малайских и разных других языках исламской культуры.

*Прометейские языки.* Термин П. я., как и существительное *прометеиды* (в смысле представителей П. я. — населения, говорившего на П. я.), создан Н. Я. Марром и принадлежит, таким образом, к специфическим терминам яфетидологии (и притом на относительно поздних этапах яф<етидологической><sup>6</sup> теории).

Слово *прометеид(ы)* является, конечно, образованием (по обычному типу *patronica* — с греческим суффиксом *-ид-* = *-id-*) от мифологического имени Прометея — титана, похитившего огонь с неба и научившего людей ряду полезных знаний (а главное добыванию огня), за что он был жестоко наказан Зевсом, приковавшим его к скалам Кавказа, где орел ежедневно должен был терзать грудь несчастного (сюжет этот был обработан уже Эсхилом — в трагедии, которая носит заглавие «Прикованный Прометей»). «Прометейды» же — это потомки Прометея (и, значит, П. я. — языки потомков Прометея). Таково буквальное значение термина. Но оно ничуть не говорит о том реальном значении, которое условно и искусственно внесено в этот яфетидологический термин творцом его Н. Я. Марром.

Именно под «прометеидским» языком Н. Я. Марр понимает *индоевропейские* (или *ариоевропейские*) языки (см.). Это, следовательно, такое же условное использование греческого мифологического имени, какое являлось излюбленным терминологическим приемом Н. Я. Марра в отношении библейских имен (см. *Нозтические языки, Яфетические языки*, наконец, в качестве параллели из греческой, опять-таки, мифологии можно указать на термин *уранический*, см.). Попытку заменить длинные термины *индоевропейские, ариоевропейские, индогерманские* более кратким, конечно, хотелось бы приветствовать. Но подбор для этой роли термина *прометеидские* представляется мне, в идеологическом отношении, ошибочным. Единственная конкретно-смысловая связь между этимологией термина (т. е. именем Прометея) и его яфетидологическим значением может быть усмотрена в том, что индоевропейские («прометеидские») языки представляют собою некую позднейшую и более совершенную, что ли,

<sup>4</sup> [Здесь автор, видимо, предполагал дать ссылку на работу: Н. Sköld, Materialien zu den iranischen Pamirsprachen, Lund, 1936. — В. Г.]. Добавим, что Шёльду принадлежит и критическая статья, окончательно и исчерпывающим образом дискредитирующая т. н. яфетидологическое учение: «Die kaukasische Mode» [см. Н. Sköld, Zur Verwandtschaftslehre: die kaukasische Mode, Lund, 1929; раздел 2 «Marxismus und Marrismus». — В. Г.].

<sup>5</sup> [Текст сноски в рукописи отсутствует. — В. Г.].

<sup>5</sup> [Здесь опущена большая часть статьи, занимающей в рукописи в общей сложности около 13 стр. машинописи. — В. Г.]

<sup>6</sup> [Здесь и в подобных случаях в угловых скобках раскрываются некоторые из употребляемых автором сокращений и восстанавливаются отдельные пропуски слов в тексте. — В. Г.]

типологическую формацию, чем противопологающиеся им яфетические, семитские, хамитские и прочие языки, а Прометей, в свою очередь, тоже начинает собою новую и более совершенную эру в истории культуры человечества. Эта параллель приобретает конкретную значимость при том предположении, что на долю «прометейдов» (т. е. — по общепринятой терминологии — племен, говорящих на и.-е. языках) выпало совершить некое крупное изобретение, открывшее новую эпоху культурного развития и по своей исторической значимости соизмеримое с изобретением способа добывания огня (таким «эпоху делавшим» изобретением могло быть, напр., открытие обработки металлов).

Я не имею здесь возможности оценивать правдоподобность или вероятность подобного предположения (— так как эта оценка неизбежно повлекла бы за собою изложение моих собственных взглядов: 1) на причины грандиозной территориальной экспансии и.-е. речи — причины, которые, по-моему, скорее всего сводятся к успехам скотоводства, сосредоточению в руках данных племен крупных масс скота; 2) на археологические и лингвистические указания по вопросу о том, какие племена оказались изобретателями обработки металлов). Взамен этого я позволю себе указать на потенциальную «политическую» значимость термина *прометейды* (в применении этого термина именно к и.-е. племенам): поскольку этот термин, так или иначе, является презумпцией известного культурно-исторического превосходства индоевропейцев, он, в сущности, лет воду на мельницу той идеологии, которая культивируется ныне в фашистской Германии, — идеологии, утверждающей принципиальное превосходство той «арийской» расы, которой современные массово-обывательские представления безоговорочно приписывают и «арийскую», т. е. индоевропейскую, *геср*. «прометейдскую» речевую систему. С этой точки зрения прежний (традиционный у нас) термин *индоевропейские языки* (или его более точный вариант: *ариоевропейские языки*)<sup>7</sup> оказывается, пожалуй, выгоднее — благодаря беспристрастности своей, — чем термин П. я.

**Литературный язык** — термин, употребляющийся в двух значениях:

1. Л. я. называется письменный стандартный язык данной национальности (— напр., «русский Л. я.», «немецкий Л. я.», «узбекский Л. я.» и т. д.), т. е. языковая система, используемая в письменности и, в частности, в литературе данного народа. Л. я. — в этом смысле термина — может или совпадать (хотя обычно, все-таки, не вполне, а лишь по большинству черт своей формальной характеристики) с устным с т а н д а р т н ы м языком, т. е. с диалектом, служащим для устного общения политических и культурно-господствующих классовых групп данной национальности в междурайонном масштабе, или же, наоборот, — существенным образом отличаться от устного стандартного языка, а вместе с тем и от прочих живых, т. е. современных диалектов и говоров данного языка [— в широком значении термина «язык»]. Первый случай — принципиальное (т. е. охватывающее все важнейшие моменты формальной характеристики) тождество литературного письменного языка с устной стандартной речью — имеет, напр., место в современном русском языке СССР (хотя даже в предшествующую историческую эпоху — до 1917 г. — русский литературный письменный язык обладал еще некоторыми принципиальными морфологическими отличиями от устного стандартного, служившего в то время классовым языком междурайонного масштаба для русской буржуазии и буржуазной интеллигенции: напр., различием грамматических родов во множественном числе — напр., *старые* — *старья* и т. п., — различием, которого давно уже не знала русская устная речь); второй случай — т. е. принципиальное и крупное различие между литературным письменным языком и устным стандартным (как и прочими современными говорами внутри языка данного периода) — имеет место, напр., в Японии, где существуют два строго различных в формальном отношении «о б щ е я п о н с к и х» я з ы к а [и тот и другой из них, однако, может называться «общаяпонским» лишь условно — так как они обслуживают лишь господствующие классы группы]: 1) письменный (т. е. литературный) язык, не равняющийся ни одному из современных живых говоров японского языка и преемственно восходящий к древнеяпонскому языку центральных или «западных» районов Японии; и 2) устный стандартный язык [— или устная «койнэ» — *койнэ диалектос*], объединивший в территориальном масштабе всей Японии японскую буржуазию и ее интеллигенцию лишь за последний период японской истории (конец XIX в. — начало XX в.) на почве европеизации ~ американизации форм производства, и в генетическом отношении представляющий собою говор (т. е. языковую систему) города Токио [— из т. н. «восточных» я<понских> диалектов]. Здесь, впрочем, требует оговорки то обстоятельство, что наиболее прогрессивные и радикальные элементы из среды японских литераторов и интеллигенции вообще — главным образом в течение последних 3 десятилетий — представляют и на практике проводят реформационный лозунг «единения (устного) языка и (языка) письменности» [«гэмбун итти»]. Вообще состояние принципиального разрыва между литературным (письменным) языком и устной речью (т. е. наличие второго из двух вышеупомянутых случаев) характерно для эпох средневековья и относительно остальных экономических форм: ярким примером полного расхождения между Л. я. и живой речью может служить картина всей средневековой Европы, где в роли Л. я.

<sup>7</sup> Термина *индоевропейские языки* (который тоже заслуживает, пожалуй, подобного же упрека, как и *прометейды*) я здесь не касаюсь.

выступал латинский язык; другим не менее показательным примером может служить Китай, в котором — по крайней мере вплоть до самого последнего периода — вовсе отсутствовал общекитайский (хотя бы в классовом лишь разрезе) диалект устного общения, а действительно единая система пероглифического Л. я. не базировалась ни на одном из живых говоров [— будучи созданной на основе древнекитайского языка].

2. Термин Л. я. нередко употребляется и для обозначения стандартного (т. е. господствующего, общепринятого в руководящих классовых группах) устного языка междурайонного значения. Само собой разумеется, это словоупотребление имеет место главным образом в тех национальных коллективах, в которых осуществляется относительное тождество литературного письменного языка с устным стандартом; напр., в отношении русского стандарта устной речи уже давно употреблялось выражение «литературный русский язык».

**Форма** — (слово латинского происхождения: лат. *forma*). В лингвистике слово Ф. употребляется в целом ряде совершенно различных значений, охватить всю совокупность которых у нас нет возможности.

Наиболее частым и обыкновенным является употребление термина Ф. в смысле: «грамматическая форма слова», иначе говоря — тот или другой член парадигмы морфологического словоизменения, присущего данной части речи. Напр., именам существительным, в частности русскому существительному *вода*, присуще словоизменение по падежам, иначе говоря — склонение. Парадигма склонения (или склонение) состоит, таким образом, из падежей, и каждый из членов этой парадигмы, т. е. каждый падеж является Ф. склонения; напр. *вода, воды, воде, воду, водой* и т. д. — всё это формы слова *вода*, точнее грамматические формы склонения имени существительного *вода* (— Ф. именительного падежа единственного числа, Ф. родительного падежа единственного числа и т. д. и т. д.).

Подобным же образом формами глагольного словоизменения (или формами глагольного спряжения) являются все члены следующей узбекской парадигмы (— формы спряжения глагола *uc-<sup>т</sup>maq*): *ucaman, ucasan, ucadi, ucamiz, ucasiz, ucadilar,*

*ucdim* [=  $u \frac{c}{s} t \frac{l}{u} m$ ], *ucdir, ucdi, ... , ucsam, ucsar, ucsa, ucsak* и т. д. и т. д.

Совершенно иное значение слово Ф. имеет тогда, когда оно входит в состав терминов *внешняя форма* (см.) и *внутренняя форма*.

В виде одного из примеров совершенно специфических употреблений слова Ф. укажем на то, что в определенный период яфетических штудий Н. Я. Марра термин Ф. означал у него просто «гласные звуки в составе слов семитических, а также южнокавказских языков». Объясняется это неожиданное, на первый взгляд, значение, конечно, в связи с так называемой *внутренней флексией* (см.), имеющей место в семитских, а также в южнокавказских языках: согласные звуки символизируют материальное, или лексическое (корневое), значение слова, т. е. составляют корень данного слова (как, напр., согласные *q, t, l* [= ق, ت, ل] во всем спряжении семитского глагола *qatala* [أقتل], а гласные звуки, выражающие, наоборот, формальное, или грамматическое, значение, составляют «форму» данного слова (напр., гласные *u, i, a* в грамматической форме *quilla* и т. д.).

Равным образом и слово *формальный* (прилагательное, производное от *форма*) встречается в лингвистической литературе, опять-таки, в нескольких различных значениях, из которых мы отметим только 2 (наиболее характерных для современного этапа советской лингвистики) случая:

1) Когда данное прилагательное (— прилагательное Ф.) входит в состав термина Ф. *грамматика*, — термина, по сути дела, противоположного т. н. логической грамматике. Для разъяснения обоих терминов нужно указать, что европейская школьная грамматика, по крайней мере — с XVII и XVIII вв. и в течение всего XIX в., являла собой образец «логико-грамматического» направления, иначе говоря — *логической грамматики* (в европейской литературе XIX в. особенно ярким выражением этого направления служили школьные пособия, фигурировавшие под именем «Grammaire raisonnée»). «Логическая грамматика» в своем изложении языковых фактов отправлялась не от самих этих фактов, а от неких, считавшихся постоянными и сами собой подразумевающихся, логических схем, каковые, по наивному убеждению представителей этого направления, должны были находить себе соответствие в любом и во всех языках. По сути же дела данные логические схемы, или трафаретные построения, к которым приравниваемы были явления данных языков (как французского, так и русского и разных других), были не чем иным, как обобщением морфологических категорий латинского языка, изложенных в наиболее разработанной (по сравнению с другими языками) латинской классической грамматике; таким образом, и русскому, напр., языку, в школьном грамматическом изложении, навязывались совершенно чуждые ему факты — просто потому, что они имели место в грамматике латинского языка. Подобное «притягивание за волосы» живого языкового материала к предвзятым «логическим» (а вернее — взятым из грамматики другого языка) схемам, характеризующее представителей «логической грамматики», продолжало существовать частично и до самого последнего времени — главным образом в грамматических описаниях восточных (в том числе турецких, а также и других) языков

нацменьшинств Союза: авторы исходили здесь из хорошо им известных категорий русской грамматики и потому навязывали эти категории и описываемым ими языкам (ср., напр., учение о прилагательном и наречии, как об особых частях речи, в бытующих у нас грамматических изложениях многих турецких и восточнофинских [в частности, напр., марийского] языков).

Этот уклон в сторону традиций «логической грамматики» объяснялся, конечно, прежде всего «линией наименьшего сопротивления»: копировать схемы русского языка гораздо легче, чем самостоятельно производить анализ и открывать подлинные морфологические факты данных языков.

В противоположность «логической грамматике», «формальной грамматикой» именуется то направление, которое считает нужным исходить не из неких предвзятых «логических» или заимствуемых из грамматик другого языка схем и категорий, но из самих языковых фактов данного (— описываемого) языка; поскольку же факты языкового мышления внешним образом реализуются именно в формах (в частности, в морфологических формах), различаемых и социально-существующих в данном языке, — выходит, что при грамматическом изложении необходимо исходить именно из форм, наличных в данном языке.

Для пояснения различия между «формальной» и «логической грамматикой» (или «формально-грамматической» и «логико-грамматической точкой зрения») позволю себе привести один пример:

С логико-грамматической точки зрения в турецких языках (в том числе в узбекском) различаются, как и в русском, на равных правах друг к другу стоящие имя существительное, имя прилагательное, глагол и т. д., а наконец, имеется и некая самостоятельная часть речи — наречие.

Фактически истинной причиной для такого изложения служило именно лишь то, что в грамматике русского языка различаются (и противопоставляются друг другу на равных, в общем, правах) все вышеназванные части речи. С точки же зрения «формальной грамматики»<sup>8</sup> (которую и надлежит считать правильной) никаких наречий в смысле особой части речи в турецких языках не существует [напр., слово *kecqurun* — это просто «имя», как и «имя» *kəşi*, или *jaqas*, или «имя» *qzil*, или *qara* («черный») и т. д.: доказывается это тем, что *kecqurun* потенциально имеет то же словоизменение, что и прочие «имена»: ср., напр., формы *kecqurunga*, *kecqurunlar*, *kecqurunlarga* и т. п., и т. п., и т. п.]; равным образом можно доказать, что в узбекском и других турецких (как и в марийском, и в мордовских) не существует и особой самостоятельной части речи «прилагательных» (см. в статье *Существительное*): узбекские и т. д. переводные эквиваленты русских прилагательных в лучшем случае выделяемы лишь на правах одного из подклассов «имени», но никак не в виде самостоятельной и основной части речи, соизмеримой, например, с глаголом.

Научная лингвистика неизбежно, конечно, должна была рано или поздно выступить с протестом против «логико-грамматических» традиций школьных грамматик [...]

Главная роль в этом протесте принадлежала И. А. Бодуэну де Куртене (см., напр., его лекции по введению в языковедение; см. также статью *Бодуэнизм*).

Советская методика школьного преподавания, конечно, вполне стала на эту же точку зрения — протеста против старой «логико-грамматической традиции» и необходимости «формально-грамматического» метода во всяком преподавании языка [...].

Здесь, однако, уместно будет сделать следующие 2 замечания (— в связи с той диалектической особенностью каждого эволюционного процесса — в том числе и процессов в истории методической мысли, — которая легко приводит к тому, что после протеста против некоего дефекта люди склонны бывают частично вдаваться в противоположную крайность, утрируя некоторые моменты своего нового символа веры):

1°. В языке форме всегда соответствует и значение: различение форм (в частности, морфологических форм) соответствует и определенную различию значений. А отсюда вытекает полная возможность (а вместе с тем и полная обязательность) излагать формы языка не иначе, как в постоянной связи со смысловой их стороной. Забвение этого правила приведет уже не к той «формально-грамматической» точке зрения, которую я защищал выше, а наоборот, к полному извращению языкового преподавания.

2°. Некоторые авторы наших (советских) грамматик русского языка, став решительным образом на «формально-грамматическую точку зрения», допустили тем не менее перегиб в том отношении, что, придавая исключительное значение морфологически-формальным признакам, они иногда забывают, напр., про признаки синтаксически-формальные (а идя этим путем можно

<sup>8</sup> Считаю нужным напомнить, что употребляемые мною термины *Ф. грамматика* и *формально-грамматическая точка зрения* лишь этимологически родственны слову *формализм*, но отнюдь не могут отождествляться с этим последним (т. е. со словом *формализм* — в том значении, с каким оно употреблялось, напр., в литературной дискуссии). Можно написать типичную «формальную» грамматику, отнюдь не будучи «формалистом» и нисколько не впадая в «формализм».

дойти, напр., до утверждения, что *пальто* — не есть имя существительное: потому, дескать, что оно не склоняется). Наличие подобных перегибов, конечно, ничего не изменяет в нашей оценке ни самой сущности Ф. грамматики, ни ее побед на арене школьно-методической практики в СССР.

<2> Совершенно иное — и даже почти до противоположности доходящее — значение вкладывается в прилагательное Ф. тогда, когда его употребляют в настоящее время в составе выражения «Ф. направление в лингвистике» (или «Ф. лингвистика» и т. д.). Психологически генезис этого словоупотребления объясняется на почве ассоциаций (реминисценций) с двумя следующими (причем, очевидно, контаминировавшими) привычными выражениями:

1°. Формализм, формалисты и формалистическое направление в истории и теории литературы (причем вспоминается, конечно, имя Шкловского<sup>9</sup>) и т. д. и т. д.

2°. Ф. логика — в противоположность диалектике, диалектической логике.

На почве этих ассоциаций выражение «Ф. лингвистика» (resp. «Ф. направление в лингвистике») связывается с предположением отрицательного, нежелательного направления лингвистической мысли, и в этой (главным образом эмоциональной) окраске применяется к любому лингвисту и к любому лингвистическому течению, почему-либо не правящемуся тем, в чьих устах мы встречаем ныне данное выражение. Считать это словоупотребление научным — невозможно, ибо при всем желании нельзя проанализировать те признаки, которые составляли бы постоянное содержание данного понятия. Поэтому мне придется ограничиться тем определением, которое высказано было самим представителем противников «Ф. лингвистики»:

«„Формальным“ [правильнее было бы, пожалуй, „формалистическим“. — Е. П.] лингвистом мы называем того, кто обращает внимание на формы речи, а не на социальные процессы языка» (цитирую буквально). Насколько трудно, даже при самом добросовестном желании, стать в позицию «противников формализма», — выискать здесь какой-нибудь ясный критерий для определения того, кто же (и за что же?) должен именоваться «формальным» лингвистом? — об этом говорит уже следующее фактическое обстоятельство: языка без форм не существует; строго говоря, весь язык состоит именно из форм (в широком смысле слова [не из одних только морфологических форм, разумеется!]); поэтому быть лингвистом и не обращать внимания на формы речи — просто невозможно; с другой стороны, не менее справедливо то, что язык есть социальное явление, как и то, что лингвисту никогда не следует забывать о причинной зависимости языка от других (— не языковых) социальных явлений. Таким образом, обвинять лингвиста в занятиях формами и речи — это просто чепуха.

Но ведь заниматься социологией языка без занятий формами речи — это значит просто не быть лингвистом (т. е. не исследовать языковых явлений), а лишь говорить общие фразы, избыточные социологическими терминами. Где же критерий того, какую меру внимания нужно уделять фактам (формам) языка и какую посвящать социальным вопросам, а главное, где критерий правильности постановки этих социальных вопросов касательно языка?...

**Слово** — русский популярный и в то же время и школьно-грамматический, и научно-лингвистический термин, соответствующий латинскому термину [в грамматической и латинской терминологии!] *Vox*<sup>10</sup>, араб. *كلمة*, нем. *das Wort*, франц. *le mot*, англ. *the word*, узб. *soz* или *kalima* = араб. *كلمة* и т. д. В известной мере синонимом можно считать термин *синтагма* (единица-*minimum* в синтаксисе).

С. называется настолько самостоятельный в смысловом отношении и логически законченный отрезок речи, что он оказывается способным изолироваться в качестве единственного состава произносительной фразы (напр., в диалоге — в вопросах, переспросах, ответах [...]). Кроме этого (главного) критерия — критерия изолируемости (и даже в масштабе одного критерия возможны противоречивые aberrации). Это несовпадение критериев, т. е. несовпадение различных признаков С., — неизбежно, ибо вытекает из диалектического противоречия признаков в переходных (промежуточных) величинах; а промежуточные величины между словосочетанием (— из двух или более слов) и С., resp. между С. и морфемой (внутри нового — сложного С.), неизбежны во всяком языке и во всякий период его истории, так как всегда и во всех языках осуществляется процесс *универбации* (см.) определенных словосочетаний. Примерами таких переходных случаев, т. е. промежуточных величин, содержащих в себе не все и не вполне полные признаки единого С., могут служить

<sup>9</sup> Который — несмотря на формализм — сделал больше, чем кто-либо для советской науки о литературе.

<sup>10</sup> Относительно лат. *verbum*, которое в качестве грамматического термина имеет уже частное, специфическое значение, служа наименованием для глагола (как «слова» по преимуществу), — см. в статье *Глагол*.

некоторые русские сочетания имен с предлогами, или же узбекские сочетания «основа имени + *bilan* (|| *minan*)» и т. п., и т. д.

Из фонетических критериев единства С. назovem: акцентуационный (для всех из известных нам языков, кроме эрзя-мордовского), анлаутный и ауслаутный критерии. Акцентуационный критерий единого С. в общем сводится к принципу: на 1 С. 1 ударение (или силовое или музыкальное: см. *Акцентуация*). Морфологические критерии С., конечно, различны в разных языках (в зависимости от принципиальных особенностей морф(ологического) строя). В современном китайском языке, напр., единица, в общем соответствующая С., — т. е. тоже занимающая среднее место между словосочетанием (или фразой) и морфемой, — оказывается вовсе несоизмеримой с русским или турецким понятием С., а занимает промежуточное положение между эквивалентом русского С. и русского словосочетания; в связи с этим и морфологическая структура этой единицы, т. е. «С.» современного китайского разговорного (живого) языка, в виде общей нормы, принципиально отличается от нормальной структуры русского (или турецкого и т. д.) С., и притом не только в качественном, но и количественном отношении: статистически-нормальный вид современного китайского С. представляет собою сочетание двух лексических (корневых) морфем, соответствуя, таким образом, такому исключительному для русского языка типу слов, как *детдом*, *союз* и т. п. Еще большие различия между количественно-морфологическими масштабами С. мы найдем при сравнении русского, напр., языка с типично-полисинтетическими языками: напр., чукотским или алеутским, эскимосским и т. п., где одно и то же «С.» сплошь и рядом оказывается семантически-эквивалентным длинному словосочетанию русского языка, т. е. включает в себя целый ряд различных лексических (корневых) морфем: ср., напр., «С.-фразу» из гренландского диалекта эскимосского языка<sup>11</sup>: *takusariartorumagaluarnerpa* «Думаете ли вы, что он, действительно, собирается заняться этим делом?», т. е. —

<i>takusar</i>	_____	<i>iarlor</i>	_____	<i>uma</i>	_____	<i>galuar</i>	_____	<i>nerp</i>	_____	<i>a</i>
«он заботит- ся об этом»		«он собира- ется»		«он намере- вается»		«он дела- ет»		«думаете ли вы?»		«он»

С., как единица, выделяемое на основании критерия потенциальной изолируемости (а равным образом, акцентуационное С., т. е. отрезок речи, объединенный одним ударением), весьма нередко оказывается несовпадающим с письменным С. в данной традиционной орфографии: напр., французские комплексы *je dis*, *tu dis*, *je te le dis*, *je te l'ai dit* и т. п. состоят из двух, четырех и пяти письменных слов (— в связи с тем, что орфография отражает более древнее деление на слова), а между тем каждый из этих комплексов для современного французского языка является одним С. [как на основании критерия потенциальной изолируемости — ибо морфемы *je*, *tu*, *te*, *le* ~ *l'* и т. п. не способны изолироваться, — так и на основании акцентуационного критерия]. Равным образом, единицы и словами являются и такие комплексы, как *je ne dis pas*, *tu ne le dis pas*, *il ne me le dit pas* и тому подобные, — хотя в них насчитывается 4, 5 и 6 письменных слов [единство этих комплексов (в качестве единых целых слов) подтверждается, опять-таки, и критерием потенциальной изолируемости, и акцентуационным критерием — поскольку в каждом из данных морфемосочетаний имеется лишь одно ударение: на последнем слове всего этого морфемосочетания, т. е. на слове *pas* = [pa]].

Это противоречие между орфографическим критерием (т. е. единицей письменного С.) и внутриязыковыми критериями С., в свою очередь, может рассматриваться как одно из диалектических явлений, служащих результатом неуклонно идущего (— констатируемого во все периоды языковой истории во всяком языке) процесса универбации, но это, конечно, — явление уже принципиально иного порядка, чем противоречия самих внутриязыковых критериев, в качестве примеров которых можно назвать следующие, хотя бы, случаи:

1°. Противоречие между акцентуационным и морфологическим критериями единого С. — в таких, напр., русских словах, как *словообразование*, *самопоклонение*, *яфетидомания*, *низкопоклонничество*, *беспардонно-невежественный* и т. д. [каждое из этих сложных слов произносится — или по крайней мере может произноситься — с двумя ударениями, т. е. представляет собою (хотя бы факультативно) два акцентуационных С.; между тем с морфологической точки зрения каждый из этих комплексов (последний из них — по крайней мере факультативно) является единым (хотя и сложным) С.; добавим, что и в морфологическом аспекте количественная характеристика этих комплексов — как и всяких других сложных слов русского языка вообще — содержит в себе противоречивые моменты: наличие двух лексических основ, само по себе, обуславливает переходный, или промежуточный, характер данного рода слов — между статистически-нормальным типом русских слов (*стол*, *жена*, *книга*, *добрый*, т. е. слов с одной лексической основой) и словосочетанием, включающим в себя два С.]

<sup>11</sup> Из статьи В. Г. Богораза в книге «Языки и письменность народов Севера», М. — Л., 1934.

2°. Противоречие между акцентуационным и анлаутным критериями единого С. — в немецком комплексе *übereinander* [ʔy : bərʔ aɪnʔandr ] и т. п.: в данном комплексе обычно имеется ударение (т. е. он представляет собою *о́дно а́кцентуа́цию н́ное сло́во*), а между тем с точки зрения анлаутного критерия он может рассматриваться как три С., ибо наличие *Stimmbänderverschluss'a* [ʔ] характерно для *начальных гласных звуков С.*, т. е. служит признаком гласного *анлаута* (— начала самостоятельного С.).

3°. Противоречие между акцентуационным и сингармонистическим критериями единого С. — в турецких (сингармонистических, конечно) языках — во всех т. н. «ломаных» словах узбекского, напр., языка (— его сингармонистических говоров): напр., *kylʒal₁ ~ kylʒal₁oʒa* (дат.-направит. пад.) в туркестанском говоре, *nika: ~ nika: oʒa* (дат.-направит. пад.) в манкентском говоре и т. д. и т. д.

**Гибридизация** — термин состоит из основы *гибрид-* (*hybrid-us*) + обычной в русских заимствованных словах суффиксации *-изация*. [...]

Общее значение слова *гибрид* (и в биологии, и в ботанике, и т. д. и т. д.) сводится к понятию какого-либо индивидуального предмета или явления (напр., растения, животного и т. д.), имеющего двойственное происхождение, т. е. создавшегося из сочетания двух различных пород или двух генетических источников. Так, напр., гибридами являются 1) мул, 2) ипак<sup>12</sup>, 3) новые виды растений, созданные Мичуриным путем скрещивания двух различных пород (напр., из вишни и сливы, из апельсина и лимона и т. д.).

Это общее понятие «гибрида» могло и должно было найти себе неоднократное применение в лингвистике; так, гибридом называли и слово («гибридное слово»), «слово гибридного происхождения», поскольку оно состояло из 2 частей, взятых из разных языков (пример — слово *автомобиль*, первая часть которого — *авто* — греческого происхождения — из греч. *αὐτό-ς = αὐτό-ς* «сам», а вторая восходит к латинскому прилагательному *mobilis* [муж. и жен. род] ~ *mobile* [ср. род] «подвижный, двигающийся»); гибридом называли также и языковую систему (— язык, или иногда определенный диалект какого-либо языка), поскольку эта языковая система (— данный язык) по происхождению своему восходит к двум различным языкам (примером может служить, хотя бы, английский язык, представляющий собою смешение одного из германских языков — древнеанглосаксонского — с одним из романских — старофранцузским языком); но если мы захотим быть точными, мы должны будем считать гибридами (в вышеуказанном общем смысле) все языки земного шара, ибо ни один из них, в историческом процессе своем, не избежал процесса скрещивания (см. И. А. Бодуэн де Куртене, О смешанном характере всех языков, ЖМНП, 1901).

Так как, однако, наравне с термином *гибрид* (с тем же или близким значением) могло употребляться (в переносной своей функции) и слово *метис*<sup>13</sup> (в животноводстве и пр.), то возникла потребность в искусственной (условной) дифференциации обоих терминов (*метис ~ гибрид*; resp. *метисация ~ Г.*). В лингвистической терминологии эта дифференциация осуществлена Н. Я. Марром, который придал термину Г. значение скрещивания неродственных языков, а термин *метисация*, наоборот, стал употребляться в смысле скрещивания родственных языковых систем (— языков и диалектов). Это словоупотребление сохраняется и Е. Д. Поливановым и другими представителями советской лингвистической литературы.

Следовательно, такой процесс, как скрещивание арабских и иранских элементов в новоперсидском языке, может быть назван Г., но, наоборот, такое скрещивание, какое имело место в процессе образования русского литературного языка, — скрещивание древнецерковнославянских (древнеболгарских, т. е. югославянских) и русских (т. е. восточнославянских) языковых элементов, — должно именоваться уже *метисацией*, но не Г.

Поскольку в общелингвистическом учении об эволюции языка весьма часто ощущается потребность в некоем общем термине, который обнимал бы все разновидности языкового скрещивания, в том числе и гибридационные и метисационные явления, я (Е. П.) позволяю себе пользоваться понятием «объединения языковых систем» (см.), или же «второго пути языковой истории» (см.).

В заключение позволю себе напомнить, что понятие языковой Г., как и понятие языковой метисации, т. е. понятие языковых скрещиваний вообще, отнюдь не должны рассматриваться как явления, непосредственно отображающие кровное, или антропологическое, смешение (или скрещивание) человеческих групп, и могут иметь место и в таких случаях, когда кровное (антропологическое) смешение вполне или почти вполне отсутствует.

Важную роль Г. и метисации в истории всех языков земного шара подчеркнул И. А. Бодуэн де Куртене в «указанной выше» работе [...].

#### **Ассоциация** [...]

По этимологии своей А. есть слово латинское: лат. *associatio* (из *ad/as-* + *sociatio*) — абстрактное существительное женского рода, с обычной суффиксацией *-atio*, от имени существительного *socius* «союзник»; ср. *социализм*, *социальный* и т. д.) бук-

<sup>12</sup> [В рукописи, очевидно, описка: вместо *лошак*. — В. Г.]

<sup>13</sup> Первоначальный смысл этого термина — человек смешанного происхождения, именно — родившийся от европейца и индианки (в Америке).

вально означает «присоединение», — откуда могут вырастать побочные значения: «объединение» и «привлечение» и т. д. [...]

[...] роль А., как таковой, в лингвистике оказывается настолько огромной, что, можно сказать, весь наш язык (речевой процесс) в целом представляет собою не что иное, как совокупность ассоциаций — главным образом ассоциаций между внеязыковыми представлениями и их языковыми символами (т. е. языковыми представлениями)<sup>14</sup>, а с другой стороны, и всевозможного рода ассоциаций внутриязыковых, т. е. ассоциаций между языковыми представлениями.

Эта огромная роль понятия А. во всех видах и разделах языковых явлений и обуславливает частую употребительность психологического термина, каким по существу является термин «А.» в лингвистической литературе. Можно сказать, что автор любого труда, обнаруживающего психологический подход к языковым явлениям<sup>15</sup>, неизбежно ощущает потребность в использовании термина А. Этим объясняется, конечно, и то, что мы, при составлении настоящего словаря лингвистических терминов, сочли необходимым включить в него и этот — по существу своему «психологический» термин.

### Инкorporация [...]

В качестве морфологического термина И. означает или образование сложного слова, или само сложное слово (— *Compositum*) — из двух или более лексических морфем: таким образом, слово И. является как бы синонимом к термину *компози́тум* (*Compositum*), или же к словосочетанию: образование сложных слов, но употребляется данный термин (И.) обычно лишь в применении к сложным словам (— компози́там) в полисинтетическом морфологическом строе (— в полисинтетических языках), где сложные слова (или инкorporации) из 2 или более лексических морфем являются не статистической аномалией (как, напр., в русском или в турецких языках), а наоборот, вполне нормальным и статистически преобладающим морфологическим типом слова. Поэтому с термином И. нам приходится встречаться главным образом лишь в работах, посвященных таким (— типичным полисинтетическим) языкам, как алеутский, абхазский, или же, наконец, в современных лингвистических работах по живому китайскому языку<sup>16</sup>.

В научном анализе морфологии современного китайского языка И. (т. е. сложное слово = *Compositum*) из двух лексических морфем (притом без каких-либо связующих эти морфемы аффиксов), оказывается, играет первенствующую роль — в качестве наиболее нормального (наиболее частого) типа элементарного слова. Действительно, сравнивая русский словарь со словарем современного живого (разговорного) китайского языка, мы легко можем убедиться, что в большинстве случаев русскому слову с одной лексической (коренной) морфемой, выражающему одно единное лексическое понятие, напр. *вода* = *vad-á*, *рука* = *ruk-á*, *скот*, *глаз*, *знать* = *zha-t'* и т. д., — соответствует китайское слово, состоящее из двух лексических морфем (а в связи с этим<sup>17</sup> и из двух слогов): напр. *да-мэй* (или по-дунгански *damyf*) «овёс» (букв.: «большая + пшеница»), *ча-е* (или по-дунгански *caje*) «чай» (букв. «чай[ные] + листья»), *ча-шуй* (или по-дунгански *cafi* = *ча-фи*) «чай (уже заваренный — в готовом для питья виде)» (букв. «чай[ная] + вода»), *чжи-дао* (или по-дунгански *z'ho*) «знать» (букв. «знать + путь [или: дорогу]»), *чи-фань* (или по-дунгански *cyfan*) «есть — кушать» (букв.: «есть [кушать] + [рисовую] кашу»).

В громадном большинстве случаев одна из данных двух лексических морфем оказывается «пустой», т. е. по существу не нужной для лексически-смысловых целей, и наличие ее объясняется именно давлением двухморфемно-двусложной нормы И., как элементарного морфологического типа слова: ср., напр., «пустую» морфему *-да-* по-дунгански *-do*) (букв. «путь, дорога») в составе инкorporационного слова *чжи-дао* (дунг. *z'ho*) (в предшествующую эру языковой истории (— на предшествующей стадии эволюции морфологического строя китайского языка), — именно в древнекитайском языке, на котором базируется, основывается и письменный иероглифический китайский язык, данной двусложной нормы не существовало (— слова были в большинстве случаев односложны), и в связи с этим, разумеется, понятие «знать» выражалось одной только морфемой *-чжи*<sup>18</sup>, а комплекс (— словосочетание, не слово! —)

<sup>14</sup> Ср. наше определение языка как языковой системы: «язык есть (относительное) тожество систем ассоциаций между внеязыковыми представлениями и их произносно-слуховыми символами, принадлежащих всем индивидуальным языковым мышлениям некоего коллектива, экономическими условиями предопределенного к регулярному перекрестному общению».

<sup>15</sup> А подход этот является, конечно, вполне естественным, ибо язык в целом представляет собою не что иное, как часть (т. е. известную совокупность процессов) мышления (и именно коллективного мышления).

<sup>16</sup> А также близким к нему языкам: современному тибетскому и т. д.

<sup>17</sup> И на основе принципа моносиллабизма морфем в современном китайском (resp. дунганском) языке.

<sup>18</sup> По современному ее произношению, выраженному в символах традиционной — русской — транскрипции китайских слов.

*чи-дао* должен был означать: «знать путь», «знать дорогу», «знать способ», «знать метод» и т. д.].

Вторым аналогичным примером И. с «пустым» элементом может служить морфема *фань* «рисовая каша, вареный рис» в инкорпорационном комплексе-слове *чи-фань* «есть-кушать» [в древнекитайском для выражения понятия «есть-кушать» достаточно было одной морфемы *чи*]: в современном китайском языке *чи-фань* понимается не как «есть именно рисовую кашу», но как «есть-кушать» вообще; следовательно, *фань* играет здесь роль «пустой» морфемы. Но если двухморфемная норма слова достигается иным путем, напр., если за глаголом следует имя конкретного и реального объекта действия (напр., «есть рыбу» и т. п.), то надобность в «пустых» морфемах, понятно, отпадает: ср. *чи-юй* — «есть рыбу» (но не *чи-фань-юй*); в этой И. морфема *чи* означает «есть» (= «кушать»), а морфема *-юй* означает «рыба» (~ «рыбу»).

В силу вышеуказанной особенности современной китайской морфологии термин И. в русской лингвистической литературе чаще всего можно встретить именно тогда, когда речь идет о китайском языке (см., напр., «Граматику современного разговорного китайского языка» А. И. Иванова и Е. Д. Поливанова — всю теоретическую часть *passim*).

**Сингармонизм** — искусственно составленный греческий термин общелингвистического значения, в современной русской лингвистической литературе предпочитаемый (на вполне рациональных основаниях<sup>19</sup>) традиционному термину *гармония гласных*.

Состоит из следующих древнегреческих по своему происхождению элементов: 1) *син* = *syn* [-=συν] «с(с/со)» или «вместе (с)» + 2) *-гармон* -Για<sup>1</sup> ← греч. *harmon-ia* «гармония, согласованность и т. д.» + 3) традиционный для русской научной терминологии (греческий по происхождению) суффикс *-изм* (в пояснении этого суффикса я не вдаюсь, так как их пришлось бы повторять в сотнях других статей настоящего «Словаря»). Таким образом, слову С. допустимо было бы дать буквальный перевод в виде «согласованность» или, еще ближе, — «согармоничность».

До выступления И. А. Бодуэна де Куртене и В. В. Радлова<sup>20</sup> на С. (или *гармонию гласных*) принято было смотреть как на фонетическое лишь явление прогрессивной ассимиляции (которое, между прочим, некоторыми «расово-теоретически» настроенными авторами даже объяснялось «психической вялостью» турецких и т. п. «урало-алтайских» племен). В действительности же С. представляет собою своеобразное средство формальной (— фонологической) символизации единства слова — в виде артикуляционного [—1] по укладу языка, а также 2) по укладу губ] единообразия гласных, а в известной мере и согласных звуков, принадлежащих одному и тому же слову (как состоящему из одной лишь о с н о в ы, так и состоящему из сочетания о с н о в ы с с у ф ф и к с а м и).

С. выступала чертой, характерной для т. н. «урало-алтайского» языкового семейства (см.), но на самом деле он безусловно доминирует лишь в пределах «алтайских» языков (см.): в турецких и монгольских языках, а также — уже в менее последовательном выявлении — в маньчжуро-тунгусских (в корейском С. отсутствует, но на основании некоторых «переходных» следов его<sup>21</sup> можно допускать наличие С. в древнем состоянии этого языка).

Зато в «уральских» языках поле распространения С. отнюдь уже не носит сплошного характера: из угро-финских языков С. присут, напр., венгерскому (а с другой стороны, также финскому «суоми», как и некоторым другим финским языкам), но зато в ряде других финских языков отсутствует — в том числе, напр., и в эстонском — этом ближайшем родственнике финского в узком смысле, т. е. «суоми»-языка<sup>22</sup>. В самоедских же языках мы обычно встречаем лишь эмбриональную стадию сингармонистических явлений (см. *Эмбриональный С.*<sup>23</sup>) — за исключением, впрочем, самоедского камассинского (но в последнем появлении С. относится к недавней эпохе и объясняется за счет самоедско-турецкого двуязычия).

С другой стороны, не надо думать, что сингармонизационных явлений (хотя бы

<sup>19</sup> Именно потому главным образом, что сингармонизационные явления (в частности, сингармонизационные чередования) охватывают не только гласные, но в известных размерах — и согласные звуки.

<sup>20</sup> Последний (В. В. Радлов) писал по вопросу о С. в своей «Phonetik der nördlichen Türkssprachen» — работе, которая, конечно, должна быть настоящей книгой каждого лингвиста-турколога. Там же он ссылается и на И. А. Бодуэна де Куртене.

<sup>21</sup> Напр., в виде чередования *a/ä* (или *a/Δ* в других диалектах) в *čab-atta* «ловил» [от глагола *čar*] ~ *mǝg-šitta* или *mΔg-Δtta* ← \**meg-etta* «ел» [от глагола *mǝk-* или *mΔk-* ← \**mek-*].

<sup>22</sup> Следовательно, с точки зрения наличия ~ отсутствия С. эстонский относится к своему северному родичу — «суоми»-языку (в Финляндии) — так же, как «пранизованные» узбекские говоры (напр., ташкентский, кокандский, маргеланский и пр.) к «непранизованным» (напр., чимкентскому либо туркестанскому) говорам.

<sup>23</sup> Примером может служить юракский самоедский (см., между прочим, у В. В. Радлова в упоминавшейся уже мною «Phonetik der nördlichen Türkssprachen» в главе «Vokalharmonie»).

и в совсем своеобразной или же в «эмбриональной» лишь форме) вовсе нельзя встретить за пределами «урало-алтайского» языкового мира. Так, особый вид С. констатируется, напр., в чукотском (и нек<sup>т</sup>оторых) других языках Сев. Азии); в айнском же имеются того же типа «эмбрионально-сингармонистические» чередования гласных в суффиксах, что и в самоедских. Наконец, сингармонистической системой (— опять-таки вполне специфической) владеет и один из и.-е. языков: р е з ь я н с к и й язык (один из мелких славянских языков в Северной Италии).

Наиболее типичным представителем С. мы вправе считать турецкую семью языков (несингармонистические языковые системы в ней представляют крайне редкое исключение <sup>24</sup>, — таковы, в частности, «иранизованные» диалекты узб<sup>к</sup>екского) языка и эронийский самаркандский, т. е. узбекированный азербайджанский язык, подпавший под сильнейшее влияние несингармонистического узбекского говора [— самаркандского]).

Критерием при определении сингармонистичности ~ несингармонистичности данной тур<sup>к</sup>ецкой) языковой системы (в частности, данного говора узб<sup>к</sup>екского) языка) может служить ответ на вопрос: имеются ли в этом языке (или диалекте, говоре) суффиксальные чередования гласных (а также согласных  $q \sim k$ ,  $qj \sim g$ ), зависящие от «заднего» или «переднего» характера гласных основы, т. е. — имеются ли чередования дублетов суффиксов <sup>25</sup> вроде  $lar \sim l\bar{a}r$ ;  $qa \sim g\bar{a}$ ;  $qan \sim g\bar{a}n$ ;  $dan \sim d\bar{a}n$ ;  $maq \sim m\bar{a}k$  и т. п., или же, наоборот, употребляется только о д и н из каждой данной пары дублетов (напр., только  $lar$ , только  $ga$ , только  $gan$ , только  $d\bar{a}n$ , только  $m\bar{a}q$  и т. д.)? В последнем случае данная тур<sup>к</sup>ецкая) языковая система (resp. данный узб<sup>к</sup>екский) говор) будет несингармонистической, что мы и видим, напр., в узб<sup>к</sup>екских) говорах самарк.-бух.-ходженгского, ташкентского, маргелано-кокандского, андижано-маргеланского и «уйгуризованного» («—умлаутного») типов. Прочие типы узб<sup>к</sup>екских) говоров «чагатайского» наречия, а также и все говоры обоих других узбекских наречий («—огузского» и «кыпчакского») — сингармонистичны.

В зависимости от того, приводят ли данные сингармонистические чередования гласных к единообразию язычного уклада (—заднего или, наоборот, переднего уклада языка) или же к единообразию губного уклада в гласных звуках слова, мы различаем: 1) я з ы ч н ы й (лингвальный), 2) г у б н о й (лабиальный) С.

В сингармонистических узбекских говорах язычный С. обнаруживается в следующих чередованиях фонем:

$a \sim \bar{a}$  (напр.,  $qalmaq \sim kelm\bar{a}k$ ),  
 $\bar{y} \sim i$  (напр.,  $qald\bar{y} \sim keldi$  или  $at\bar{t}\bar{y} \sim ijt\bar{i}$  «копя» ~  $ijtt\bar{i}$  «собаки»),  
 $u \sim y$  (напр.,  $pulum \sim \bar{y}uzum$  или  $juzum$  «мое лицо»),  
 $q \sim k$  (напр.,  $qald\bar{y}q \sim berdik$  или  $ald\bar{y}q \sim keldik$ ),  
 $qj \sim g$  (напр.,  $bar\bar{y}qj\bar{m} \sim bilg\bar{a}nligim$ ) и т. п.

В связи с этим, т. е. по моменту язычного С., гласные фонемы и согласные фонемы  $q$ ,  $qj$ ,  $k$ ,  $g$  данных узбекских говоров делятся на 2 категории:

Передние:  $i y \bar{e} \bar{e} \bar{a} ; k g$

Задние:  $\bar{y} u o a ; qj q$

В соблюдающих сингармонистическую норму слова (т. е. не являющихся аномальными «ломаными» словами <sup>26</sup>) могут участвовать только звуки «передней» или только звуки «задней» категории.

А чередования губного С. сводятся (в тех же говорах) к следующим парам гласных:

$\bar{y} \sim u$  (напр.,  $at\bar{y}m \sim pulum$ ),  
 $i \sim y$  (напр.,  $ijtim \sim \bar{y}uzum$ ).

Деление же гласных по моменту губного С. — на «не-губные» и «губные» — таково:

Негубные:  $\bar{y} i \bar{a} \bar{e} \bar{e}$

Губные:  $u y o \bar{e}$

По объему, сложности и систематичности сингармонистических явлений тур<sup>к</sup>ецкие) языки распадаются на ряд градаций, причем языками с наиболее полным и наиболее последовательным проведением С. можно считать киргизский и якутский <sup>27</sup>. Казахский тоже принадлежит к «строго-сингармонистическим» языкам, но уже с несколько меньшим объемом (и меньшей последовательностью) сингармонистических

<sup>24</sup> Находящее себе исчерпывающее объяснение в специфических условиях гибридизации.

<sup>25</sup> Словоизменительных, а также и «живых» словообразовательных (напр.,  $-l\bar{y}q \sim -lik$ ) суффиксов.

<sup>26</sup> Вроде  $b\bar{a}la$ ,  $d\bar{a}rja$ ,  $p\bar{i}jaz$ ,  $z\bar{i}jan$  и т. п.

<sup>27</sup> Этого не следует понимать в том смысле, что в данных двух языках вовсе отсутствуют нарушения С., в частности «ломаные» слова. Так, напр., в киргизском мы находим уже довольно значительное число «ломаных» слов — главным образом проникающих в киргизский язык за советский период заимствований из русского: советизмов и интернационализмов.

явлений. А языки, принадлежащие коллективам с сильной исламизацией быта — каковы, напр., узбекские сингармонистические диалекты<sup>28</sup> или азербайджанский и т. д., — скатываются (в связи с персидским языковым влиянием и проникновением в словарь массы арабизмов) до категории «нестрого-сингармонистических» тур(ецких) языков. При особых же условиях, способствовавших гибридизации (с персидским — таджикским живым языком), известные диалекты (узбекского и азербайджанского) способны, оказывается, и вообще утрачивать сингармонистический характер.

Наконец, в отношении будущей языковой истории можно сказать, что факторы советской эпохи и проникновение в словарь массы русских (и интернациональных) слов направляют языковую эволюцию в сторону ликвидации *С*.

Относительно зачаточных явлений сингармонистического характера в самоедских (напр., юракском), в айнском и т. п. см. отдельную статью *Эмбриональный С*.

*Акусма* — интернациональный общелингвистический (общefonетический) термин из «психо-fонетической» терминологии русско-польского ученого, покойного профессора И. А. Бодуэна де Куртенэ (— в ряду других, им созданных или предложенных терминов: *фонема* — *кинема* — *акусма* — *кинакема* — *морфема* — *графема* — *синтагма*, каковые ныне акцентированы и вводятся в международное употребление современной «фонологической» школой). Термин *А*. произведен от греческого глагола *ἀκούω* = *акйō* «слышу» — с греческим же окончанием *-ма* [греч. *-μα*], которое и в термине *фонема*, и *кинема*, и *графема*, и *синтагма* и т. д.

*А*. означает: акустический (слуховой) момент фонемы, повторяющийся и в других фонемах: напр., в фонеме [b] — *А*., общей с фонемами [d], [g], [z] и т. п., является *А*. звонкости, т. е. акустическое (слуховое) представление того эффекта, который получается [— воспринимается ухом] от дрожания голосовых связок при <произнесении> этих согласных ([b], [d], [g], [z] и т. п.). Само же по себе дрожание голосовых связок, участвующее в произнесении (артикуляции) фонем как физиологическая работа (а не как акустический эффект ее), — составляет уже не *А*., а *кинема* у [от греч. *κινέω* = *кинέō* «двигаю»]. Напр., *кинема* о *й* является дрожание голосовых связок (результатом которого оказывается акустический эффект звонкости) в составе фонем [b], [d], [g], [z]. Объединение же двухстороннее (произносительно-акустическое) — и представления самой артикуляции, и представления акустического ее эффекта составляет *кинакема* у. Так, фонема [b], напр., состоит из следующих элементов:

#### I. Акустический ряд (акусмы):

1. *А*. звонкости (голосового тона), общая у фонемы [b] с фонемами [d], [g], [z] и пр.
2. *А*. губного взрыва, общая у фонемы [b] с фонемой [p].

#### II. Физиологический ряд (кинемы):

1. *Кинема* дрожания голосовых связок, общая у фонемы [b] с фонемами [d], [g], [z] и пр.
2. *Кинема* губной смычки (с последующим раскрытием), общая у фонемы [b] с фонемой [p].

Объединяя же попарно акусмы с соответствующими им кинемами (в кинакемы), мы можем сказать:

Фонема [b] содержит в себе: 1) кинакему звонкости (общую с фонемами [d], [g], [z]), 2) кинакему губной смычки и взрыва (общую с фонемой [p]).

При делении слова [респ. слога] на фонемы мы делим длинный во времени ряд произносительно-слуховых единиц на последовательные — следующие один за другим во времени — периоды: это — фонемы. Но когда мы делим фонему (на акусмы, кинемы, кинакемы), элементы этого деления могут быть одновременно и (а не последовательными), притом 2 разных порядков: произносительные (— кинемы) и акустические, т. е. слуховые (— акусмы); в кинакемах они, конечно, уже объединены попарно, ибо кинакема — это кинема плюс соответствующая ей *А*.

<sup>28</sup> Кроме, пожалуй, сев.-хорезмского.

## ПЕРВЫЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ГРУЗИНСКОГО ЯЗЫКА С.-С. ОРБЕЛИАНИ (1716 г.)

(Общая характеристика)<sup>1</sup>

«Букет слов грузинский, или Лексикон» выдающегося грузинского писателя Саба-Сулхана Орбелиани (1658—1725) — первый из известных науке толковый словарь грузинского языка. Словарь Саба-Сулхана — плод тридцатилетнего труда. Работа над словарем была начата в 1685 г. Сначала был составлен первый краткий вариант; второй, более пространный, был закончен автором в 1716 г.

Словарь Саба-Сулхана включает около 25 тысяч лексических единиц. Сохранилось несколько автографов словаря. Издавался он трижды. Писатель Р. Эристави впервые напечатал словарь в 1884 г. в Тбилиси. В 1928 г. вышло второе издание. Оно было подготовлено проф. И. А. Кишвидзе еще в Петрограде, где и было начато печатание, прекратившееся в 1917 г. Издание осуществил проф. А. Г. Шанидзе после смерти И. А. Кишвидзе (в 1919 г.). Это второе издание 1928 г. считается выполненным под ред. И. А. Кишвидзе и А. Г. Шанидзе. В третьем издании (в 1949 г.) доц. С. Г. Иорданишвили воспроизводит без изменений рукопись, переписанную братом Саба-Сулхана, монахом Зосимэ в 1725 г. в Москве. Ныне проф. И. В. Абуладзе — директором Института рукописей АН ГрузССР — подготовлено новое критическое издание словаря, приуроченное к трехсотлетию со дня рождения Саба-Сулхана Орбелиани, отмечавшемуся в октябре 1959 г. Ниже дается краткая характеристика словаря как лексикографического труда. Мы останавливаемся лишь на определенных моментах, принципиально важных с точки зрения лексикографической.

1. В словаре Саба-Сулхана даются все части речи: существительные, прилагательные, числительные, местоимения, глаголы, наречия, союзы, междометия, частицы, а также отдельные форманты (префиксы, суффиксы).

Существительные представлены в им. падеже ед. числа без указания каких-либо дополнительных форм (например, род. падеж, как то принято в нашем толковом словаре).

В качестве лексической формы глагола выступает, как правило, масдар (отглагольное имя действия): *ašeneba* «(по)строение», *ķerva* «шитье» и т. п.

Грузинский глагол, обладающий рядом своеобразных категорий (как версия, каузатив и др.), инфинитива не имеет. В древнегрузинском языке формирование инфинитива намечалось, но в новогрузинском этот процесс не получил развития. В качестве лексической формы глагола масдар используется постольку, поскольку отглагольным именем действия обозначается отвлеченное от конкретных глагольных категорий действие или состояние. Но масдар не различает ни категорий версии, ни залога (например, отглагольное имя *строение, стройка* не различает залогов, инфинитив же различает: *строить, строиться...*). Кроме того, масдар в грузинском языке не образуется от ряда глаголов — статических, а также динамических.

Ясно, что использование масдара как лексической формы глагола связано с существенным неудобством: масдар, будучи лишь отглагольным именем действия, не полностью отражал бы лексические возможности глагола даже в русском языке; тем более это касается грузинского языка. В этой связи принципиально важной представляется попытка Саба-Сулхана признать личную форму глагола в качестве лексической единицы. В специальной литературе<sup>2</sup> указано, что преимущество при этом отдавалось 3-му лицу прошедшего основного (претерита) совершенного вида. Следует отметить, что в словарях арабского языка именно личная форма (3-е лицо прошедшего времени) выступает в роли лексической формы глагола (*faʿala* «сделал», *kataba* «написал», *daraba* «ударил»). Арабский глагол при отсутствии инфинитива ориентируется на конкретную форму глагола.

По-видимому, Саба-Сулхан включал личную форму глагола в словарь не без влияния лексикографической практики латинского и греческого языков<sup>3</sup>, где личная форма настоящего времени и перфекта дается наряду с инфинитивом (*scribo, scripsi*,

<sup>1</sup> Сокращенное изложение доклада на пленуме Словарной комиссии АН СССР в Ленинграде 26 июня 1959 г.

<sup>2</sup> См. Л. Кутателадзе, Редакции словаря С. С. Орбелиани, Тбилиси, 1957 (на груз. яз.).

<sup>3</sup> Это отмечается С. Г. Иорданишвили в «Предисловии» к 3-му изданию словаря (стр. IX).

*scriptum, scribere*). Во всяком случае сам автор говорит, что с латинским и греческим словарями он познакомился в бытность в Европе; с другой стороны, личные формы глагола появляются в том варианте словаря, который был закончен в 1716 г., после поездки автора в Италию и Францию. Брат лексикографа монах Зосим вносил в словарь, как это установлено в специальной литературе<sup>4</sup>, без разбора личные формы разного рода: субъектного строя, объектного строя, настоящего времени, прошедшего времени, причем лишь отдельных глаголов, также случайно взятых.

Попытка Саба-Сулхана исползовать личную форму глагола в качестве лексической формы — при всех несовершенствах этой попытки — представляется принципиально важной, особенно с учетом тех трудностей, которые порождаются отсутствием инфинитива и неудобствами масдара в качестве глагольной лексической единицы.

2. Порядок размещения слов в словаре Саба-Сулхана алфавитный. Вообще алфавитный порядок не может быть обойден и при расположении слов по гнездам: гнезда следуют алфавитному порядку, да и слова внутри гнезда также даются в алфавитной последовательности. Алфавитный порядок у Саба-Сулхана совмещается с использованием гнездового принципа в определенных случаях. Однако гнезда эти объединены не общей основой, а по предметному принципу. Так, например, в гнезде *kaci* «человек» находим слова: *tamacaci* «мужчина», *diaci* «женщина», *coli* «жена», *kmari* «муж», *šwili* «сын», «потомок», *ze* «сын», *asuli* «дочь», *kali* «женщина», «девушка», *ččwili* «младенец», *čabuki* «юноша», *mataberaci* «старик», *dedaberaci* «старуха», *mirčenili* «престарелый», «глубокий старик», *mčqovani* «убеленный сединами» и т. д.

Как видим, гнездо включает слова, обозначающие человека (мужчину и женщину) различного возраста; тут встречаются слова с начальным *m, d, š, ž, a, v, k, č, č...*, но нет ни одного слова с начальным *k*, представленным в основном слове: ничего общего с основой *kaci* слова, входящие в гнездо, не имеют. Гнездо создано не по принципу словопроизводства, а по предметно-логическому признаку.

Таких предметных гнезд в словаре Саба-Сулхана насчитывается более ста. Среди них попадаются гнезда с исходными существительными — как конкретными (*bade* «сеть», *dana* «нож», *zroxa* «крупный рогатый скот», *txa* «коза», *cxeni* «лошадь», *cxovari* «овца», *zaxli* «собака», *žogi* «стадо», *skore* «испращения», «помёт», *žavšani* «доспехи» и др.), так и абстрактными (*sicive* «холод», *sicxe* «жара», *mčuxareba* «печаль» и др.) и прилагательными (*mžave* «кислый», *ruxa* «бурный», *lamazi* «красивый», *čkari* «скорый» и т. д.).

Многие гнезда представляют культурно-исторический интерес; см., например: *čukeba* «дарить», причем различаются: *žweni* — подарок равному равному или же родственнику, свойственнику..., а также нижестоящего вышестоящему; *boži* — подарок владетеля крепостному, дар сюзерена вассалу; *niči* — подарок вышестоящего в общественной иерархии нижестоящему и т. д.

Любопытна психологическая интерпретация различных видов смеха (улыбка, громкий смех, хохот, фырканье...), плача и т. д., даваемая Саба-Сулханом: *gimili* «улыбка», *sicili* «смех», *kaškaši* «смех громкий и приятный», *kaskasi* «смех громкий тонкогласный», *raxrazi* «громкий и некрасивый смех», *qincili* «смех неприличный», *prušuni* «фыркание» («если кто-нибудь, не желая смеяться по поводу смешного, приснет и тут же умолкнет»).

Объединение слов в гнезда по предметному принципу наталкивается на трудности: то в языке недостает слова, обозначающего родовое понятие, то в предметную характеристику вклиниваются синонимы (и по смысловому признаку их разграничить не удается); например *kravi*, *batkani* и др.-груз. *tarigi* обозначают «ягненка».

В ряде случаев, группируя понятия, словарь Саба-Сулхана сближается по характеру с энциклопедическим словарем.

3. Толкование слов в словаре дано сжато и ограничивается подчеркиванием существенного момента: логической дефиниции понятий (с ссылкой на *genus proximum* и *differentia specifica*) у Саба-Сулхана не находим. Примеры толкований: *brzaneba* «приказ» — указанное (сказанное) вышестоящим [лицом]; *gwirgwini* «венец» — царский головной убор; *loxariki* «иноходец» — лошадь с хорошим аллюром; *budešuri* (сорт винограда) — виноград с удлиненными зернами; *žulveba* «ненавидеть» — считать отвратительным; *šuri* «зависть», «завидовать» — кручиниться о благе другого, т. е. по поводу того, что другому хорошо...

Если слово многозначно, Саба-Сулхан не нумерует значения, а указав основное, повторяет слово при каждом новом значении: *bude* «гнездо» — буквально «птичий дом»; *bude* — называется гнездо, в котором сидит желудь; *bude* — называется глазная впадина; *bude* — называется углубление, куда вставляются драгоценные камни; *bude* — называются ножны меча...

Толкование слов не снабжено документацией: выражений, иллюстрирующих употребление слова или его значение, Саба-Сулхан не дает. В специальной литературе установлено, что для «трудных слов» Саба-Сулхан подбирал документацию из текстов; но, по истолкованию слов, эти документации вычеркивал. Таким образом, они предна-

<sup>4</sup> См. Л. Кутателадзе, указ. соч., стр. 87, 93 и др.; см. также «Предисловие» А. Шанидзе ко 2-му изданию словаря.

значались для автора, а не для читателя. Документация оставались в словаре только в тех случаях, когда значение слова не было установлено; тогда кроме слова дается фраза из текста, где слово засвидетельствовано. Отсюда ясно, сколь важное значение придавал Саба-Сулхан документированию для определения смысла слова.

Общезвестные слова (*человек, тело, овца, скот, плач, кривой* и т. п.), обозначающие родовые понятия и служащие основным словом для целого гнезда, даются часто без пояснений. Приведя слово для родового понятия, Саба-Сулхан переходит к перечислению видовых понятий и их истолкованию.

Названия растений, животных, птиц, как правило, даны без истолкования и без указания соответствий на другом языке, например латинском (в словаре они обозначены условными знаками). Это тем более достойно сожаления, что в словаре приводится много названий животных, птиц, растений из живой речи и точное значение их не всегда легко установить.

Часто словарь указывает на происхождение слова: *tikčora* «бурдюк» — слово армянское, по-грузински называется *txieraki*; *parča* «кусок» — турецкое слово, обозначает кусок (материи); *purne* — латинское слово, по-грузински называется *čumeli* «печь»...

4. Труд Саба-Сулхана является словарем грузинского языка. Но следует уточнить, о каком языке идет речь: о древнегрузинском (т. е. языке памятников V—XI вв.) или о новогрузинском, формирование которого начинается уже в XII в. (язык Руставели, также описцев), а к XVIII в. определяется как законченная система лексико-грамматических норм.

Словарь Саба-Сулхана составлен прежде всего с учетом лексики древнегрузинских памятников (ветхозаветных и новозаветных книг), далее — богословской и философской переводной литературы X—XI вв. При этом охват словарем лексики древнегрузинского языка произведен с такой полнотой, что в древнегрузинских рукописях и теперь выявляется очень мало слов, которые нельзя было бы найти в словаре Саба-Сулхана. Но лексикограф этим не ограничивается: им учтена и лексика Руставели, на что указывают ссылки на места из «Витязя в тигровой шкуре». Мало того, в словарь включено много слов, взятых из живой речи и обозначающих предметы домашнего обихода, материальной культуры, быта XVII — начала XVIII в.; среди них попадаются и слова, которые в письменном языке не употребительны.

Лексика, взятая из устной речи, в значительной части представляет исключительный лингвистический интерес. Диалектологическая проверка подтверждает наличие соответствующих слов в том или ином диалекте; тем самым устанавливается потенциальная реальность и того лексического материала, который еще пока не обнаружен проверкой на местах. Лексика эта в ряде случаев дает возможность вскрыть древнейшие схождения в иберийско-кавказских языках там, где теперь, казалось бы, нет ничего общего. К примеру, авар. *сэг* «коза» (мн. число *сэа-ни*) и груз. *tsa* — основы, не сводимые друг к другу, но в словаре Саба-Сулхана находим *čali* «козленок до одного года»; основа та же, что и в аварском *сэг*, но сохранилась эта общая основа с отклонением в значении. Современный литературный грузинский язык и его опорные диалекты не знают приведенного слова *čali*. Оно сохранилось лишь в некоторых восточногрузинских горских диалектах. Словарь Саба-Сулхана зафиксировал его 250 лет назад. И таких примеров много. Отсюда — исключительная важность этого словаря для истории грузинского языка, а также для иберийско-кавказского языкознания. Таким образом, рассматриваемый словарь следует считать словарем грузинского языка а вообще, а не словарем лишь письменного языка.

Случаен ли такой широкий охват лексического материала? Оказывается, нет. Из слов самого автора следует, что лексика устной, нелитературной речи включалась им в словарь планомерно. Саба-Сулхан пишет: «В этой книге имеются слова хорошие и плохие, достойные похвалы и заслуживающие порицания, важные и ничемные. Не для брани (ругани) и не для посмеяния они мною описаны, но для полноты языка я их описал. Если ненужное (никчемное) слово будет изъято (вычеркнуто) [из словаря], затем менее важное исключится [из состава более ценных слов] и [напоследок] лишь один „бог“ останется в качестве лучшего слова, и обеднеет язык грузинский» (из приложенного к словарю завещания Саба-Сулхана).

Итак, «плохие» слова как факты языка должны быть представлены в словаре; отбирая лишь хорошие слова, обедним язык, — такова точка зрения Саба-Сулхана Орбелиани — точка зрения научно ценная, лингвистически бесспорная, но совершенно неожиданная для начала XVIII в. и тем более для автора-монаха, по широте кругозора далеко опередившего свой век.

Академический словарь французского языка, вышедший в 1694 г., будучи, как известно, строго нормативным, по своим установкам отнюдь не проявлял такой терпимости к лексическому материалу. «Букет слов» Саба-Сулхана Орбелиани, представляя собою словарь грузинского языка в целом, является подлинной сокровищницей грузинского языка и ценнейшим памятником духовной культуры в истории грузинского народа.

## КОНСУЛЬТАЦИИ

### ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЯЗЫКОЗНАНИИ

Статистический подход к описанию отдельных языковых явлений не является чем-то абсолютно новым. Первые работы, посвященные статистическому описанию лексики, появились еще в конце XIX в., и с тех пор накопилось большое количество литературы преимущественно по статистике слов, звуков и фонем. Некоторые методы, примененные в этих работах, весьма плодотворны. Однако самые интересные труды содержат, как правило, сложный математический аппарат, что делает их малодоступными для лингвистов. Представляется целесообразным в настоящей консультации обратить внимание на сущность статистического подхода к описанию фактов языка, по возможности минуя математический аппарат. Для удобства изложения вначале рассматривается применение статистических методов для обработки и анализа результатов наблюдений над языковыми фактами, а затем обсуждаются методы составления статистических описаний языковых явлений.

#### Применение статистических методов для обработки результатов наблюдений

Количественные оценки лингвистических фактов давно применяются в языкознании, и их необходимость признается языковедами самых различных направлений. Целью таких оценок большей частью является подтверждение или иллюстрация ранее высказанных положений качественного характера. Например, предполагается, что некоторая форма (конструкция и т. п.) была очень распространена в языке (правильнее было бы сказать в речи, «*parole*») данного периода; а в языке более поздних периодов она постепенно была вытеснена другой формой (конструкцией и т. п.).<sup>1</sup> Проводится эксперимент на текстах соответствующих периодов, в результате которого это положение подтверждается определенным цифровым материалом<sup>2</sup>.

Иногда эти подсчеты имеют более самостоятельный характер и служат основой для получения некоторых качественных выводов; например, устанавливается, что частота употребления отдельных падежей в русской научной литературе существенно отличается от частоты употребления соответствующих падежей в художественной литературе<sup>3</sup>. Такого рода работы часто квалифицируют как «лингвистическую статистику».

Различные количественные оценки, полученные в результате эксперимента (определение частоты одних явлений сравнительно с частотой других, динамика количественных изменений и т. д.), производятся в самых различных областях знаний согласно определенным общим правилам, сформулированным в математической статистике. Известный английский статистик Р. Фишер определил статистику как «науку о сокращении и анализе наблюдаемого материала»<sup>3</sup>. Однако подавляющее большинство лингвистических подсчетов и оценок проводятся без учета этих правил, как если бы такой науки не существовало. В частности, результаты лингвистического эксперимента почти никогда не сопровождаются оценками достоверности как цифрового материала, так и полученных на его основе качественных утверждений.

Необходимость оценок достоверности наблюдений диктуется следующими соображениями. Лингвист, стремящийся сделать какое-либо утверждение о языке («*parole*»), как правило, не может обследовать всю совокупность текстов, образующую язык данного периода (язык данной этнической группы, территории и т. п.). Лингвист работает лишь с небольшой частью, выборкой из этой совокупности: текстами или магнитофонной записью весьма ограниченного объема.

Согласно положениям математической статистики, то обстоятельство, что для независимых наблюдений доступна только часть целого, выборка, не лишает нас

<sup>1</sup> См.: A. Ellegård, *The auxiliary do*, Stockholm, 1953; H. N. Josselson, *The Russian word count and frequency analysis of grammatical categories of standard literary Russian*, Detroit, 1953; К. А. Гаяшина и М. Н. Петерсон, *Современный французский язык*, М., 1947.

<sup>2</sup> З. М. Волоцкая, И. А. Мельчук, Т. Н. Молошная, И. П. Шелимова и А. А. Шумилина, *О русском словаре частотности*, сб. «Вопросы статистики речи (материалы совещания)», Л., 1958.

<sup>3</sup> Р. Фишер, *Статистические методы для исследователей*, М., 1958.

возможности получить по части вполне адекватные представления о целом, о совокупности. В этом и заключается «сокращение материала», о котором говорит Фишер. Однако это возможно лишь при условии выполнения некоторых требований к выборке. Естественно, что абсолютного соответствия между тем, что наблюдается в выборке, и тем, что действительно существует в совокупности, быть не может: степень этого соответствия может колебаться достаточно широко, делая наши суждения о целом на основании части то вполне достоверными, то мало достоверными или вовсе недостоверными. Следовательно, выборка должна быть произведена согласно определенным правилам, а достоверность полученных результатов проверена.

На это еще в 1916 г. указывал выдающийся русский математик А. А. Марков в статье «Об одном применении статистического метода»<sup>4</sup>, посвященной критическому анализу работы Н. А. Морозова «Лингвистические спектры»<sup>5</sup>. Выводы Морозова основывались на подсчитанных им частотах некоторых предлогов, союзов и частиц в текстах русских писателей. Марков, не вдаваясь в теоретические построения Морозова (их наивность совершенно очевидна), показал, что цифровые результаты Морозова недостоверны хотя бы потому, что если заменить те отрезки текста, на которых он подсчитывал частоты, другими отрезками текста того же автора, то получатся совсем другие результаты (см. табл.).

Предлог	Автор текста	Частота по данным Морозова (на 1000 слов)	Частота по данным Маркова (на 1000 слов)
на	Пушкин	12	20
»	Гоголь	20	12
в	Пушкин	40	15
»	Гоголь	20	37

Это означает прежде всего, что объем обследованного Морозовым текста совершенно недостаточен и полученные данные недостоверны. Мы остановились на этом примере потому, что ошибки, аналогичные ошибке Морозова, многократно повторяются в большом количестве лингвистических работ, авторы которых считают свои результаты несомненными, поскольку они получены непосредственно из опыта (текста, записи на пленку). Однако, как писал Марков, достоверность результатов «не принимается на веру, а устанавливается в самом исследовании, причем должен быть выяснен и размер колебаний»<sup>6</sup>. Таким образом, все работы, где отсутствуют оценки достоверности, не имеют ничего общего с применением статистических методов. В значительном числе случаев отсутствие оценок ставит под сомнение качественные выводы, полученные на основе количественных данных.

В последние годы появился ряд работ, где применяются методы постановки эксперимента и оценок достоверности, разработанные в математической статистике. Среди этих работ следует отметить статью Д. Рида<sup>7</sup>, вступительную статью Б. Эшштейна к частотному словарю Г. Йосселсона<sup>8</sup> и в особенности статьи американских психологов<sup>9</sup>, очень интересные для лингвистов с точки зрения методики.

В той мере, в какой применение статистических методов в языкознании связано с вопросами правильной постановки эксперимента и обработки экспериментальных данных, эти методы являются для языковеда вспомогательным инструментом исследования, и их применение в языкознании принципиально не отличается от применения в других областях науки (биологии, технике, медицине). Разница заключается лишь

<sup>4</sup> А. А. Марков, Об одном применении статистического метода, «Изв. Импер. Акад. наук», Серия VI, т. X, № 4, 1916.

<sup>5</sup> Н. А. Морозов, Лингвистические спектры, ИОРЯС, т. XX, кн. 4, 1915.

<sup>6</sup> См. А. А. Марков, указ. соч., стр. 239.

<sup>7</sup> D. W. Reed, A statistical approach to quantitative analysis, «Word», vol. 5, № 3, 1949.

<sup>8</sup> H. H. Josselson, указ. соч.

<sup>9</sup> S. J. Baker, A linguistic law of constancy, сб. «Studies in language behavior» («Psychological monographs», vol. 56, № 2), Washington, 1944; W. Johnson, A program of research, там же; H. Fairbanks, The quantitative differentiation of samples of spoken language, там же; J. W. Chotlos, A statistical and comparative analysis of individual written language samples, там же.

в том, какая методика должна быть использована в данном конкретном случае. В некоторых случаях статистические методы, применяемые в других науках, должны быть значительно модифицированы и приспособлены к специфике лингвистических задач<sup>10</sup>.

### Статистический подход к изучению языковых фактов

При изучении языка мы часто сталкиваемся со случаями, когда те или иные явления невозможно описать достаточно полно и вместе с тем кратко. Известно, например, что место ударения в русском языке не фиксировано. Однако означает ли это, что любой слог, независимо от числа слогов в слове, одинаково часто бывает ударным?

В академической «Грамматике русского языка» (т. I, М., 1952) о месте ударения сообщается: «Поскольку словесное ударение характеризует слово, в фонетике никаких правил относительно его места установить невозможно; это относится к области морфологии и словаря».

Из морфологии мы узнаем, что некоторые морфемы всегда безударны. Из словаря узнаем, что в каждом данном слове ударение падает на первый, второй, третий и т. д. слог. Можно было бы создать описание места ударения, переписав весь словарь с указанием при каждом слове места ударения. Это описание было бы достаточно полно<sup>11</sup>, но чрезвычайно громоздко.

Зная все о каждом слове (индивидуальное описание), мы тем не менее по-прежнему не знаем, есть ли какая-либо закономерность в положении места ударения в русском слове. Однако мы можем попытаться дать более краткое и удобное описание места ударения, узнав, как часто в словаре встречаются двухсложные слова с ударением на первом слоге, на втором слоге; трехсложные слова с ударением на первом, втором, третьем слоге, четырехсложные слова и т. д.

Такого рода описание называется статистическим. Особенность статистического описания — в противоположность индивидуальному — в том, что оно применяется к совокупности большого числа событий (явлений), а не к отдельному, единичному событию (явлению). Выбор вида описания всегда зависит от характера изучаемого объекта. Можно показать, что многие свойства речи («parole»), а иногда и языка («langue») заставляют выбирать именно статистическое описание<sup>12</sup>.

При статистическом описании места ударения мы могли бы удовлетвориться некоторой выборкой из словаря и, рассчитав ее объем так, чтобы полученные результаты были достаточно достоверны, сформулировать правила о месте ударения следующим образом: с достоверностью 95%<sup>13</sup> можно утверждать, что: 1) если слово двухсложное, то из 1000 таких слов  $p$  слов имеют ударение на первом слоге, а остальные — на втором; 2) если слово трехсложное, то из 1000 таких слов  $k$  слов имеют ударение на первом слоге,  $t$  — на втором и остальные — на третьем, и т. д.

Такие правила представляют собой сознательное упрощение действительных фактов, и при их применении возможны ошибки, но пределы ошибок указаны, и они достаточно малы. Правила же компактны, непротиворечивы и верны в подавляющем большинстве случаев. Очевидно, что в описанном примере статистическое описание следует предпочесть индивидуальному.

Имеются работы, где при помощи аналогичных методов описывается состав слова по числу слогов для разных языков<sup>14</sup>, длина предложения у различных авторов<sup>15</sup>, длина слов по числу букв в русской технической литературе<sup>16</sup>, количество слов с данной частотой в тексте фиксированной длины<sup>17</sup>.

Для всех перечисленных характеристик речи общие закономерности удалось выявить только при статистическом подходе. Приведенные примеры касаются относительно простых случаев, где преимущества статистического описания очевидны. Более важным представляется обратить внимание на те случаи, где эти преимущества обнаруживаются лишь при тщательном анализе. Приведем один простой пример. Известны стилистические требования, согласно которым в пределах одной фразы или двух смежных фраз избегают повторять одно и то же существительное, заменяя его соответствующим

<sup>10</sup> Подробнее об этом см., например, G. U. Yule, *The statistical study of literary vocabulary*, London, 1944.

<sup>11</sup> В той мере, в какой полон словарь. Теоретически правильно было бы работать не со словарем, а с текстом (прозаическим и поэтическим отдельно). Пример со словарем приведен для простоты.

<sup>12</sup> См. L. Apostal, B. Mandelbrot, A. Morf, *Logique, langage et théorie de l'information*, Paris, 1957; G. U. Yule, указ. соч.

<sup>13</sup> Т. е. на каждые 100 случаев применения правил ошибка возможна не более чем в 5 случаях.

<sup>14</sup> В. Фукс, *Математическая теория словообразования*, в кн. «Теория передачи сообщений», М., 1957.

<sup>15</sup> G. U. Yule, *On sentence-length as a statistical characteristics of style in prose (with applications on two cases of disputed authorship)*, «Biometrika», vol. 30, 1939; C. B. Williams, *A note on statistical analysis of sentence-length as a criterion of literary style*, «Biometrika», vol. 31, 1940.

<sup>16</sup> A. Oettinger, *The distribution of word length in technical Russian*, «Mechanical translation», vol. I, № 3, 1954, стр. 38—40.

<sup>17</sup> G. U. Yule, *The statistical study of literary vocabulary*.

личным местоимением 3-го лица: *Статья* N. N. посвящена анализу данного словосочетания. Она (вместо статьи) подробно излагает...

Имеется вместе с тем значительное число случаев, когда подобная замена невозможна, так как в силу различных грамматических и синтаксических особенностей данной фразы возникает неоднозначное соотношение местоимения и двусмысленность: *Портрет* написан известным художником: я недавно видел его или *Сестра* вступила в артистическую труппу, она уехала на гастроли.

Отдельные случаи невозможности такой замены обычно указаны в учебниках по литературному редактированию, однако до сих пор не удавалось сформулировать достаточно полные и вместе с тем обозримые основные правила замены, предусматривающие и случаи ее невозможности. По-видимому, это связано с тем, что причины невозможности замены обычно очень многообразны и их трудно обобщить, так как они часто зависят от индивидуальных особенностей построения конкретной фразы. Попытка составить общие правила приводит к необходимости перечислить все эти особенности, что не имеет смысла. Сотрудник сектора прикладного языкознания Института языкознания АН СССР Л. Н. Иорданская, изучая этот вопрос в связи с проблематикой машинного перевода, предложила статистические правила невозможности замены существительного личным местоимением 3-го лица. В основе такого подхода лежит рассмотрение большого количества фраз, где замена невозможна, и выделение наиболее часто встречающихся причин невозможности замены; случаи редкие исключаются из рассмотрения. Это позволило автору создать компактные правила, согласно которым не менее чем в 94 случаях из 100 правильно определяется возможность замены.

Подчеркнем, что правила Л. Н. Иорданской сформулированы как верные в подавляющем большинстве случаев, что ни в какой мере не уменьшает их ценности, ибо попытка создать для этой же цели правила, верные во всех случаях без исключений, по изложенным выше причинам не привела к успеху. Естественно, что лучше иметь правила, о которых заранее известно, что они верны не менее чем в 94 случаях из 100, чем не иметь никаких правил, или иметь правила объемом в десятки страниц печатного текста.

Лингвистам хорошо известно, что значительное количество формулируемых относительно языка и тем более речи «правил», «законов» имеет исключения, не объясняемые никакими другими «законами», и, что очень важно, эти исключения часто не могут быть легко перечислены и учтены. Поэтому в науке о языке много утверждений, которые в аналогичных условиях оказываются то истинными, то ложными. Представляется желательным уточнение таких формулировок путем указания степени их достоверности, т. е. процента осуществления данного утверждения. Если при создании какого-либо упрощенного описания 3—5% фактов не укладываются в схему, то такое описание только тогда можно будет отвергнуть, когда удастся создать лучшее, т. е. более близкое к реальности, охватывающее не 95, а, допустим, 99%.

В последнее время появились работы, содержащие «переформулировки», уточнения некоторых лингвистических утверждений. С точки зрения методов наиболее интересна статья И. А. Мельчука о выраженности рода французских существительных их окончанием<sup>18</sup>.

Наиболее широко статистические методы применялись к изучению лексики. Естественной основой для таких попыток служит то обстоятельство, что хотя появление определенного слова на определенном месте текста может рассматриваться как случайное событие, но изучение повторяемости слов, соотношения между более и менее частыми словами и т. п. характеристик дает возможность подметить некоторые общие закономерности в структуре словаря и текста.

Установлено, например, что в тексте любой длины слов, употребленных по одному разу, всегда больше, чем слов, употребленных 2—3 раза и более<sup>19</sup>, и что если из словаря писателя исключить слова, употребленные им только однажды, то словарь сократится примерно на 30%<sup>20</sup>. Вместе с тем подсчитано, что небольшое количество самых частых слов покрывает значительную часть текста (например, на 1000 самых частых слов приходится до 85% всех словоупотреблений, а на остальные десятки тысяч слов, составляющих словарь писателя или отдельного большого по объему произведения, приходится только 15—25% словоупотреблений). Существенный интерес представляют данные о функциональной связи между длиной текста и количеством различных слов в тексте данной длины (работа Чотлоса<sup>21</sup>), исследования соотношения между частотой слова и его номером в списке по убывающим частотам (так называемый «закон Ципфа»<sup>22</sup>). Результаты работ последних лет позволяют полагать, что развитие стати-

<sup>18</sup> И. А. Мельчук, Статистика и зависимость рода французских существительных от окончания, сб. «Вопросы статистики речи».

<sup>19</sup> G. U. Yule, The statistical study of literary vocabulary.

<sup>20</sup> Р. М. Фрумкина, Статистическая структура лексики Пушкина, ВЯ, 1960, № 3.

<sup>21</sup> J. W. Chotlos, указ. соч.

<sup>22</sup> B. Mandelbrot, Structure formelle des textes et communication, «Word», vol. 10, № 1, 1954; M. Vey, A propos de la statistique du vocabulaire tchèque, «Slavia», r. 27, № 3, 1958; A. Koutsudas, Mechanical translation and Zip's law, «Language», vol. 33, № 4, 1957.

стических методов изучения лексики даст возможность выработать некоторые объективные критерии для характеристики лексики отдельных писателей, а на этой основе в дальнейшем выделить характеристики литературного «языка» отдельной эпохи, т. е. создать методы статистического изучения стиля.

С другой стороны, объективные методы характеристики словаря могли бы быть использованы в работах по изучению индивидуальной речи: речи детской в сравнении с речью взрослых, речи нормальной и патологической<sup>23</sup>, устной речи в отличие от письменной и, наконец, особенностей речи, возникающих в связи со специфическими условиями коммуникации (ср., например, данные Френча, Картера и Кенига об особенностях речи по телефону<sup>24</sup>).

В получении возможно более детальных статистических характеристик речи заинтересованы многие области науки и техники, на что неоднократно указывали, например, работники связи. Не считая возможным здесь на этом останавливаться, укажем на то, что и в языкознании есть области, где статистические данные могут быть использованы с чисто практическими целями. Ограничимся двумя примерами.

1. Лексикографическая практика часто требует заранее оценить, сколько различных слов (заглавий словарных статей) может дать расписка того или иного памятника. Вместе с тем объем памятников, которые необходимо учесть, часто так велик, что исключена возможность сплошной расписки. Допустима ли выборочная расписка, каковы ее преимущества и недостатки? Ответы на все эти вопросы могут быть даны только на основе точных сведений о статистической структуре текста. Некоторые существенные недостатки и трудности «Словаря польского языка XVI века»<sup>25</sup> объясняются как раз тем, что авторы исходили из ошибочных представлений о статистической структуре текста, доверяясь скорее интуитивным соображениям.

2. Методы научной критики текста и атрибуции анонимных произведений могли бы быть значительно усовершенствованы на основе статистических данных<sup>26</sup>. Например, если известно, что 30% лексики автора составляют слова, употребленные по одному разу, то сразу делается очевидной неприемлемость такой аргументации: «Это произведение не может принадлежать перу данного автора, так как оно содержит 3 слова, нигде более у данного автора не засвидетельствованные».

### Некоторые выводы

1. Овладение статистическими методами обработки результатов наблюдений должно быть обязательным для всех лингвистов независимо от теоретических взглядов по общим вопросам языкознания, которых придерживается тот или иной ученый.

2. Напомним, что экспериментальной основой для большинства статистических исследований языковых фактов служат различные подсчеты: частотные словари, словоуказатели к писателям («конкорданции»), подсчеты частот фонем, звуков, грамматических форм и т. д. Все эти подсчеты чрезвычайно трудоемки, и на них непроизводительно расходуется квалифицированный труд. Современная техника позволяет обрабатывать тексты большого объема при помощи счетно-аналитических машин<sup>27</sup>, и эти возможности совершенно необходимо использовать, тем более что для русского языка такого рода экспериментальных данных почти не имеется, а это тормозит теоретические исследования.

3. Статистический подход к изучению языковых фактов является одним из возможных путей познания языка. Есть все основания полагать, что применение статистических методов откроет возможность познания таких закономерностей, которые иными методами описать затруднительно, а иногда и невозможно.

Р. М. Фрумкина

<sup>23</sup> Н. Fairbanks, указ. соч.

<sup>24</sup> N. R. French, C. W. Carter, W. Koenig, Words and sounds of telephone conversations, «Bell system technical journal», vol. 9, № 1, 1930.

<sup>25</sup> W. Kuraszkiewicz, Statystyczne badanie słownictwa polskich tekstów XVI wieku, в кн. «Z polskich studiów slawistycznych. Prace język. i etnogen...», Warszawa, 1958.

<sup>26</sup> G. U. Yule, The statistical study of literary vocabulary; C. B. Williams, указ. соч.

<sup>27</sup> Ср. P. Tasmann, Literary data processing, «IBM journal of research and development», vol. 1, 1957; H. H. Josselson, указ. соч.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## ОБЗОРЫ

О ПУБЛИКАЦИИ ПАМЯТНИКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА  
И ПИСЬМЕННОСТИ

В конце XIX и первой четверти XX в. наша отечественная наука занимала первое место по изданию древнерусских, а также старославянских и церковнославянских памятников. На этих изданиях основывались исследования наших и зарубежных славистов. За 1895—1917 гг. было опубликовано более 60 крупных рукописей. К ним принадлежат такие, как Новгородские грамоты, Двинские грамоты, Радзивилловская летопись и Повесть временных лет, подготовленные А. А. Шахматовым, Житие Бориса и Глеба и Киево-Печерский патерик (Д. И. Абрамович), Повесть об Акире (Н. Н. Дурново и А. Д. Григорьев), Саввина книга и Болонская псалтырь (В. Н. Щепкин), Супрасльская рукопись (С. Н. Северьянов), Хиландарские листки (С. М. Кульбакин), Чудовская псалтырь XI века (В. А. Погорелов), Слепченский апостол (Г. А. Ильинский) и многие другие. Эти образцовые издания служили надежной базой для исследований по истории русского языка, по старославянскому языку и сравнительной грамматике славянских языков. В их подготовке принимали участие видные ученые.

Высокое качество изданий определялось и наличием соответствующих полиграфических условий. После 1917 г. традиция изданий подобного рода некоторое время продолжалась. На том же высоком уровне были опубликованы «Иудейская война» Иосифа Флавия и Хроника Георгия Амартола, подготовленные В. М. Истриным, Девгениево деяние (М. Н. Сперанский) и нек. др. Последним таким изданием была «Русская Правда» под ред. Е. Ф. Карского в 1930 г. С тех пор издание памятников осуществлялось лишь историками, историками права и литературоведами. Среди литературоведов ведущее место принадлежит В. П. Адряновой-Перетц.

Работа языковедов в течение последних десятилетий строилась, как правило, на старых публикациях и новых изданиях материалов, выполняемых нелингвистами. Не предназначенные для лингвистических исследований новые публикации удовлетворяли историков языка далеко не в полной мере. Исключением явилось опубликование новгородских берестяных грамот, открытых А. А. Арциховским, и «Двух памятников новгородской письменности» (М. Н. Тихомиров и М. В. Щепкина).

В настоящее время вопрос о расширении «документальной» базы лингвистических изысканий приобрел особую остроту. Исследование истории русского языка и сравнительно-историческое изучение восточнославянских языков невозможно без обширного круга источников—современных и исторических. В связи с разработкой проблем диалектологии и современного русского литературного языка в последние годы объем источников первой категории значительно увеличился. Что касается второй категории источников, то здесь положение иное: изучение и публикация памятников письменности—область пока забытая. Между тем коренные проблемы истории русского языка в связи с историей украинского и белорусского языков не могут быть решены без включения в научный оборот новых материалов, извлекаемых из памятников письменности. Отсутствие необходимой в этом отношении базы для исследования чрезвычайно затрудняет решение вопроса о диалектной основе национального языка, а также раскрытие процессов взаимодействия народно-речевой стихии и русского литературного языка в минувшие периоды развития. Узостью базы существенно ограничено и освещение вопроса о взаимодействии и соотношении в литературном языке XVI—XVII вв. народно-русских и церковнославянских элементов. Мало выявлено источников, которые позволили бы воссоздать яркую картину взаимовлияния восточнославянских речевых культур. Отставание в издании южно-великорусских текстов буквально парализовало выяснение такого важного момента, как соотношение северно- и южно-великорусских элементов в литературном языке XVI—XVII вв.

Без привлечения новых богатых данных восточнославянских памятников письменности немислима дальнейшая плодотворная разработка исторической фонетики и исторической морфологии русского языка. Старые и новые исследования показывают, что для наблюдений по исторической фонетике первых веков истории русского языка ценный материал дают памятники церковно-книжной письменности, сохранившиеся в силу особых обстоятельств лучше других столь же древних рукописей. Это общеизвестно. Указанные памятники

содержат материал и для исторической морфологии, которая в прошлом разрабатывалась слабее. Морфологические новообразования, возникающие на русской почве, отражаются не только в оригинальных, но и в древних церковнокиных памятниках, восходящих к южнославянским протографам. Ставшие хрестоматийными древнейшие восточнославянские особенности (*-ть* в 3-м лице глаголов, *-ъмь* вместо *-омь* в падежных окончаниях и другие черты) были выявлены по материалам источников именно этой категории.

Очень важные сведения содержат и поздние памятники. Здесь первое место принадлежит материалам частной переписки. Именно в них наиболее полно, насколько это возможно в письменности, отражается живая сторона языка минувших веков. Такие проблемы исторической фонетики, как документирование типов яканья и иных вариантов безударного вокализма в XVII в., утрата затвора аффрикатами по данным того же времени, могут быть решены лишь на базе этих источников. Они же таят элементы обиходнобытовой лексики и фразеологии, не свойственные другим жанрам древнерусской письменности. Деловая письменность XVI—XVII вв. содержит богатейший материал по ономастике, топонимике и различным группам лексики, а, например, южновеликорусские тексты — по таким интересным явлениям, как утрата среднего рода, синтаксическая конструкция типа *земля пахати* и др. Разрешение кардинальных вопросов исторической грамматики русского языка и других восточнославянских языков предполагает дальнейшее углубленное и всестороннее изучение памятников письменности.

Новые материалы нужны не только для установления новых фактов, но и для хронологического и территориального приурочения уже известных науке явлений. Сейчас, когда немало ценнейших новых данных получено в результате картографирования русских говоров Европейской части СССР, украинских и белорусских говоров, когда выявились ареалы распространения важных фонетических и морфологических явлений в восточнославянских языках, встает задача разбраться в генезисе этих явлений путем привлечения новых материалов древнерусского, старорусского, староукраинского и старобелорусского языков и дальнейшего изучения уже известных памятников под новым углом зрения. При этом следует иметь в виду, что если в относительной хронологии и взаимосвязи языковых явлений иногда можно разбраться без материала памятников письменности, то при установлении абсолютной хронологии обойтись без него совершенно невозможно.

Имеет определенное значение исследование и издание памятников церковнокиной письменности, отобранных с учетом проблем старославянского языка. Это особенно существенно, если учесть, что некоторые памятники в южнославянских

изводах не сохранились, а иногда и вообще нигде не известны, за исключением русских списков. Некоторые же памятники известны и в южнославянских списках, но в последних не содержат необходимых материалов для некоторых вопросов старославянской грамматики и фонетики.

Актуальным представляется исследование и издание памятников древнерусской письменности и для истории литературного языка. В этом случае необходимо привлекать не только оригинальные литературные тексты и переводы, сделанные непосредственно с греческого, древнееврейского и прочих неславянских языков, но и памятники церковнокиной литературы, переписанные со старославянских оригиналов. Это является вполне обоснованным: широкая распространенность и общезвестность произведений этого рода не могла не повлиять на формирование литературного языка, особенно с точки зрения обогащения его словаря; существовали собственно древнерусские редакции канонических текстов, созданные на Руси, или, во всяком случае, бытовавшие только на Руси и потому оказавшие заметное влияние на формирование литературного языка, особенно на словарь. Вместе с тем не следует забывать, что в текстах подобного рода особенно сильна традиция, и для того времени, от которого сохранились памятники делового языка, показания последних, безусловно, ценнее, особенно для выявления фонетических и грамматических черт языка, чем данные церковнокиной письменности.

Новые факты необходимы и для обновления вузовских курсов исторической грамматики и истории литературного языка, причем дело не только в дальнейшей разработке теоретических положений, но и в простом освежении материала. Известно, что даже в новейших работах подобного характера лингвистические иллюстрации преимущественно те же, что и в «Лекциях по истории русского языка» А. И. Соболевского.

Необходимость интенсивной публикации памятников для нужд в первую очередь историков языка диктуется и обстоятельствами внешнего порядка. Специалисты многих вузов и научных учреждений, отдаленных от богатых собраний Москвы и Ленинграда, не имеют возможности систематически работать в центральных хранилищах. Это ограничивает их научную деятельность сферой современного литературного языка и местных народных говоров. Лишь в отдельных немногих случаях предмет их занятий составляют рукописи XVI—XVIII вв., которыми располагают местные архивы. Высококачественное воспроизведение текстов древнерусской письменности, надо думать, повысит культуру филологических исследований. Оно будет способствовать выявлению и лучшему сохранению старых рукописей на местах, в частности в областных архивах, где древние рукописные фонды нередко находятся в неблагоприятных для хранения условиях.

В «технологическое» основание новых изданий следует положить тщательно ученный и критически освоенный эдиционный опыт нашей отечественной науки и лучших зарубежных публикаций. Изданию памятников должно сопутствовать развитие исследовательской работы в области палеографии, усовершенствование методов палеографического анализа.

\*

Не касаясь специально принципов и типов изданий, сделаем краткий обзор пожеланий, высказанных специалистами относительно издания памятников, и представим в общих чертах, насколько это возможно, эдиционные перспективы. Пожелания эти явились откликами на вопрос, предложенный научной общественности Институтом русского языка АН СССР: издание каких древнерусских памятников было бы особенно актуально?

Наметилось полное единодушие в отношении издания всех памятников в XI—XII вв., в их числе и тех из опубликованных, воспроизведения которых неудовлетворительно или стали библиографической редкостью. Акад. С. П. Обнорский пишет: «Надо было бы издать памятник из памятников, старейшее, великолепное Остромирово евангелие» — и указывает также на Изборник 1076 г., который сильно ветшает. Заметим, что в настоящее время институт готовит публикацию этого Изборника. Разделяя мнение об издании последнего, акад. А. И. Белецкий считает необходимой и новую публикацию Изборника 1073 г.; он же называет Успенский сборник, лишь частично опубликованный в свое время А. А. Шахматовым и Н. А. Лавровым. Этот же сборник рекомендует издать член-корр. В. П. Адрианова-Перетц. Член-корр. Н. К. Гудзий рекомендует к изданию также Успенский сборник и Изборник 1073 г. Член-корр. Д. С. Лихачев высказывается за издание в первую очередь важнейших и ценнейших памятников русского языка и по преимуществу древнейших, так как памятники XV—XVIII вв., вследствие их многочисленности, являются более доступными, ими можно заниматься непосредственно по рукописям. Д. С. Лихачев рекомендует издать Путятину mineю (около 1100 г.), Благовещенский кондакарь XI—XII вв., Толстовскую псалтырь XI—XII вв., хранящиеся в Гос. публичной библиотеке в Ленинграде. Путятину mineю и Толстовскую псалтырь наряду с Остромировым евангелием находим и в рекомендации Н. Н. Розова. Д. С. Лихачев настаивает на скорейшем издании граффити, часть которых принадлежит XI—XII вв. «Граффити, — полагает он, — не менее ценны с точки зрения языка, чем берестяные грамоты, но последние выкапываются из земли и поэтому обеспечены мощным интересом археологов, а граффити находятся над землей и поэтому фактически „бесхозны“. Граффити гибнут буквально на глазах... Нельзя допускать, чтобы этот важнейший

русский материал погибал». До сих пор, говорится далее, не обследованы граффити древнейших соборов Смоленска, Полоцка, Чернигова и др. Лихачев предлагает опубликовать граффити Софии в Киеве, граффити Софии в Новгороде и некоторые другие. Затем из текстов XII в. рекомендуют издать прежде всего следующие: апостол XII в. из собрания Н. К. Никольского — Библиотека АН СССР (С. П. Обнорский); Мстиславово евангелие 1115—1117 г., первый полный апракос из числа сохранившихся — Гос. исторический музей (Д. С. Лихачев, П. С. Кузнецов, М. В. Щепкина и др.); как известно, текст древнерусского полного апракоса никогда не издавался; Юрьевское евангелие около 1120 г. — Гос. исторический музей, Пантелеймоново евангелие XII в. — Гос. публичная библиотека (Д. С. Лихачев); Добролюво евангелие 1164 г. — Библиотека СССР им. В. И. Ленина (С. П. Обнорский, Д. С. Лихачев); по мнению П. С. Кузнецова, М. В. Щепкиной и С. И. Кочетова, заслуживает быть изданным Синайский патерик XII в. — Гос. исторический музей; памятник отличается архаичностью графики и орфографии, содержит много оригинального, идущего из живой речи и отсутствующего в греческом подлиннике. Е. Э. Гранстрем считает желательным издать среди иных материалов XI—XII вв. сборник записей писцов и других помет на рукописях. «Такие записи, — замечает она, — не стандартны по языку и содержанию..., публикация сборника даст возможность более широкого использования их, введет в оборот неизвестные тексты, причем не религиозного, а светского характера. Именно в таких записях могут быть найдены следы народной речи». М. В. Щепкина обращает внимание на то, что издание записей даст возможность учета древних писцов и количества дошедших до нас работ каждого из них.

Из памятников XIII в. особенно рекомендуются Ростовский апостол 1220 г. и Ярославский сборник XIII в., хранящийся в Ярославском музее-заповеднике. Многочисленные рекомендации, касающиеся публикации письменных источников более позднего времени, особенно тех из них, которые, будучи поздними списками с несохранившихся оригиналов XII—XIV вв., являются памятниками древнерусской литературы. Институт языкознания АН УССР предлагает включить в перспективный план издания в первую очередь те памятники, главным образом светского содержания, которые до сих пор еще не издавались, например документы делового языка (архивы приказных изб и др.), научного языка (неиздававшиеся летописи, учебники, учебные пособия и пр.). Институт языкознания АН БССР признает весьма желательным публикацию памятников письменности XI—XIV вв., созданных в смоленских и полоцких землях, памятников, расширяющих научную базу для решения вопросов истории формирования белорусского языка. Упомянув о Синодальном списке Первой новгородской ле-

тописи (XIV в.), С. П. Обнорский пишет: «Хотя издание летописей — задача Института истории, надо было бы эту летопись, как вообще старейший список летописи, издать лингвистически». За лингвистическое издание той же рукописи выступают Э. И. Коротяева и А. Н. Савченко; С. В. Фролова называет Лаврентьевскую и Ипатьевскую летописи, Л. Л. Гумецкая — Хлебниковский список Галицко-Волынской летописи. Кафедры языка и литературы Ужгородского университета вообще находят желательным издание летописей. Об этом пишет и А. А. Дементьев.

Рекомендуются для издания и памятники древней юридической литературы. Так, Д. С. Лихачев указывает Новгородскую кормчую 1282 г. Он же, а также П. С. Кузнецов и др. упоминают Рязанскую кормчую 1284 г., причем Кузнецов отмечает, что этот памятник содержит немало морфологических новшеств. Много пожеланий касается лингвистического издания грамот. В частности, С. П. Обнорский говорит о старейших московских грамотах и далее — об отдельном издании московских грамот XV—XVII вв. О необходимости публикации последних заявляют также научные работники Ростовского и Ужгородского университетов. Ужгородский университет предлагает издать молдавские грамоты XIV—XV вв. и украинские грамоты XV в. Э. И. Коротяева, резко критикуя последние издания Псковской судной грамоты за непродуманную модернизацию графической стороны древнего текста, его орфографии, небрежное воспроизведение текста, считает настоятельно необходимым новое филологическое издание этой грамоты. А. И. Белецкий высказывает пожелание издавать статейные списки русских дипломатов, дворцовые дела. Научные работники Ленинградского университета желают принять участие в подготовке к печати памятников письменности, а некоторые уже готовят к публикации такие памятники: Б. А. Ларин занял Ремесленными книгами XVI—XVII вв. и Торговой книгой купца Кукшина XVII в., О. С. Мжельская — Псковской судной грамотой, И. С. Хаустова — Курантами, своеобразными рукописными газетами XVII в., А. А. Горбунова (Пермский пединститут) подготовила к печати несколько соликамских грамот XVII в. и готовит публикацию новгородских губных грамот на Ладугу. Здесь же с аналогичной целью верхотурскими грамотами занимается Т. И. Гаевская.

Далее, иногда без указания конкретного списка, называется круг произведений исторической и художественной литературы: Римские деяния (А. И. Белецкий), Еллинский и римский летописец (Н. К. Гудзий); М. Р. Судник рекомендует напечатать ранее неизвестный список Александрии XV—XVI вв.; В. В. Лукьянов обращает внимание на список Александрии с миниатюрами, хранящийся в Ярославском областном архиве. В. П. Адрианова-Перетц предлагает из памятников XV в. издать «важнейшие части датиро-

ванного Кирилло-Белозерского сборника, где с листа 115 идет ряд текстов, богатых отражениями фактов живого языка (поучения, выписки из Александрии, Хожения игумена Даниила, особый вид Задонщины, загадки, терминология кривоного письма и т. д.)». Н. А. Мещерский и С. В. Фролова высказываются за издание Хроник Иоанна Малалы. Н. А. Мещерский изъявляет желание подготовить к печати с параллельным древнееврейским текстом (там, где это возможно) книгу Есфирь по рукописи XVI в. и другим более поздним спискам, а с параллельным древнегреческим текстом древнерусский перевод «Рыдания» Иоанна Евгеника, сохранившийся в списках конца XV — начала XVI в., а также отрывки еврейского хронографа Иосифона по материалам, имеющимся в различных русских хронографических сводах, начиная с XV в. Называются также Слово о законе и благодати митрополита Иллариона (А. И. Белецкий, Н. К. Гудзий), Хожение Даниила Руския земли игумена и Сказание о Мамаевом побоище (Н. В. Водовозов) и некоторые другие произведения. В. Д. Кузьмина, О. А. Державина и А. Н. Робинсон вносят предложение об издании памятников, важных для исследователей русской культуры. «Таковы, например, — пишут они, — известные трактаты И. Владимировича и С. Ушакова. Недостаточная осведомленность историков искусства в лексике и семантике русского языка XVII в. приводит нередко к неверному истолкованию этих произведений. Фототипическое воспроизведение текста в данном случае излишне, но необходим перевод, выполненный лингвистами». Авторы приведенного замечания находят также полезной публикацию произведений XVII—XVIII вв., ценных с точки зрения содержания в них элементов живой народной речи. С лексикографическими и диалектологическими комментариями, полагают они, необходимо издать сборник русских пословиц, составленный А. И. Богдановым.

В ответах встречаем далее названия текстов самого разнообразного содержания. Произведение древней научной литературы — Христианскую топографию Козьмы Индикоплова по спискам с XV в. — отмечает П. С. Кузнецов. Рукописи Библиотеки АН СССР — Книга глаголемая алфавит (XVII в.), Книга охотничей регул (перевод с немецкого XVII в.), Книга зовомая земледельческая (1705 г.) — предлагает издать С. В. Фролова. В. В. Лукьянов сообщает о ярославской рукописи XVIII в. «Описание земноводного круга» В. Д. Крашенинникова.

Большая группа рекомендаций относится к так называемой житийной литературе. За вычетом текстов этого рода более раннего времени, о которых уже говорилось, называется еще немало памятников. А. И. Белецкий и М. В. Щепкина настоятельно рекомендуют продолжить издание Макарьевских миней-четьех XVI в. А. И. Белецкий по этому поводу пишет: «Необходимо было бы как для языкове-

дов, так и для литературоведов продолжать публикацию текста „Великих Четий Миней“ митрополита Макария. Эта энциклопедия церковной письменности XVI в., включившая в себя все „чтомое и поемое“, как известно, весьма разнообразна по языку, содержит редкие, не повторенные в других сборниках тексты и оригинальной и переводной литературы. Изданные томы охватывают только малую часть „Великих Четий Миней“, к тому же они стали большой редкостью и отсутствуют полностью даже в крупных библиотеках СССР. Может быть, полезно было бы переиздать их с необходимыми исправлениями». О желательности издания древнерусского Пролога и Жития Ефросинии Полоцкой говорят Н. К. Гудзий и М. В. Щепкина. С. В. Фролова указывает на Пролог 1323 г. (Библиотека АН СССР) и признает необходимым напечатать его с разночтениями из других списков. О Житии Владимира, составленном Иаковом мнимо, по списку из сборника 1414 г. сообщает в своем письме С. И. Кочетов. Житие Зосимы и Саватия Соловецких по списку XVI в. предлагает издать М. В. Щепкина. Имеется также рекомендация вновь напечатать Житие Нифонта по списку 1219 г. В. В. Лукьянов предлагает рукопись Ярославского областного архива — Киево-Печерский патерик конца XV в., который, по его словам, является старейшим списком патерика касиановской редакции. На молитвы Кирилла Туровского указывают Н. К. Гудзий и С. И. Кочетов.

Имеются также пожелания об издании рукописей, которые по содержанию относятся к древнерусской учительной литературе. Так, Пандекты Никона Черногорца по разным спискам предлагают напечатать П. С. Кузнецов, О. А. Князевская, В. В. Лукьянов; А. И. Белецкий и Н. К. Гудзий называют Слово Иллариона о законе и благодати и Слова Серапиона Владимирского; Н. К. Гудзий — Сочинения Максима Грека, а также Измарагда (список не указывается); Д. С. Лихачев — Поучения Ефрема Сирина по списку 1288 г., Псковский Шестоднев 1374 г. А. И. Кочетов — Студийский устав по рукописи Гос. историч. музея. Называется также Мерило Праведное (около 1350 г.).

А. И. Белецкий выражает надежду, что в план изданий войдут и некоторые произведения старообрядческой письменности послеаввакумовского периода, печатавшиеся ранее в ненаучных изданиях. «Произведения эти, — отмечает А. И. Белецкий, — продолжавшие традиции древнерусской письменности в XVIII и в XIX вв., мало изучены и со стороны языка и стиля и вообще были до сих пор достоянием только историков русской церкви, а между тем и с лингвистической, и с литературоведческой точки зрения представляют немалый интерес». Имеются высказывания и в пользу публикации некоторых печатных памятников: С. П. Обнорский указывает Уложение Алексея Михайловича, Э. И. Коротаева — газеты петровского времени.

\*

Как видим, советские ученые считают необходимым издать такое большое количество памятников письменности, что сделать это в ближайшее время силами одного научного учреждения не представляется возможным. Поэтому уже сейчас ясно, что издание памятников, важных в лингвистическом аспекте, должно осуществляться не в одном научном центре. Так, желательно, чтобы на Украине началось издание древнерусских и староукраинских памятников. Памятники письменности XI—XIV вв., созданные в смоленских и полоцких землях, равно как и памятники старобелорусского языка (например, Баркулабовская летопись, западно-русские грамоты и др.), могли бы стать предметом работы белорусских специалистов. Лингвистическое издание памятников, видимо, могло бы вестись и в Москве, и в Ленинграде, тем более что ленинградские языковеды проявляют в этом живейшую заинтересованность. Например, Э. И. Коротаева от имени кафедры русского языка Ленинградского университета выступает со следующим предложением: «По-видимому, целесообразно установить некоторое разделение памятников для издания между работниками Москвы и Ленинграда. Желательно, чтобы Ленинградский ун-т взял на себя подготовку к изданию тех памятников, которые уже являлись предметом исследования отдельных членов кафедры русского языка».

Уже тот факт, что пожелания, касающиеся изданий памятников, весьма многочисленны, показывает, насколько обширно здесь поле деятельности. Во избежание дублирования необходима четкая координация между научными учреждениями союзной и республиканских академий, университетами и пед. институтами.

Институт русского языка АН СССР в настоящее время направляет внимание на создание необходимой для лингвистического издания памятников письменности полиграфической базы в системе АН СССР. Институт обращает особое внимание на подготовку к изданию таких текстов, которые выпадают из поля зрения специалистов других областей, но являются значительными памятниками языка. Такими являются наиболее ценные древнейшие памятники канонического содержания, издание которых для лингвистических целей не производилось несколько десятков лет; таковы же художественные и публицистические произведения, не обязательно игравшие значительную роль в историко-литературном процессе; таковы материалы частной переписки, в том числе и не представляющие интереса по авторской принадлежности или со стороны конкретного исторического содержания; сюда же относятся материалы делового содержания, древние грамматические руководства и лексикографические произведения.

Предполагается произвести отбор актового материала с точки зрения насыщенности древнего текста проявлениями жи-

вой речевой стихии и с точки зрения отнесенности рукописей к определенным древнерусским областям с тем, чтобы вся территория русского языка была более или менее равномерно представлена в плане эдиционной деятельности института и других научных учреждений и вузов. Несмотря на то, что историки предпринимают капитальные издания актовых материалов, тем не менее необходимо издание аналогичных источников, вполне отвечающее требованиям лингвистики. При этом в зависимости от целей, которым служит издание, возможно объединение актовых материалов по территории, по времени, по содержанию, по принадлежности определенным писцам.

Лингвистическое издание этих материалов, однако, вовсе не исключает изданий, совместных с историками, с целью в той или иной степени (желательно — максимально) приспособить публикации, принимаемые историками для своих нужд, также и к потребностям специалистов в области языка. Не следует забывать, что одни языковеды без содействия ученых смежных специальностей не в состоянии подготовить к изданию ту громадную массу памятников, которую оставила нам история нашей Родины. Следует считать далее и с тем, что издание памятников письменности — дело весьма трудоемкое и дорогое. Желательно сотрудничество лингвистов с литературоведами. При этом мы учитываем, что принципы издания у лингвистов и специалистов смежных специальностей различны. Необходим разумный компромисс. Совместные издания явятся полезным дополнением к основным для лингвистов изданиям, которые могут быть лишь строго лингвистическими и палеографическими. Однако и для совместных изданий, применительно к определенным историческим периодам и категориям источников, необходимо разработать обязательный минимум лингвистических требований, который следует соблюдать при любом эдиционном содружестве.

Институт русского языка АН СССР наметил на ближайшие годы подготовку следующих изданий: Изборник 1076 г., Успенский сборник (неизданная часть его), Синайский патерик, древнерусские граффити, Смоленские грамоты, материалы частной переписки XVII в.; предполагается публикация некоторых южновеликорусских текстов в XVII в. Из грамматических сочинений будет опубликована грамматика Пауса (И. В. Паузе) начала XVIII в. Начата совместная работа с историками: Институт русского языка принимает участие в издании актов XVI и первой половины XVII в. и переписки стольника Бездарова (XVII в.).

При наличии колоссального количества источников в собраниях рукописей нашей страны и разбросанности хранилищ разыскание необходимых для лингвиста материалов чрезвычайно затруднено. Поэтому заслуживает особого внимания предложение члена-корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц закончить составление карто-

теки всех сохранившихся памятников древнерусской письменности, на основе которой можно будет уже группировать источники, объединяя их по разным признакам. Такую картотеку составляла в свое время группа сотрудников под руководством акад. Н. К. Никольского. После смерти руководителя работа остановилась, и картотека поступила на хранение в Отдел рукописей Библиотеки АН СССР. Автор предложения подчеркивает, что закончить эту огромную работу можно лишь при деятельном участии коллективов отделов рукописей московских и ленинградских древлехранилищ. Вместе с тем в сотрудничестве с архивными учреждениями и рукописными отделами музеев и библиотек пора начать (по печатным источникам и путем непосредственного ознакомления с фондами) выявление древнерусских текстов в хранилищах зарубежных стран и накопление этих материалов посредством фотокопирования и микрофильмирования, что дополнительно даст в руки исследователей существенный круг источников.

После широкого выявления ценных в лингвистическом отношении текстов можно будет приступить к составлению сводного лингвистического описания важнейших памятников русского языка. Назрела также необходимость в составлении специализированных описаний древнерусских текстов, например, материалов частной переписки, рукописей, приуроченных к той или иной древнерусской области, отражающих локальный диалект, словарь и азбучовники, грамматических руководств и т. д.

На основе лучших эдиционных традиций предстоит разработать принципы и методику изданий, разработать вопрос о типах изданий, что, в свою очередь, связано с решением ряда проблем. Необходимо, в частности, определить сферы и границы применения в том или ином типе издания принципов дипломатической и критической публикации. Мы не выступаем безоговорочно за дипломатическое издание, в котором предельно точно воспроизводятся все особенности текста, в противовес изданию критическому, в котором текст подвергается критике; нам кажется возможным гармоническое сочетание того и другого принципа. Одно лишь несомненно: критические элементы издания не должны вноситься в текст источника. Способ издания — факсимильный, шрифтовой или их сочетание — определяется назначением издания.

Не касаясь специально, как сказано выше, принципов и типов изданий, сделаем несколько замечаний о способах воспроизведения текста и справочном аппарате изданий. В значительном числе случаев необходимо будет факсимильное воспроизведение рукописей. Но такое издание не должно и не может исключать наборного шрифтового издания того же памятника, так как первое имеет не только явные для всех преимущества, но также и свои недостатки. Трещины и сгибы пергамента или бумаги, на которых написан древний текст, пятна и иные повреждения тек-

ста на снимке передаются вместе с изображением букв и препятствуют иногда правильно прочтению. К этому необходимо добавить, что не всегда удается уберечь воспроизведение от крайне нежелательной ретуши, а это также приводит к нарушению буквы, а иногда и смысла текста. Тщательно выполненное наборное издание по сравнению с фотомеханическим или другим современным типом факсимильных изданий воспроизводит меньшее количество индивидуальных особенностей рукописи, не воспроизводит почерка, но все же в общем достаточно для многих видов лингвистического исследования.

Возможности факсимильного воспроизведения текста зависят в первую очередь от состояния самой намеченной к опубликованию рукописи. Так, например, Остромирово евангелие при его состоянии в 1954 г., когда листы были покороблены, не могло быть предметом фотографирования или какого-либо другого современного способа факсимильного воспроизведения: покоробленный и «поведенный» пергамен нельзя распрямить для фотографирования. Но теперь благодаря тщательной, кропотливой, блестящей по достигнутым результатам реставрации рукописи, проведенной Е. Х. Трей<sup>1</sup>, и новому потетраднему хранению, этот важнейший памятник не только древнерусской, но и вообще славянской письменности легко может быть сфотографирован и издан способами, обеспечивающими точную передачу текста. Даже такой великолепный по письму и сохранности памятник, как Мисиславо евангелие, при фотографировании дает сильное искажение почерка и искривление строк, а некоторые места его по фотографии не читаются из-за того, что были залиты в свое время дезинфицирующим раствором, повлекшим потемнение пергамена. Следовательно, факсимильное воспроизведение памятника полезно сопроводить не только научным комментарием его внешних особенностей, но и наборным изданием самого текста.

Наборное издание памятников XI—XIV вв. нужно, видимо, осуществлять кириллицей с соблюдением всех сокращений или, по крайней мере, с тщательными пометами в каждом случае раскрытия титл и внесения надстрочных букв в строку. Целесообразно сохранять размещение строк или же делать помету о конце строки. Также крайне желательно передавать разделительные и надстрочные знаки. В тех случаях, когда невозможно дать точную транслитерацию, необходимо оговорить все отклонения от этого общего принципа и давать снимки с рукописи.

При подготовке древней рукописи к публикации необходимо во многих случаях прибегать к помощи современной научной фотографии. Так, замазанные черни-

лами и красками тексты могут быть восстановлены в первоначальном виде путем фотографирования в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах. Желательно, чтобы лингвистическое издание памятника включало в себя указатель слов и форм публикуемой рукописи, подобно тому как они давались в лучших прежних изданиях начиная с Остромирова евангелия издания 1843 г. Для лингвистов-лексикографов это дало бы непревзойденный материал.

Совершенно необходимо каждое издание памятника сопровождать хотя бы кратким палеографическим описанием. Никто не сможет сделать детального описания рукописи со стороны палеографической так, как лингвист-палеограф, подготавливающий ее к печати. Палеографическое описание важно как для лингвистического изучения данной публикации, поскольку многие языковые особенности могут быть связаны с языком отдельных писцов, переписывавших рукопись, так и для датировки ее. Не менее важно, чем границы почерков, указывать в палеографическом очерке состав тетрадей рукописи и их границы, так как это тоже может быть небезразлично для последующих исследований языка, которые будут производиться по данному изданию памятника.

Наряду с этими мерами для обеспечения лингвистических исследований материалом памятников письменности необходимо предпринять как можно быстрее репродукцию современными методами лучших старых публикаций, ставших к настоящему времени библиографической редкостью и отсутствующих не только в частных библиотеках языковедов, но и в библиотеках вузов. Сюда в первую очередь относятся дореволюционные и советские издания, в которых имеются хорошие словоуказатели. Таковы, например, «Остромирово евангелие» А. Х. Востокова (СПб., 1843; это издание нужно повторить, учитывая исправления, сделанные в 1885 г. М. М. Козловским); «Мариинское четвероевангелие» И. В. Ягича (СПб., 1883); «Саввина книга» В. Н. Щепкина (СПб., 1903); «Домострой по Копинскому списку» А. С. Орлова (М., 1908); «Синайская псалтырь» С. Н. Северьянова (Пг., 1922); «Русская Правда по древнейшему списку» Е. Ф. Карского (Л., 1930). Не менее важно повторное издание современными способами воспроизведения текста некоторых памятников, не снабженных словоуказателями, но тем не менее представляющих большую ценность, например «Жития Нифонта по списку 1219 г.» А. В. Рыстенко (Одесса, 1928); Великих четий-миней митрополита Макария, о значении которых пишет А. И. Белецкий (см. выше), и других памятников.

Усилия лингвистов в деле издания важнейших памятников языка восточнославянских и вообще славянских народов и повышение филологического уровня публикаций, осуществляемых представителями смежных наук, дадут в руки советских языковедов необходимый для исследований материал.

Л. П. Жуковская, С. И. Котков.

<sup>1</sup> См. Е. Х. Трей, Реставрация Остромирова евангелия, «Труды [Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина]», V (8), Л., 1958.

РЕЦЕНЗИИ

**E. Benveniste. Études sur la langue ossète.** — Paris, 1959. 165 стр. («Collection linguistique publiée par la Société de linguistique de Paris», LX).

В серии монографий, издаваемых Парижским лингвистическим обществом, опубликован труд проф. Э. Бенвениста под заглавием «Этюды по осетинскому языку». Это самая крупная зарубежная работа по осетинскому языку со времен появления известной книги Г. Гюбшмана, вышедшей в 1887 г.<sup>1</sup> Рецензируемый труд состоит из краткого предисловия и пяти глав: I — «Études sur la phonétique et l'étymologie»; II — «Analyse d'un vocable primaire: indo-européen \*bhāghu- „bras“ en ossète»; III — «Morphologie et lexicologie du verbe»; IV — «Préfixes et suffixes»; V — «Remarques sur le vocabulaire traditionnel». Книга снабжена указателем разобранных слов. Первые две главы уже раньше были опубликованы в виде статей в журнале Парижского лингвистического общества<sup>2</sup> и были предметом рецензии пишущего эти строки<sup>3</sup>. Поэтому мы остановимся здесь только на главах III—V.

Глава III (стр. 73—92) посвящена морфологии и лексикологии глагола. Первый раздел этой главы (стр. 73—76) уточняет происхождение двух видов основы глагола «быть»: *u-* и *wəv-*. Первый возводится к \**būva-*, второй — к \**baw-* с метатезой \**wab-*, что находит параллель в согдийском *wβ-*. Форму 3-го лица ед. числа *u*, выполняющую роль глагольной связки, Э. Бенвенист вслед за В. Миллером<sup>4</sup> отождествляет с указательным местоимением *u*, привлекая в связи с этим факты согдийского и афганского языков, где также указательное местоимение функционирует как глагольная связка.

3-е лицо ед. числа диг. *əj* возводится к \**hātī*, что фонетически приемлемо. Сомнительны объяснения форм повелительного наклонения. 3-е лицо ед. числа *wəzd* возводится к \**buvat* (вместо \**buvatu*), а 3-е лицо мн. числа *wənt/wəntə* — к весьма проблематической форме \**buvanda* (более реально \**buvantu*). Конечные слоги древних форм в осетинском отпадали, и \**buvat* могло дать лишь то же самое, что \**būva*, т. е. *u*,

но никак не *wəzd*. Формы императива от «быть» нельзя отделять от аналогичных форм любого другого глагола, например от *сəryn* «жить» 3-е лицо ед. числа *сərəzd*, 3-е лицо мн. числа *сərənt/сərəntə*, закономерно восходящие к \**čaratu* и \**čarantu*. Наличие глухого *t* в *сərənt/-tə* рядом со звонким *d* в *zəron*d «старый» и т. п. должно удивлять не больше, чем наличие глухого *s* в *сəryn*c/*сərun*cə (← \**caranti*) рядом со звонким *dz* в *fsondz* «ярмо» и т. п.

В следующем разделе этой главы (стр. 77—79) дается убедительное объяснение формам будущего времени. Показатель будущего времени *-dzyn/-dzin-*, *-dzən-* возводится к иран. *čāna-(čīna-)* «хотящий» в таких сложениях, как авест. *xšavrō-čīnah-* «хотящий власти» и др. Стало быть, форма *сər-dzən-ən* означает буквально «жить-хотящий-есмы». Осетинское будущее время оказывается тем самым в одном ряду с формами других языков, в которых будущее время образуется при помощи «хотеть»: перс. *xwāham*, согд. и хорезм. *kām*, англ. *will* и др.

Третий раздел главы (стр. 79—82) трактует глаголы с основой на носовой согласный типа *kəryn* «делать», *əlxəryn* «покушать», *wynyn* «видеть» и т. п. Э. Бенвенист ставит в упрек В. Миллеру, что при рассмотрении этих глаголов он не проводит четкого разграничения между синхронным и историческим планом. По утверждению автора, при синхронном рассмотрении ни в одном случае нельзя установить суффиксальный характер элемента *-n-*, поскольку эти формы «не противопоставлены формам без этого суффикса». Здесь автор не совсем прав. Он не учел, во-первых, такие синхронные пары, как диг. *sk'unun* «рвать» — *sk'ujun* «рваться», ирон. *ixsyjyn* «изнашивать» и *axsynyn* «грязь». Во-вторых, Бенвенист оставил без внимания формы прошедшего причастия, в которых четко противопоставлены формы, сохраняющие *-n-*, формам, в которых *-n-* отсутствует; ср., с одной стороны, *wynyn/winun* : *wynd/wind* «видеть», с другой — *əlvynyn/əlvynun* : *əlvyd/əlvīd* «стричь». Эти примеры, которые не выходят за рамки синхронного разреза, позволяют с уверенностью установить суффиксальный характер *-n-* в ряде случаев.

Отметим попутно некоторые сомнитель-

<sup>1</sup> Н. Hübschmann, Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache, Strassburg, 1887.

<sup>2</sup> BSLP, t. LII, fasc. 1, 1956.

<sup>3</sup> ВЯ, 1959, № 2.

<sup>4</sup> С. М. W. Miller, Die Sprache der Osseten, Strassburg, 1903, стр. 75.

ные реконструкции автора, имеющиеся в данном разделе. Основа *kæp-* «делать» возводится к \**kapa-*, т. е. к форме, нигде не засвидетельствованной и совершенно произвольной. Нет ни малейших препятствий возводить *kæp-*, как и соответствующий глагол в других иранских языках, к общезвестному др.-иран. \**kṛni-* через закономерную промежуточную форму *kærn-*: др.-иран. *ṛ* → осет. *æp*, *ar*. Выпадение *rv* в *kærn-* легко объяснить исключительной употребительностью данного глагола. Что основа *kar-* в осетинском существовала, говорит не только *kælæp* «колдовство», но и диг. *kærnæ* (← \**karana-*) «здание»<sup>5</sup>. Основа *wyn-/win-* «видеть» возводится не к реальной др.-иран. \**vaina-*, а к *ad* образующей *vin(a)-*. В действительности развитие *wyn-/win-* из \**vaina-* вполне закономерно: дифтонги *ai* и *au* перед *n* всегда сужаются соответственно в *i(y)* и *u(y)*: *fynk/finkæ* «пена» из \**fainaka-*, *synæg/sinæg* «грудь» из \**sainaka-*, *zærinæ* «золото» из \**zaraiŋya* ← *zaranya-*, *qunʕʕun* «шерсть» из \**gaupa-* и др.

Четвертый отрывок (стр. 82—83) посвящен одному слову *dzaʕʕur* «имеющий широко раскрытые, несмыкающиеся глаза» (имеется в виду болезненное состояние). Это слово сблизается с авест. *jaʕāuru* «бодрствующий» (из *jāgaru-* от *gar-* «бодрствовать»). Этимология восходит к В. Миллеру. За 60 лет она не стала более убедительной. Начать с того, что дигорская форма *dzaʕʕur*, которую приводит Бенвенист, не имеет надежной документации и стоит под вопросом. В дигорском известно *dzanʕʕir*. Исходя из диг. *dzanʕʕir*, можно думать, что *y* в иронском *dzaʕʕur* отражает скорее *i*, а не *u*. Но если даже диг. *dzaʕʕur* реально, оно не может восходить к *jāgaru-*. У нас нет ни одного примера эпентезы типа *-aru-* → *-yr/-ur*; *myd/mud* «мед» из *madu-*; *fys/fus* «овца» из *pasu-*; *fyr/fur* «много» из *parusya* не относится<sup>6</sup>. Если бы эпентеза \**jāgaru-* имела место в праосетинском, мы получили бы \**dzaʕʕūr*/\**dzaʕʕor*, а не *dzaʕʕur/dzaʕʕur*; ср. *ürs/ors* (а не *yr/surs*) «белый» из *auruša-* ← *aruša-*. Слово *dzaʕʕur* относится скорее всего к обширной группе слов, представленных на Кавказе и за его пределами со значением «выделяющаяся предмета, отметина» и пр.<sup>7</sup>

В пятом разделе, посвященном глагольной лексике (стр. 83—92), автор останавливается на происхождении, образовании и этимологических связях ряда глаголов и отглагольных имен, а именно: *aʕūd* «футляр», *aʕundyn* «крыть здание», *xynsyn* «считать», *arun* «находить, рождать», *nywærdyn* «кутать», *sijyn* «зябнуть», *æwtæntyn* «взбалтывать», *fæjʕaw* «пастьух», *dawyn* «метать икру», *sæjyn* «болеть», *ti* «занятие», *dotyn* «укрощать», *nywtæp* (*xi-nywtæp*) «про себя», *ærgævyn* «взваливать», *qudyʕudi* «мысль».

<sup>5</sup> В. И. Абаев, Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. I, М.—Л., 1958, стр. 586 (далее принимается сокращение ИЭС).

<sup>6</sup> Ср. ВЯ, 1959, № 2, стр. 147.

<sup>7</sup> ИЭС, стр. 388—389.

Здесь много ценных наблюдений и интересных параллелей. Но кое-что вызывает возражения.

Нам кажется, что группу *aʕūd* и пр. нельзя отделять от группы *aʕundyn* и пр. Автор утверждает (стр. 84), что именно осетинский поддерживает такое размежевание, поскольку *aʕūd* означает якобы только «закутывать в одежду» («envelopper d'un vêtement»), а *aʕund-* «крыть кровлей» («recouvrir d'un toit»). В действительности оба значения тесно переплетаются; это видно на примере осет. *xal-aʕūd* «шалаш», что означает буквально не «закутанный в солому» («a l'enveloppe de paille»), а «крытый (*aʕūd*) травой (*xal*)». При анализе глагола *arun* «рождать, находить» (стр. 86—87) Бенвенист, как до него Миллер, не учитывает южноосетинскую форму *warun*, а между тем исходить надо из нее, так как имеется ряд случаев отпадения начального *w-*. На связь осет. *mi/miwæ* «дело, занятие» с др.-инд. *miva-* уже указывалось<sup>8</sup>. К группе *ærgævyn* и пр. (\**grab-*) (стр. 91) следует добавить группу *ælgivyn*, *ælgivyn* «сжимать» (\**graib-*)<sup>9</sup>.

Глава IV озаглавлена «Префиксы и суффиксы» (стр. 93—113) и состоит из двух разделов, из которых первый посвящен префиксам, а второй суффиксации. В начале первого раздела автор берет на себя труд установить систему осетинских преворов. В существующем описании осетинских преворов (точнее — их локативных значений)<sup>10</sup> они делаются на три пары, обозначающие движение: 1) изнутри наружу, 2) снаружи внутрь, 3) сверху вниз. В каждой паре один член (преверб) противопоставляется другому по тому, где мыслится наблюдатель, внутри или снаружи, внизу или наверху. Стало быть:

<i>a-</i>	движение	{ наблюдатель внутри
<i>ra-</i>		{ наружу { наблюдатель снаружи
<i>ba-</i>	движение	{ наблюдатель снаружи
<i>ærba-</i>		{ внутрь { наблюдатель внутри
<i>ny-</i>	движение	{ наблюдатель наверху
<i>ær-</i>		{ вниз { наблюдатель внизу

Бенвенист воспроизводит эту схему (стр. 93—94), но прибавляет к ней еще четвертую пару:

<i>(i) s-</i>	движение	{ наблюдатель внизу
<i>ra-</i>		{ вверх { наблюдатель наверху

которой, бесспорно, для полноты структурной схемы недостает. Но в осетинском

<sup>8</sup> См. В. И. Абаев, Осетинский язык и фольклор, т. I, М.—Л., 1949, стр. 171 (далее принимается сокращение ОЯФ).

<sup>9</sup> Ср.: В. И. Абаев, [реф. на кн.:] Вс. Ф. Миллер, Осетинско-русско-немецкий словарь, сб. «Язык и мышление», II, Л., 1934, стр. 172; ИЭС, стр. 66.

<sup>10</sup> См. В. И. Абаев, К характеристике современного осетинского языка, «Яфетический сборник», VII, Л., 1932, стр. 77—78; ОЯФ, стр. 107.

языке этой пары нет: преверб *ys-/is-* обозначает движение вверх как с точки зрения находящегося внизу, так и с точки зрения находящегося наверху. Что же касается преверба *ræ-*, который, по утверждению автора, является оппонентом преверба *is-*, то следует сказать, что его, как живого и продуктивного, в настоящее время не существует. Как и некоторые другие утраченные продуктивные превербы (*æv-*, *iv-/ev-*, *ū-/o-*, *fi-/fe-*, *i-*, *fæ-l-*), он известен только в мертвых сращениях, как *ræxojujn* «пронзать» и др. Связь между *xojujn* «стучать», *ysxojujn* «толкать» и *ræxojujn* «пронзать» устанавливается только этимологическим путем; в сознании говорящих она не существует. Поэтому к *ysxojujn* можно присоединить еще раз преверб *s-*: *susxojujn* «толкнуть вверх». В синхронных оппозициях могут, естественно, участвовать только живые превербы.

Вообще в разделе о превербах автор не проводит четкого различия между живыми и сращенными превербами. Это различие фундаментального порядка. Сращенные превербы лишены тех значений, которые присущи живым, а именно: 1) они не сообщают глаголу перфективного (совершенного) значения; 2) они не участвуют в системе локативных значений, которые описаны выше. Поэтому при синхронном подходе глаголы с сращенными превербами следует рассматривать как беспревербные.

В разделе о превербах наибольший интерес привлекает, пожалуй, новая идентификация преверба *fæ-*, весьма продуктивного в современном языке, но известного также в ряде старых сращений (стр. 98 и сл.). В. Миллер возводил его к *pati-*. Э. Бенвенист видит в нем иранский преверб *pa-*, отвечающий славянскому *po-* (русск. *po-*). Существование такого преверба на иранской почве автор подкрепляет несколькими согдийскими примерами (*pr'uč-* «покидать», *rd'g-* «содержать, кормить») и рядом иранских заимствований в армянском (*pakas* «уменьшение», *pastar* «покров, ковер» и др.). Это выглядит довольно убедительно. Но когда автор пытается привлечь в пользу своего разъяснения факты самого осетинского языка, картина получается менее ясная. Когда преверб *fæ-* присоединяется к глагольной форме, начинающейся с гласного, то между превербом и глаголом появляется вставка *-с-*: *fæ-c-i/fæ-c-xej* «он стал», *fæ-c-agajun* «тропнуть» и т. п. Бенвенист утверждает, что *fæc-* ошибочно считается вариантом *fæ-*, что это два разных преверба, причем *fæv-* исходит от *pa-*, а *fæc-* к *pati*. Однако вставка *-с-* появляется и после других превербов: *a-c-i*, *ba-c-i*, *ærbac-i*, *rac-i*, *ærc-i*, *ny-cc-i*, *a-c-agajun*, *ba-c-agajun*, *ærbac-agajun*, *rac-arazun*, *ærc-arazun*, *ny-cc-arazun*. Если *fæ-* и *fæc-* — два разных преверба, то в таком случае пришлось бы признать, что разными превербами являются также *a-* и *ac-*, *ba-* и *bac-*, *ra-* и *rac-*, *ærbac-* и *ærcac-*, *ærc-* и *ærcac-*, *ny-* и *nycc-*, что, конечно, неверно.

Далее, чем объяснить, что в дигорском диалекте после преверба *fæ-* начальный согласный глагола удваивается: *fæ-llærun* «кугнать», *fæ-zzelun* «вернуться» и т. п.? Если исходить из *pati*, то это явление можно истолковать фонетически: *pati-tar- → fæt-tær-* и т. п. Если же отправляться от иран. *pa-*, то объяснить такую геминию будет труднее. Возможно, что *fæ-* имеет двойную филиацию: в одних случаях к *pati*, в других к *pa-*. В пользу этого можно было бы указать на разительную семантическую двойственность преверба *fæ-*: он выражает то быстрое и короткое, то длительное или повторяющееся действие: *fækaldi* «он споткнулся», *mæiüg fækaldi* «моя кровь лилась (долго)».

Менее удачно предположенное автором разъяснение преверба *ba-*. Бенвенист отвергает этимологию Миллера *ba- ← ura*, так как «р между гласными дает в» (стр. 97). Такая общая закономерность действительно существует в осетинском языке, однако, начальная группа *ur-* всегда дает *b*: диг. *-bæl* (окончание местного внешнего падежа) из *upari*, *bad-yn* «сидеть» из *\*upahad-*, *bæstæ* «место» из *\*upastā-*, *bawæŕ* «тело» из *\*upāvara-*, *baivæd* «по (своему) следу» из *\*upāpadam*, *bas* «похлебка» из *\*ura + āsa-*. Вряд ли можно найти хоть один надежный случай (кроме *wælwæ* «наверху» из *upari*), который нарушал бы закономерность *ur- → b-*. Поэтому мы думаем, что нет оснований отказываться от старой этимологии *ba- ← ura-* в пользу сомнительного сближения *ba-* с дигорской частицей *ba*, лишней малейшего намека на локативную семантику, так ясно выступающую в превербе *ba-*. Мало убеждает также сближение преверба *ærc-* с вед. *arām*, авест. *arəm* «надлежащим образом» (стр. 97). Что общего по значению между «движением сверху вниз к наблюдателю» и наречием, не заключающим даже намека на локативный смысл?

В разделе о суффиксации (стр. 103—113) хочется отметить смелое, но интересное сближение осетинского инфинитива на *-yn/-un* с лувийскими и палаяскими инфинитивами на *-una* (стр. 105).

Позволим себе также несколько замечаний и возражений. Формы на *-ai* введены в систему осетинского склонения в качестве уподобительного падежа («Similitif») не Х. Фогтом<sup>11</sup>, как утверждает автор (стр. 104, примеч. 1), а задолго до него<sup>12</sup>.

В производных словах, выражающих предназначение, как *gajlag* «(теленок) предназначенный стать (хорошим) быком» (от *gal* «бык»), *bazajrag* «предназначенный для торговли товар» (от *bazar* «торговля»), Бенвенист вслед за Миллером усматривает сложный формант *-iāka-*, *-yāka-* (стр. 105 и сл.). Однако здесь представлен простой формант *-ag(-āka-)* с фонетическими вариантами *i* перед сонантами.

<sup>11</sup> Н. Vogt, Le système des cas en ossete, «Acta linguistica», vol. IV, fasc. 1, Copenhagen, 1944, стр. 20.

<sup>12</sup> См. «Яфетический сборник», VII, стр. 66.

Что мы имеем здесь дело с чисто фонетическим явлением, ясно из следующего: 1) *j* появляется в таких дериватах, которые не выражают предназначения: *dojnag* «водный» (от *don*), *kərojnag* «крайний» (от *kəron*), *unajlag* «унальский» (от *Unal* — название селения в Осетии); 2) никаких следов *j(i)* нет обычно в производных на *-ag* от таких имен, которые исходят не на сонант, хотя они несомненно выражают предназначение: *usag* «невеста» («предназначенная в жены», от *us* «жена»), *færæt-qæd* «материал на топориче» (от *færæt-qæd* «топориче»), *nyvondag* «животное, предназначенное для жертвоприношения» (от *nyvond* «жертвоприношение») <sup>13</sup>.

Осет. *iæxn* «стужа» является производным от *iæ* «лед», др.-иран. \**aixa-*. Но Бенвенист производит *iæxn* от незасвидетельствованной глагольной основы \**aix-* «мерзнуть» (стр. 106 и сл.). При этом автор исходит из убеждения, что формант *-æn* является продуктивным только в отглагольных образованиях. Однако имеются и отыменные образования на *-æn*, например *sær-æn* «способный» от *sær* «голова». Может быть и здесь следует реконструировать ad hoc глагольную основу *sar-*? Но с каким значением?

Едва ли можно понимать *ræxənaǵd* «голова» в смысле «ляжка веревки», как предлагает Бенвенист (стр. 107, от *ræixen* «веревка»). Несомненно, прав Миллер, который видит в первой части иран. *ratha-* «колесница, арба»: «ляжка арбы» куда вразумительнее, чем «ляжка веревки» <sup>14</sup>.

Такие образования, как *ældariwæg/ældarəwæg* «господство» (от *ældar* «господин»), *xærziwæg/xwærzewæg* «благоденствие» (от *wor/xwarz* «благо») и т. д. Бенвенист делит *ældar-iwæg*, *xærz-iwæg*, видя в *-iwæg/-ewæg* особый суффикс \**-aivaka-*, к сожалению, нигде не засвидетельствованный. Мы видим здесь сложные слова *ældar-i-wæg*, *xærz-i-wæg* и т. д., где вторая часть есть не что иное, как (с ослаблением гласного) живое слово *wag* «поведение, повадка», а *-i/-e-* — соединительный гласный, как в *sær-i-bar* «свободный», *xəxəv-i-wat* «ночлег» <sup>15</sup>.

Последняя V глава «Заметки по традиционной лексике» (стр. 115—146) содержит ряд историко-лексикологических экскурсов разной степени новизны и ценности. Вызывает недоумение вводное замечание автора: «В осетинском нельзя найти почти никаких характерных элементов («termes caractéristiques») общепиранского,

которые можно было бы ожидать и которые служили бы для классификации диалектов» (стр. 117). Неясно, что автор понимает под «termes caractéristiques», которые будто бы отсутствуют в осетинском? Учитывая сложную судьбу осетин, приходится поражаться удивительной сохранности у них общепиранского лексического наследия. Именно это позволило так быстро и бесспорно определить языковую принадлежность осетин.

Один из важнейших выводов данной главы состоит в том, что предки осетин были искони чужды маздеизму (зороастризму) (стр. 129). Это вполне обоснованное убеждение высказывалось и ранее. «Скифы в целом остались чужды зороастризму... Ни сведения Геродота, IV, 59—62 о религии скифов, ни мифологические и религиозные воззрения осетин-алан не заключают даже намека на зороастризм... Скифы — одни среди иранских племен — остались полностью чужды зороастризму» <sup>16</sup>. Приятно было убедиться, что мы с профессором Бенвенистом оказались единомышленниками также в толковании авест. *dānu-*. Это слово переводилось обычно как нарицательное «река». Мы показали, что в обоих авестийских текстах, где встречается *dānu-* (Yasna, 60,4 и Aogma-daesa, 77), не подходит по смыслу значение «река» вообще. В первом тексте речь идет о самой длинной реке, во втором — о самой опасной. В той среде и обстановке, где родилась Авеста, эти два качества могли приписываться только Сыр-дарье <sup>17</sup>. К аналогичным же выводам приходит Бенвенист (стр. 120, 119), который вместе с тем считает возможным думать, что *dānu-* — это название либо Сыр-дарьи (Яксарта), либо Аму-дарьи (Окса).

Мы не будем останавливаться на отдельных этимологических и историко-лексикологических замечках автора. Все привлекательные им осетинские слова стали предметом этимологического разбора в ИЭС, и, сливчив этимологии Бенвениста и наши, легко убедиться, что в большинстве они совпадают.

Кое в чем мы вынуждены возразить автору. Неверно утверждение, будто иранский глагол *kan-* «копать» известен в осетинском только с превербом *ni-* (стр. 118). Этот глагол найден не только в *nigənnun* «зарывать», но также в *wəgənnun* «черпать» (\**abi-kan-*) и *rəgənnun* «посыпать солью, перцем» (\**fra-kan-*) <sup>18</sup>. Осет. *asærdy* означает

<sup>13</sup> В. И. Абаев, Скифский быт и реформа Зороастра, АО, XXXIV, 1, 1956, стр. 52, 56. См. также В. И. Абаев, Этимологические заметки. II — Осетинское *wəjyg/wəjug* «великий», «Труды Института языкознания [АН СССР], т. VI, М., 1956, стр. 455, а также ИЭС в статьях *Ardiwag*, *axəyr*, *Fəlvəra*, *wəjyg*.

<sup>17</sup> См. В. И. Абаев, Скифский быт и реформа Зороастра, стр. 42—44.

<sup>18</sup> В. И. Абаев, Этимологические заметки. I — Иранское *kan-* «копать, насыпать», «Труды Института языкознания [АН СССР], т. VI, стр. 444.

<sup>13</sup> Последний пример приводит сам Бенвенист, не замечая, что он противоречит его точке зрения, поскольку заключает простой формант *-ag*, а не *-i-ag*. Появление *j* перед сонантами в производных словах связано со структурой слога и требует особого рассмотрения.

<sup>14</sup> Неверно утверждение автора, что *ræixen* применяется только к веревке, прикрепляющей дышло к ярму (стр. 108).

<sup>15</sup> См. В. И. Абаев, Грамматический очерк осетинского языка, Орджоникидзе, 1959, стр. 148.

не «в этом году» (стр. 126), а «этим летом». Осет. *ærdzæj* «от природы» происходит не от *zajyn* «красти» (стр. 126), а от *ærdz* «природа»<sup>19</sup>; образование *zæjç* «потомство» от *zajyn* уже разъяснялось<sup>20</sup>.

Вопреки мнению Гюбшмана, с которым солидаризируется Бенвенист (стр. 132), осет. *zæd/izæd* «божество» не является заимствованием из персидского. Оно унаследовано от скифского, где легко распознается в именах *Ἰαζόδαχος*, *Ἰέζδαχος* и др.<sup>21</sup>. Начальный *ya-* дал беглый *i-*, как в *igær* «печень» из *yakar-*, *i* (артикл) из *ya* и др.<sup>22</sup>.

Неубедительно размежевание *wac* «известие» и *wadz* «поговорка» как якобы разных слов (стр. 137). Колебание глухого и звонкого в исходе в одном и том же слове нередко, например *nytæç* и *nytædz* «число».

<sup>19</sup> ИЭС, стр. 174.

<sup>20</sup> ОЯФ, стр. 573.

<sup>21</sup> ОЯФ, стр. 190.

<sup>22</sup> Относительно другого названия небожителей *dawæg* см.: V. Abaev, *Osse «dawæg/idawæg»*, «Collection Latomus», vol. XLV (Hommages G. Dumézil), Bruxelles, 1960.

Осет. *kænd* «большие поминки», по нашему мнению, происходит не от *kan* «копать» (стр. 140), а от *kænyn* «делать, действовать»: поминки рассматривались как «(культурное) действие». Имя *Eltağan* не связано с тюркским *Eltoğan* (стр. 146). Последнее представлено в осетинском фольклоре в закономерной форме *Eltūğan*, *Ertūğan*<sup>23</sup>.

В целом книга Э. Бенвениста, посвященная вопросам истории и строя осетинского языка, заслуживает высокой оценки. Она войдет в число настоящих книг всякого ираниста. Правда, для советского читателя многое в ней лишено прелести новизны. Но и у нас и еще больше за рубежом труд Бенвениста будет, несомненно, полезен как отражение нового этапа в познании одного из интереснейших иранских языков. Хотя автор стал заниматься осетинским языком лишь в последние годы, он сумел глубоко проникнуть как во внутренние отношения этого языка, так и в его связи с другими языками.

В. И. Абаев

<sup>23</sup> См., например, Х. Плиты, Уаллазы кадаг, Дзауджикау, 1950 (passim)

#### НОВОЕ ИЗДАНИЕ КЛОЦЕВА СБОРНИКА \*

Недавнее издание Клоцева сборника, подготовленное доктором филол. наук А. Досталом, за последние годы уже вторая публикация (после выхода в свет 2-й части готовящегося полного четырехтомного издания проф. Й. Курцем Ассеманиева кодекса<sup>1</sup>) Чехословацкой Академией наук одного из ценнейших и интереснейших глаголических памятников старославянского языка, относящихся к XI в. Книга состоит из четырех разделов: 1) введение; 2) фототипическое издание рукописи с кириллической ее транскрипцией; 3) греческие источники, старославянский текст в латинской транскрипции и чешский перевод с примечаниями; 4) указатель слов и форм.

Во вступительной статье (стр. 5—12) дается описание рукописи. Рукопись входит в состав старинного кодекса, который делится на 2 части: Триентскую (содержит 12 листов подлинника, принадлежавших ранее графу П. Клоцу и находившихся

теперь в музее в Триенте) и Инсбрукскую (содержит 2 листа, принадлежавшие ранее А. А. Дипуали и находящиеся теперь в «Ferdinandum» в Инсбруке). Далее дается описание существующих изданий памятника (издание Б. Копитаром 1-й части в 1836 г., издание Фр. Миклошичем 2-й части в 1860 г. и полное издание памятника — И. И. Срезневским в 1866 г. и В. Вондраком в 1893 г.<sup>2</sup>) с краткой критической оценкой и основными библиографическими данными. А. Достал не говорит об истории памятника<sup>3</sup>. Палеографический

<sup>2</sup> Издание обеих частей Клоцева сборника И. И. Срезневским (см. И. И. Срезневский, Древние глаголические памятники сравнительно с памятниками кириллицы, СПб., 1866, стр. 163—206), авторами пособий по старославянскому языку большей частью не называемое, является перепечаткой публикации Б. Копитара и Фр. Миклошича. Единственным полным изданием, снабженным грамматико-палеографическим введением и полным глоссарием [как это отмечает, например, Н. Ван-Вейк в своем труде «История старославянского языка» (перевод с немецкого, М., 1957, стр. 46)], являлось до сих пор издание В. Вондрака, в котором помещены фотоконии трех страниц рукописи этого кодекса (а именно стр. 5а, 12а и 14а Триентской части). Однако и у Вондрака обнаруживается целый ряд мелких неточностей, недочетов и ошибок, исправляемых в рассматриваемом труде А. Достала.

<sup>3</sup> Интересные примечания к истории этого памятника имеются, например, в недавно опубликованных статьях В. Стефанича (см. Vj. Štefanić, Kločev glago-

\* См. «Clozianus. Codex palaeoslovenicus glagoliticus, tridentinus et oenipontanus. Editio phototypica, textus litteris cyrillicis transcriptus cum annotationibus ad lectiones libri manuscripti; fontes graeci cum apparatu critico; textus palaeoslovenicus litteris latinis transcriptus cum apparatu critico; tractatus bohemicus textus palaeoslovenici; glossarium completum», ed. A. Dostál, Praha, 1959, 400 стр. (с параллельным чешским заглавием).

<sup>1</sup> См. «Evangelium Assemani. Codex Vaticanus 3 slavicus glagoliticus», ed. J. Vajs, J. Kurz, t. II — ed. J. Kurz, Praha, 1955 (с параллельным чешским заглавием).

анализ также отсутствует<sup>4</sup> — А. Достал полагает, что он должен быть предметом особых исследований, выходящих из рамок данного издания (стр. 7). Далее излагается содержание Клоцева сборника, охватывающего пять гомилий (проповедей) восточных отцов церкви, из которых вторая, так называемая Анонимная, гомилия занимает особое место (греческий ее подлинник до сих пор еще не вполне известен), дается сравнительный анализ переводов гомилий, выполненных различными авторами. Одновременно приводится имеющаяся литература.

Во второй части издания (стр. 15—105) помещены фототипические снимки обеих частей рукописи Клоцева сборника, впервые публикуемые полностью в этом издании, и кириллическая транскрипция текста по принципу, принятому В. Ягичем<sup>5</sup>. Все сокращения и пунктуация в транскрипции подлинника сохраняются; текст снабжается довольно подробными примечаниями. Одна страница рукописи публикуется на двух страницах издания (на каждой — 20 строк рукописи с подстрочными примечаниями). Фототипические снимки пронумерованы, размеры букв сохранены, маюскулы и инициалы воспроизведены в размерах, пропорциональных по отношению к размерам строк в оригинале рукописи. В отличие от издания Курца, проводится сравнение с предшествующими публикациями памятника и отмечаются допущенные в них ошибки.

Автор издания при транскрипции рукописи применяет новый, более точный и совершенный, метод расшифровки текста рукописного памятника. Ему удалось прочесть рукопись памятника во многом более точно, чем его предшественника, благодаря специальному (для Триентской части) или двух (для Инсбрукской части) фотоснимков неодинаковой яркости и потому неодинаковой четкости. А. Достал приводит параллельные старославянские варианты текста по имеющимся изданиям (Супрасльскую рукопись — по изданию Северьянова, Гомиляр Михановича — по

изданию Ягича<sup>6</sup>) и по новым снимкам рукописей, параллельных тексту Клоцева сборника. Греческие тексты приводятся по изданию Савилия (снимки Британского музея), а также по греческим рукописным сборникам, большей частью взятым из собрания Венской национальной библиотеки. Издания этих текстов сравниваются с публикациями Кошитары, Миклошича, Миня и Вондрака.

Третий раздел (стр. 109—309) содержит греческие источники с критическим аппаратом, старославянский текст в латинской транскрипции с новой пунктуацией и примечаниями, латинский текст по Миню и чешский перевод старославянского текста. Перевод второй (Анонимной) гомилии сравнивается с французским переводом А. Вайана, словенским — Ф. Гривеца и чешским — Й. Вашицы. Заметим, что исследование Й. Вашицы показало, что этот текст как с точки зрения филологической, так и юридической представляет большой интерес — в его терминологии обнаруживается зависимость от древнего старославянского юридического памятника «Закон судный людем»<sup>7</sup>; А. Вайан, указывая на параллели с текстом Жития Мефодия, называет ее — в отличие от Гривеца и Вашицы — Мефодиевой гомилией. В комментариях учитываются также, кроме вышеуказанного, замечания Кошитары (который приводит латинский текст — перевод этой гомилии) и Вондрака.

Из всех известных греческих источников издатель выбирает текст, который наиболее близок тексту старославянскому, в том виде, как он засвидетельствован в Клоцевом сборнике. Греческий текст разделяется по строкам не таким способом, как в греческом рукописном подлиннике или его издании, а так, чтобы, по мере возможности, строке старославянского текста (как строке перевода) соответствовала строка греческого текста. Глава заканчивается приведением списка библейских цитат, помогающих лучше ориентироваться в тексте.

Новое издание Клоцева сборника отличается методологической солидностью и тщательной текстологической обработкой, а также большой полнотой. Оно принадлежит — наряду с Ассеманиевым кодексом, опубликованным проф. Й. Курцем (первая его часть, фототипическое издание, выполнена совместно с покойным проф. Й. Вайсом) — к лучшим критическим изданиям памятников этого рода и является достойным продолжением известных в славистическом мире (хотя во многих отношениях теперь уже несколько устаревших) преж-

ljaš i Luka Rinaldis, «Radovi staroslaven-skog instituta», knj. 2, 1955; его же, Novija istraživanja o Kločevu glagoljašu, «Slovo», 2, 1953).

<sup>4</sup> Этот вопрос автор издания освещает в особой статье (см. А. D o s t á l, K hlá-holskému písmu Clozova sborníku, «Slavia», r. XXV, seš. 2, 1956).

<sup>5</sup> А. Достал вообще является сторонником другого метода: традиционную кириллическую транскрипцию глаголических рукописей он считает излишней (между прочим потому, что этим стирается двойственный характер старославянских рукописей) и предпочитает в таких случаях транскрипцию латинскую. Однако при издании этого памятника (по разным важным причинам, о которых упоминается в предисловии ко 2-й части) он придерживается традиционной кириллической транскрипции, латинскую же приводит в последующей главе.

<sup>6</sup> См. V. J a g i ć, Bericht über einen mittelbulgarischen Zlatoust des 13—14 Jahrhunderts, Wien, 1898.

<sup>7</sup> См., например, его последнюю статью: J. V a š i c a, Anonymní homilie rukopisu Clozova po stránce právní, «Slavia», r. XXV, seš. 2, 1956 (в статье приводится имеющаяся литература по этому вопросу); его же, Jazyková povaha Zákona sudného ľudem, «Slavia», r. XXVII, seš. 4, 1958.

них публикаций древнейших памятников старославянского языка.

Тем более приходится пожалеть о том, что к изданию рукописи не был, в целях совершенной полноты, добавлен также текст Гомилиара Михановича (в последнем издании Вондрака), близкий к тексту Клоцева сборника и восполняющий в нем известный пробел, а именно — отсутствующий первый кватернус кодекса. В книге А. Достала приводится лишь перевод отсутствующего текста, чтобы сохранить последовательность содержания всех гомилий (автор издания ссылается во вводной части на то, что текст упомянутого памятника был уже фотографически издан в Граце<sup>8</sup>). Однако думаем, что присоединение текста указанной гомилии (это особенно необходимо из-за ее малой доступности) улучшило бы издание.

В четвертый, последний раздел (стр. 313—398) входит список слов и форм Клоцева сборника, встречающихся в издаваемом тексте рукописи, с грамматическим определением и пометами согласно их функциям и употреблению в тексте. Орфографическая нормализация текста проведена по академическому большому «Словарю старославянского языка» (издаваемому отдельными тетрадями Славянским институтом Чехословацкой Академии наук). Греческие параллели даются в нисходящей последовательности в соответствии с их употребительностью. Приводятся отдельные засвидетельствованные примеры в той форме, в какой они представлены в кириллической транскрипции, с определением места в тексте издания А. Достала, а также издания Вондрака, и с греческими вариантами в той форме, в какой они представлены в соответствующем месте параллельного греческого текста.

В конце издания приводится очень удобно составленная пагинация отдельных частей греческих источников (справки о которых стали бы без этого весьма затруднительными из-за разноместного их положения внутри текста наряду с латинской транскрипцией, чешским переводом и критическим аппаратом).

Подводя общий итог, следует сказать, что новое издание Клоцева сборника дает широкой славянистической общественности ценное с филологической точки зрения пособие, представляющее большой интерес не только своей полнотой (полное воспроизведение фотоснимков всех страниц рукописи мы здесь находим впервые), но и хорошей текстологической и научно-критической обработкой.

Л. Коваль

F. Dimitrescu. *Locuțiunile verbale în limba română*. — București, Academia republicii populare române, 1958. 233 стр. («Materiale și cercetări lingvistice», V).

Исследование румынского языковеда Ф. Димитреску «Глагольные устойчивые

сочетания в румынском языке» представляет для специалистов по романстике значительный интерес. Ф. Димитреску указывает во «Введении» (стр. 23—29) на необходимость устранения разнобой в употреблении и определении терминов, обозначающих устойчивые сочетания слов, и в следующем разделе «Определение понятия „устойчивое сочетание слов“», стр. 30—68) характеризует устойчивое словосочетание как соединение слов, объединенных общим значением и общей грамматической функцией. Эта дефиниция служит автору отправной точкой при исследовании конкретного материала. Однако в ряде случаев он выходит за границы данного определения. Например, к устойчивым сочетаниям слов он причисляет не только отдельно оформленные компоненты (например, *a băga de seamă* «обращать внимание, замечать»), но и целю оформленные слова на том основании, что эти слова исторически восходят к словосочетаниям, которые благодаря частому употреблению слились в одно слово (опрощение). Например: *cumsecade* «приличный», *deasupra* «сверху», *demult* «давно», *laolalta* «вместе», *basăma* «кажется», *oricine* «всякий», *fiicare* «каждый», *fiindcă* «потому что» и т. д. (см. стр. 35, 36, 39, 40, 43). Отнесение таких образований к устойчивым сочетаниям слов противоречит одному из выводов самого автора, что устойчивые словосочетания формально ничем не отличаются от обычных свободных сочетаний (стр. 180).

По степени семантической связи компонентов глагольные устойчивые сочетания подразделяются автором на три группы. К первой группе относятся немотивированные устойчивые сочетания, компоненты которых полностью утратили самостоятельное значение. В качестве примеров таких сочетаний приводятся эквиваленты имени существительного (*finere de minte* «память»), глагола (*a-si bate joc* «издеваться»), наречия (*pe de rost* «наизусть»), предлога (*de față cu* «в присутствии»), союза (*cu toate că* «хотя, несмотря на то, что»), прилагательного (*ca aceea* «чрезвычайный, необыкновенный»). Далее следует традиционное перечисление особенностей сочетаний этой группы: неизменный порядок следования компонентов сочетания, невозможность разъединения компонентов сочетания другими лексическими единицами, невозможность синонимической замены одного из компонентов, наличие в языке синонима для сочетания в целом. В некоторых сочетаниях встречаются архаизмы: *ortul* «старинная мелкая монета» (*a da ortul popii* «умереть»), *habar* «забота; хлопоты» (*a nu avea habar* «не беспокоиться») и т. п. Сочетания первой группы могут служить базой для образования новых лексических единиц (*a lua aminte* — *luator aminte* «замечать — внимательный»).

Однако такие образования, как *din nou* «снова», *în veci* «навсегда», *afară de* «кроме» (стр. 35), *a lăsa în pace* «оставлять в покое» (стр. 37), *pe lângă* «кроме; возле» (стр. 38), *de-a lungul* «вдоль», *din cauză*

<sup>8</sup> См. R. Aitzetmüller, Miha-nović Homiliar, Graz, 1957.

«из-за, по причине» (стр. 39) и т. п., не следовало, может быть, включать в первую группу: их значение объясняется сохраняющимся значением компонентов.

Вторая группа содержит устойчивые сочетания более позднего образования. По крайней мере один из компонентов сочетания сохраняет основное значение, чем и объясняется меньшая степень спаянности компонентов. Сочетания этой группы обладают рядом признаков, общих с первой группой: фиксированный порядок следования компонентов, невозможность разъединения компонентов при помощи других слов, наличие синонимов для сочетания в целом, способность служить базой для словообразования (ср. *a pune la cale—punerea la cale* «подготовить — подготовка»). Специфичным для некоторых сочетаний данной группы является употребление местоимений в качестве компонентов (например, *a o rupe la fugă* «ударить»), наличие плеоназмов (*a trece prin ciur și prin dirmon* «пройти огонь, воду и медные трубы»), эмоциональная окрашенность, возможность замены отдельных компонентов синонимами-диалектизмами (ср., например, молд. *a face piftie* «стереть ногой в лепешку» — мунтян. *a face chise-liță* «избить кого-либо» и т. п.).

Однако автор включает в эту группу также целый ряд сочетаний, содержащих архаизмы, на том основании, что эти сочетания более позднего происхождения. Например: *intr' un buc* «моментально», *a bate ciamburu* «лодырничать», *a prinde maia* «свертываться», *a face mascara* «трусить, насмехаться», *a tăia nartul* «оценивать что-либо» и многие другие (см. стр. 52 и сл.). Поскольку основным принципом классификации, принятой автором, является степень семантической спаянности компонентов, данные сочетания следовало бы отнести скорее к первой группе.

Спорным представляется выделение в особую, третью группу устойчивых сочетаний, являющихся или продуктом индивидуального творчества какого-либо писателя [например, *a da pe bete pe cineva* «выгнать кого-либо» (Alexandri)], или эвфемистическими выражениями (например, *a închide ochii* «умереть»), или диалектизмами (например, *a iesi la bedreag* «избавиться от бедности»). Основным признаком образований данной группы является ограниченность их употребления в общенародном языке; по степени же спаянности компонентов эти сочетания могут быть распределены между первой и второй группами. Так, например, сочетание *a -și lasa potcoavele* «умереть» (дословно: «оставлять подковы») содержит намек на значение целого и может быть отнесено ко второй группе. Ср. также *v închide ochii* «умереть» (дословно: «закрывать глаза»). С другой стороны, глагольное сочетание *a face cuiva apă* «убить» (дословно: «сделать воду кому-нибудь») совершенно немотивировано и может быть включено в первую группу.

Раздел «Составные части глагольных устойчивых сочетаний» (стр. 69—94) характеризует разные структурные типы изу-

чаемых сочетаний. Выделяются восемь групп, которые приводятся в порядке их употребительности в языке:

I. Глагол (+ местоимение) + существительное (например, *a-și bate joc* «издеваться») с подтипами: А) именной компонент представлен существительным в единственном числе: а) без артикля (например, *a da știre* «сообщить»), б) с определенным артиклем (например, *a-și lua calea* «отправиться»), в) с неопределенным артиклем (например, *a face un sfârșit* «положить конец»); В) именной компонент представлен именем существительным в форме множественного числа (например, *ă-și lua zilele* «покончить самоубийством»).

II. Глагол (+ местоимение) + предлог + существительное (например, *a da de știre* «известить, дать знать»).

III. Глагол (+ местоимение) (+ предлог) + наречие (например, *ă-și băga mințile în cap* «образумиться»).

IV. Глагол (+ местоимение) (+ предлог) + наречие (например, *a se trage înapoi*, *a da înapoi* «отступать, пятиться»).

V. Глагол (+ предлог) + междометие (например, *a face trans* «захлопнуться»).

VI. Глагол (+ местоимение) (+ предлог) + числительное (например, *a face în două* «разделить пополам»).

VII. Глагол (+ местоимение) (+ предлог) + прилагательное (например, *a o lua de bună* «воспринять в хорошем смысле»).

VIII. Глагол (+ местоимение) + существительное (+ предлог) + наречие (например, *mă ia gura pe dinainte* «проговориться»).

Автор указывает на исключительное богатство в румынском языке глагольных устойчивых сочетаний и ставит вопрос о необходимости создания словаря таких сочетаний.

В разделе «Грамматические признаки глагольных устойчивых сочетаний» (стр. 95—119) рассматриваются такие вопросы, как значение переходности и непереходности сочетаний, возможность их синтаксического распространения, порядок следования компонентов, категория залога, видовые значения и т. п. Автор приходит к выводу о полной одинаковости грамматических признаков устойчивых глагольных сочетаний и обычных глаголов.

В следующем разделе «Роль устойчивых глагольных сочетаний в словообразовании» (стр. 120—144) автор указывает, что глагольные сочетания могут служить базой для образования новых слов. Новые лексические единицы могут образоваться путем перехода сочетания из категории глагола в другую часть речи (*a iesi din minți—ieșit din minți* «сходить с ума — сумасшедший»; *a aduce aminte—aducerea aminte* «напоминать — напоминание»), суффиксации (*a băga de seamă—băgător de seamă* «обращать внимание — внимательный»), префиксации (*a da în chirie—a închiria* «сдавать в наем — нанимать») и т. п.

В разделе «Происхождение устойчивых глагольных сочетаний» (стр. 145—178) излагаются взгляды различных западноевро-

лейских ученых (О. Тальгрена-Туулио, А. Шкьяффини, Дж. Бонфанте, К. Зандфельта, В. Полака и др.) по вопросу о наличии одинаковых по значению и структуре глагольных устойчивых сочетаний в различных европейских языках.

Автор полемизирует с Полаком<sup>1</sup>, объясняющим фразеологическое сходство «конвергентным развитием атлантического союза языков». Ф. Димитреску справедливо отвергает утверждения Полака о том, что славянские языки якобы лишены глагольных сочетаний, и приводит целый ряд примеров таких глагольных единиц из русского и словацкого языков. Однако утверждение автора, что в языках Восточной Европы глагольные устойчивые сочетания не менее многочисленны (стр. 151), чем в языках Западной Европы, не подкрепляется фактами.

Спорным представляется и высказывание автора об одинаковой структуре глагольных сочетаний в языках Восточной и Западной Европы (стр. 152). Количество, удельный вес, употребительность и структура устойчивых сочетаний в каждом языке определяются структурными особенностями данного языка.

Далее следует разделение устойчивых сочетаний на две категории: глагольные сочетания, созданные в самом румынском языке, и глагольные сочетания, общие для ряда языков. Ко второй категории относятся балканизмы — глагольные сочетания, общие для ряда балканских языков, и романизмы, общие для ряда романских языков.

В последнем разделе — «Выводы» (стр. 179—183) — автор указывает, что устойчивые глагольные сочетания характеризуются промежуточным положением между грамматикой и лексикой, поскольку по форме они не отличаются от свободных сочетаний, а единство значения сближает их с обычными словами.

В целом книга представляет собой ценный вклад в разработку фразеологии румынского языка. Высказанные замечания относительно отдельных спорных вопросов и деталей изложения несколько не умаляют ее несомненных достоинств.

К книге приложены указатель цитируемых авторов, указатель глагольных устойчивых сочетаний, а также резюме на русском и французском языках.

З. Н. Левит

С. Н. Иванов. Очерки по синтаксису узбекского языка (форма на *-ган* и ее производные). — Л., Изд-во ЛГУ, 1959, 152 стр.

Точный анализ и раскрытие природы отдельных грамматических явлений языка возможны лишь при их рассмотрении в различных планах, при условии разумного сочетания аналитического и синтетического подхода. «Очерки по синтаксису

узбекского языка» С. Н. Иванова представляют собой довольно редкое в литературе по грамматическому строю тюркских языков исследование, посвященное анализу одной грамматической формы — причастия на *-ган*, рассматриваемого и в плане его морфологического значения, и в плане его многообразных синтаксических функций.

Синтаксический аспект для автора является основным. В книге освещается значение формы на *-ган* в функции сказуемого (1-я глава), функционирование ее в качестве определяющего (2-я глава) и в качестве подлежащего, дополнения и обстоятельства (3 и 4-я главы). В первой главе рассматриваются параллельно проблемы, связанные с категорией времени, наклонения, модальности и лица, во второй главе удачно разрешаются проблемы отношения формы причастия на *-ган* к залоговой и видовой категориям и вопрос дифференциации в тюркских языках так называемых причастных оборотов и придаточных предложений. Заключение посвящено вопросу отношения исследуемой формы на *-ган* к другим грамматическим формам и ее места в общей системе частей речи.

Все исследование произведено на материале узбекского языка с привлечением данных из других тюркских языков. В книге убедительно обосновывается положение о единой грамматической природе формы на *-ган*, являющейся производной причастной формой глагола, положение о ее полисемии, вытекающей из многообразия ее функционального использования, а не из грамматической омонимии. Заслуживают серьезного внимания выводы автора о противопоставлении действительного и страдательного варианта формы на *-ган*, о ее временных значениях в функции сказуемого, о классификации оборотов на односоставные и двусоставные и др.

Указанные положения получили бы свое более прочное обоснование, если бы С. Н. Иванов сопоставил форму на *-ган* с другими аналогичными причастными формами в узбекском языке и в то же время противопоставил им иные по своему характеру производные глагольные формы — деепричастия и имена действий. Следовало также при анализе залоговых значений причастий на *-ган*, выступающих в функции определения, дифференцировать семантику глаголов, от которых образуются причастия, выделяя в первую очередь переходные и непереходные глаголы. От этого фактора зависит специфика значений определительных форм на *-ган*.

При определении причастия как формы глагола, обозначающей действующее лицо, значение понятия «действующего лица» следует рассматривать несколько шире. Под категорией «действующего лица» подразумевается форма глагола, имеющая значение динамического признака действующего грамматического лица (человека, предмета, явления и пр.), равно как и самого действующего грамматического лица, производящего или испытывающего на

<sup>1</sup> V. Polák, La périphrase verbale des langues de l'Europe occidentale, «Lingua», vol. II, 1, 1949.

себе то или иное действие или состояние. Поэтому такие сочетания, как *ўқиган китаб* «прочитанная книга», не противоречат такому определению грамматического (а не семантического) действующего лица. В этом отношении динамический признак (причастие) как признак действующего лица и как само действующее лицо противопоставляется статическому признаку недействующего грамматического лица, равно как и самому статическому предмету или недействующему лицу. При субстантивации как в том, так и в другом случае возникают значения как самого грамматического лица [ср. *келган* «пришедший (человек)», *қизил* «красный (воин)»], так и отвлеченное понятие самого признака (ср. *келгани* «его приход в прошлом», *қизили* «красное что-то или красный что-то из них»).

Кроме того, в тюркских языках существуют особые морфологические средства для субстантивации. Так, атрибутивной по своей природе форме на *-ган* противопоставляется соответствующая ей субстантивная форма на *-ганлик*. Форма на *-ган* как причастная форма является принципиально отличной от формы на *-ганлик* (стр. 104—106). Последняя представляет собой вторичное (от причастия) имя действия. Употребление же формы на *-ган* в субстантивной функции определяется теми же закономерностями, что и употребление имени прилагательного в атрибутивной и субстантивной функции. Относительно факультативности употребления в узбекском языке формы на *-ган* и *-ганлик* в субстантивной функции следует отметить, что использование формы на *-ган* объясняется, как нам представляется, морфологическим эллипсисом, доказательством чего может служить более последовательное использование в субстантивном значении в новоуйгурском языке только формы на *-ганлик*.

В книге дана убедительная критика ошибочного положения некоторых молодых тюркологов (К. Мусаева и Е. И. Уша-

кова) о грамматической омонимии трех форм на *-ган*: основы времени глагола, причастия, имени действия (стр. 9—10). Дан серьезный анализ значений глагольной временной формы, имеющей своей основой причастие на *-ган* и удачное сопоставление значения формы на *-ган* и формы на *-ди*, являющихся в узбекском языке глагольными формами прошедшего времени.

Что касается сочетаний типа *олган эмас* «он не взял», то трудно согласиться с автором, что они являются предикативными, где *олган* — подлежащее, а *эмас* — сказуемое. Совершенно другую структуру имеют подлинно предикативные сочетания типа *олганим йўқ* «я не взял», где действительно *олганим* — субъект, а *йўқ* — предикат (стр. 31—36).

В трактовке форм на *-ёткан* и на *-диган* автор касается только временного их значения, в то время как последние являются в значительной мере также и видовыми формами глагола. Автор не различает две различные грамматические категории: а) причастие и б) вторичные деепричастия, образовавшиеся из причастий посредством присоединения аффиксов словообразования и словоизменения. Так, причастная форма, например в локальных падежах, лексикализуется и переходит в систему так называемых вторичных деепричастий, которые, выступая в предложении в качестве управляемых членов словосочетаний, образуют так называемые деепричастные обороты или развернутые обстоятельства.

Однако эти замечания ни в какой степени не могут отразиться на общем весьма положительном впечатлении о книге. Более того, следует признать, что она может служить в известной мере образцом для будущих аналитических исследований по грамматике тюркских языков. Хорошее знание материала и точный анализ изучаемых фактов и явлений, данный в книге С. Н. Иванова, позволяют признать ее весьма ценным и практически полезным исследованием.

Н. А. Баскаков

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

СЕССИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА АН СССР,  
ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

19 апреля 1960 г. в конференц-зале ОЛЯ и языковедческих институтов состоялась научная сессия общего собрания Отделения литературы и языка АН СССР, посвященная 90-летию со дня рождения В. И. Ленина. На сессии были заслушаны: вступительное слово академика-секретаря Отделения акад. В. В. Виноградова, доклад зам. директора Института языкознания АН СССР доктора филол. наук В. А. Аврорина «Ленинская национальная политика и развитие литературных языков народов СССР»<sup>1</sup> и два доклада ст. научных сотрудников Академии наук СССР: доктора филол. наук Б. С. Мейлаха «В. И. Ленин и вопросы классического художественного наследия» (Институт русской литературы) и доктора филол. наук В. Р. Щербиньы (Институт мировой литературы им. А. М. Горького) «В. И. Ленин и вопросы советской литературы»<sup>2</sup>.

Вступительное слово акад. В. В. Виноградова<sup>3</sup>:

«Мы собрались сегодня для того, чтобы отметить знаменательную дату — девяностолетие со дня рождения В. И. Ленина. Великое имя Ленина, его учение и деятельность в настоящее время определяют строй социальной жизни и путь движения к ее дальнейшему духовному и материальному усовершенствованию почти до половины всего современного человечества. Ленин принадлежит к числу тех «гигантов учености, духа и характера», «титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености» (пользуясь выражением Энгельса),<sup>4</sup> с которыми связаны основные эпохи развития человеческого общества. Нередко — в силу законов словесной семантики и навыков человеческого мышления — именами таких гениев и обозначаются вехи социальной истории человечества. Мы живем в ленинскую эпоху. В имени Ленина, в его произведениях, в его общественно-политической деятельности сконцентрировались мысль, чувство и воля угнетенных народов. Ленин стал

«органом народной страсти, вождем народов». Как выразился Маяковский,

Он  
в черепе  
.....  
людей  
носил  
до миллиардов полутора<sup>5</sup>.

Ленин — величайший вождь революции, возглавивший в нашу новую эпоху истории всемирно-историческую борьбу за «коренное преобразование условий жизни всего человечества». Ленин — не только последователь, но глубоко самостоятельный продолжатель учения Маркса. Он творчески развил марксистскую революционную теорию в соответствии с задачами и конкретной политической сущностью новой исторической эпохи — эпохи империализма и пролетарских революций, перехода человечества от капитализма к социализму и строительства коммунистического общества. Марксизм неотделим от своего продолжения — ленинизма. Все составные части марксизма: философия, политическая экономия, научный коммунизм — получили в бессмертных трудах Ленина дальнейшее развитие, обогащение и конкретизацию. Ленин дал ответы на центральные вопросы, которые выдвигала новая эпоха, и ярким светом марксистской теории осветил будущие пути шествия человечества к коммунизму. Марксизм для нашей эпохи стал марксизмом-ленинизмом. Все произведения Ленина пронизаны творческим пониманием марксизма как вечно живого, развивающегося учения, требующего верности основным его принципам, но не признающего никаких шаблонов и догм.

Краеугольным камнем марксистско-ленинского понимания социализма является следующая мысль Ленина: «Живое творчество масс — вот основной фактор новой общественности... Социализм не создается по указам сверху. Его духу чужд казенно-бюрократический автоматизм; социализм живой, творческий, есть создание самих народных масс»<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> В. В. Маяковский, Владимир Ильич Ленин, Полн. собр. соч., т. 6, М., 1957, стр. 283.

<sup>6</sup> В. И. Ленин, Соч., т. 26, стр. 254—255.

<sup>1</sup> Публикуется в этом номере.

<sup>2</sup> Указанные доклады включаются в подготавливаемый к изданию «Ленинский сборник» АН СССР.

<sup>3</sup> Печатается в сокращении.

<sup>4</sup> Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1950, стр. 152 и 4.

Никогда еще идея, теория не сливались так тесно с повседневным трудом простого человека, как в наши дни, когда каждый человек или сознательно становится, или может стать во всей своей деятельности носителем и воплотителем великих идей и принять активное участие в строительстве коммунизма. Великая сила примера и развитие общественных условий в каждой стране могут разбудить живое творчество народа, вдохновляемого идеями коммунизма.

Труды Ленина издаются, читаются, изучаются во всех уголках земного шара и на разных языках. Так, в настоящее время в Советском Союзе они публикуются на 88 языках, в том числе на 26 языках зарубежных стран<sup>7</sup>. За рубежом ленинские труды печатают на 39 языках — на всех европейских и многих восточных.

Вопросы социалистической культуры, литературы, марксистской теории искусства, литературоведения, теории исторического развития языка в связи с историей общества получили в трудах Ленина глубокое обоснование как в своем общем философском существе, так и в задачах практического осуществления.

В резолюции летнего совещания ЦК РСДРП 1913 г. по национальному вопросу В. И. Ленин выдвигал положение о «демократическом... устройстве государства, обеспечивающем полное равноправие всех наций и языков, отсутствие обязательного государственного языка, при обеспечении населения школ с преподаванием на всех местных языках и при включении в конституцию основного закона, объявляющего недействительными какие бы то ни было привилегии одной из наций и какие бы то ни было нарушения прав национального меньшинства»<sup>8</sup>.

В царской России русский язык насаждался среди нерусского населения как средство русификации так называемых «отсталых» народов. Известно, что В. И. Ленин решительно восставал против этого<sup>9</sup>.

В. И. Ленин с предельной ясностью доказал, что в огромной России, пестрой по своему языковому составу, привилегированное положение, предоставленное одному русскому языку, может только затормозить развитие других народов страны. «Если отпадут всякие привилегии,— пишет В. И. Ленин,— если прекратится навязывание одного из языков, то все славяне легко и быстро научатся понимать друг друга и не будут пугаться „ужасной“ мысли, что в общем парламенте раздадутся речи на разных языках. А потребности экономического оборота сами собой определяют тот язык данной страны, знать который большинству выгодно в интересах торговых сношений»<sup>10</sup>.

Вместе с тем В. И. Ленин хорошо пони-

мал и представлял громадную цивилизующую роль русского языка, особенно в условиях социалистического развития народов нашей страны. Создание замечательных произведений национальной литературы и искусства, музыки, театра, кино, изобразительного искусства есть результат осуществления ленинских принципов развития культуры наших народов.

Ленинская национальная политика легла в основу осуществленной у нас культурной революции: создания письменности для бесписьменных народов СССР, принятия большинством народов СССР письменности на русской графике, которая способствовала развитию литературных национальных языков. Только в советскую эпоху развилось изучение грамматики национальных языков; развернута грандиозная работа по описанию диалектов, по созданию двуязычных национальных словарей и пр.

Учение Ленина о развитии народностей, наций, об обусловленности этими процессами закономерности образования национальных языков стало базой лингвистических исследований, относящихся к проблеме соотношений и взаимоотношений разговорно-народного и литературного языков, а также литературного языка и диалектов в разные периоды истории народа.

Ленин ясно указал на пути развития речевой культуры русского народа в новых социалистических условиях. Он подчеркнул неразрывную связь русского языка советской эпохи с языком русской классической литературы, с великим русским языком ближайшего прошлого. Это было очень важно в то время, когда распространялись ложные рассуждения об отмирании старого языка классиков, о революции языка и революции в языке. Горячая и глубокая мысль о речевой культуре масс, новой советской интеллигенции выражалась и в его настойчивых заботах о составлении словаря современного русского языка. Ленин указывал, что необходим новый «... словарь для пользования (и учения) всех, словарь, так сказать, классический, современного русского языка (от Пушкина до Горького, что ли, примерно)»<sup>11</sup>. В другом письме Ленин говорил, что это должен быть словарь «образцового, современного, по новому правописанию» русского языка. Ленин здесь характеризует не только огромную роль художественной литературы в обогащении национального языка, но и веши его исторического развития.

Говоря о важности составления нового словаря родного языка, Ленин высказал свое неудовлетворение словарем Даля как областническим (во многом устаревшим). Здесь со всей остротой Лениным поставлен вопрос о нормировании русского языка, о средствах его словарного обогащения, о недопустимости засорения общенародного языка областными, местными, жаргонными словами, обильно хлынувшими в разговорную речь и в язык советской литературы в первые годы после революции.

<sup>7</sup> См. «История СССР», № 2, 1960, стр. 270 и 272.

<sup>8</sup> В. И. Ленин, Соч., т. 19, стр. 385.

<sup>9</sup> См. там же, т. 20, стр. 55—56.

<sup>10</sup> Там же, т. 19, стр. 318.

<sup>11</sup> Там же, т. 35, стр. 381.

В связи с этим полезно вспомнить пометки Ленина на статье одного из лидеров Пролеткульта В. Плетнева, выдвигавшего тезис об устарелости русского дореволюционного литературного языка. В. Плетнев писал: «Бешеная стремительность революции уже сейчас вносит в наш язык новое содержание, ломая его, „благородные“ классические формы. Наш лексикон, подчиняясь темпу жизни, становится телеграфно-четким, отрывистым, сгущающим содержание слова до колоссальных размеров. Переведите-ка на старый „благородный“ русский язык Обломова пару слов: „электрификация“ и „радиоактивность“, а мы в них легко ассоциируем несоизмеримый масштаб явлений экономического, технического, научного порядка. Это вносит в содержание, в форму литературного творчества и его назначение огромные видоизменения»<sup>12</sup>.

В. И. Ленин в своих замечаниях<sup>13</sup> выразил отрицательное отношение к этим мнимо-революционным трескучим фразам о каком-то новом «телеграфно-четком» языке и к этому нигилистическому отрицанию старого литературного языка как «языка Обломова».

Ленинская национальная политика, основанная на принципе полного равноправия всех национальностей, обеспечила возможность беспрепятственного развития их языков. Развитие многочисленных языков народов Советского Союза происходит в условиях братской дружбы и взаимной помощи этих народов. Само собою разумеется, что объем функций разных языков и степень их распространения, их, так сказать, место в ряду языков мировой цивилизации, перспективы их развития обусловлены социальной историей соответствующих народов, а также их отношениями и связями с другими народами нашей страны. Однако характерно, что даже младописьменные литературные языки крупных социалистических наций, обладающих национальной автономией в виде автономных республик и областей, переживают сейчас у нас период бурного расцвета как в смысле неуклонного расширения их функций,

круга их употребления в литературе, в других формах искусства, в науке, школе, в общественно-политической жизни, так и в смысле охвата ими всей нации при постепенном сглаживании диалектных различий в разговорной речи. Сама историческая действительность, дружественное взаимообщение наций и народностей нашей страны определяют формы и способы взаимодействий многочисленных языков народов Советского Союза и пути их функционального объединения и разграничения. Изучение этих процессов и даже некоторое воздействие на их течение — важная научно-лингвистическая и культурно-политическая проблема нашего времени.

Нельзя умолчать и о прогрессивном влиянии русского языка как языка передовой, высокоразвитой нации на все языки народов СССР, прежде всего в области терминологии, особенно связанной с новейшими общественно-политическими, научными и техническими понятиями. Все языки нашей страны — бесписьменные, младописьменные и некоторые из старописьменных — испытывают на себе благотворное влияние русского языка, кроме того, в области бытовой лексики и синтаксиса. Разнообразное влияние русского языка сказывается особенно в развитии структуры младописьменных языков, а тем самым и в расширении их общественных функций.

Благодаря последовательному и глубокому претворению в жизнь выдвинутых и отчасти разработанных Лениным принципов национальной политики наша страна добилась невиданных успехов в разрешении национального вопроса. Установившаяся в результате этого крепкая, нерушимая дружба народов явилась величайшей силой развития советского общества. Она, как известно, легла краеугольным камнем в фундамент Советского государства.

Глубокое, систематическое, непрестанное изучение ленинского наследия во всем его богатстве и разнообразии освещает и определяет пути развития нашей гуманитарной науки, в том числе и науки о литературе, и науки об исторических связях языка с развитием общества».

Ф. Ф. Кузьмин  
(Москва)

<sup>12</sup> «Правда» 27 IX 1922.

<sup>13</sup> См. В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 475.

## О РАЗВИТИИ СТРУКТУРНЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА

В течение ряда последних лет все более обнаруживалась необходимость организационного закрепления тех существенных изменений в методике лингвистических исследований, которые связаны с применением методов структурного анализа языка. Дискуссия о структурализме, открытая на страницах журнала «Вопросы языкознания», совещание по математической лингвистике 15—21 апреля 1959 г. в Ле-

нинграде, значительное расширение проблематики прикладного языкознания, развитие которого требует осуществления широкой программы типологических исследований с использованием новой методики лингвистического анализа, наконец, включение в перспективные планы Отделения литературы и языка АН СССР особого направления «Основные вопросы семиотики, теории информации и прикладного языко-

знания», охватывающего большой круг проблем от вопросов машинного перевода до принципов создания искусственных языков, — все это шаг за шагом подготовило почву для постановки в Президиуме Академии наук СССР вопроса о развитии структурных и математических методов исследования языка.

В начале февраля с. г. Президиумом АН СССР была образована комиссия под председательством акад. В. В. Виноградова для подготовки проекта постановления по указанному вопросу. В состав комиссии вошли: акад. А. И. Берг, члены-корр. АН СССР Б. А. Серебренников, В. И. Борковский и П. С. Новиков, доктора филол. наук М. М. Гухман, С. Б. Бернштейн и Л. Р. Зиндер, проф. А. А. Ляпунов, канд. физ.-мат. наук В. А. Успенский, кандидаты филол. наук А. А. Реформатский, Вяч. В. Иванов, В. Н. Топоров, С. К. Шаумян, Н. Д. Андреев и В. П. Григорьев (секретарь комиссии).

На основе предложений Научного совета по кибернетике комиссия выработала проект постановления Президиума АН СССР, получивший одобрение также со стороны академиков-секретарей Отделения физико-математических наук — акад. Л. А. Арцимовича и Отделения исторических наук — акад. Е. М. Жукова.

В принятом Президиумом АН СССР 6 мая с. г. постановлении «О развитии структурных и математических методов исследования языка», в частности, говорится о том, что в связи с огромным народнохозяйственным значением автоматизации необходимо всемерно развивать исследования в области целого комплекса научных дисциплин, использующих достижения кибернетики. К числу таких научных дисциплин относится языкознание, внутри которого возникли и интенсивно развиваются структурные и математические методы исследования языка (структурная и математическая лингвистика).

Эти методы не только являются теоретической базой для разработки прикладных лингвистических проблем современной кибернетики (автоматическое речевое управление производственными объектами, автоматизация служб информации, автоматизация перевода и реферирования научно-технической литературы, построение информационно-логических машин, конструирование стенографов-автоматов, повышение пропускной способности каналов проводной и непроводной связи и др.). Применение структурных и математических методов исследования языка имеет большое значение и для развития теоретического языкознания.

Изучение закономерностей функционирования и развития языка как общественного явления, научное описание многочисленных, часто малоизученных языков Советского Союза невозможно без выработки точных методов исследования. Разные лингвистические проблемы, разные объекты лингвистического исследования предполагают применение различной методики описания и анализа языка. Применение

структурных и математических методов особенно важно для изучения языка как важнейшего средства передачи информации в обществе, исследования речевой коммуникации (в том числе массовой коммуникации с помощью радио, кино, телевидения), а также для решения некоторых вопросов сравнительно-исторического языкознания (восстановления языковых систем методом внутренней реконструкции, определения относительной хронологии и глоттохронологии) и для разработки методов дешифровки древних письменностей.

Понятно, что применение структурных методов ни в коей мере не может заменить всех других методов изучения языка, используемых марксистским языкознанием, и несколько не уменьшает значения исторического и сравнительно-исторического изучения языка как результата многовекового творчества народа.

В постановлении подчеркивается, что структурные и математические методы, правильно сочетаемые с другими методами в советском языкознании, принадлежат к перспективным путям развития современной науки. Однако приходится констатировать, что теоретическим исследованиям в области структурных методов у нас до последнего времени не уделялось должного внимания, и нынешнее состояние разработки этих методов в соответствующих научно-исследовательских институтах Академии наук СССР нельзя признать удовлетворительным. Недостаточное развитие теоретических исследований в области структурных и математических методов в лингвистических учреждениях тормозит практически важные работы по теории и практике машинного перевода, построению информационных языков и информационных машин, логической семантике и другим кибернетическим приложениям языкознания, разрабатываемым в настоящее время в ряде технических и математических научно-исследовательских институтов.

В целях ликвидации неудовлетворительного состояния разработки структурных методов исследования языка в системе Академии наук СССР Президиум Академии наук принял ряд необходимых мер. Среди них особо важным является решение о реорганизации сектора прикладного языкознания Института языкознания АН СССР в сектор структурной и прикладной лингвистики с группой машинного перевода, о создании сектора структурной лингвистики в Институте русского языка АН СССР и об организации в составе Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР группы изучения языка математическими методами и группы структурно-типологического изучения языков.

Соответственно принято решение о создании сектора структурной типологии славянских языков в Институте славяноведения АН СССР и об организации групп: структурной типологии восточных языков — в Институте востоковедения АН СССР, структурно-типологического изучения китайского языка — в Институте ки-

таеведения АН СССР и структурного исследования сигнализации, письменности и дешифровки — в Институте этнографии АН СССР.

Для работы в реорганизуемых и вновь создаваемых секторах и группах должны быть привлечены и специалисты-математики, причем особое внимание будет обращено на статистическое исследование русского языка и других языков народов СССР.

В постановлении указан также ряд мер в области оснащения лингвистических учреждений Академии наук СССР современным оборудованием, в области издания работ по структурной и математической лингвистике, а также в области подготовки научных кадров.

Координация исследований в области структурных и математических методов исследования языка в учреждениях Академии наук СССР возложена на Научный совет по кибернетике АН СССР.

Принимая это постановление, Президиум АН СССР одновременно счел целесообразным рассмотреть на одном из своих ближайших заседаний вопрос о развитии проблематики традиционного языкознания в языковедческих институтах Отделения литературы и языка и поручил акад. В. В. Виноградову подготовить предложения по этому вопросу.

*В. П. Григорьев*  
(Москва)

### НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ УЧЕНЫЕ

Редакционная коллегия журнала «Вопросы языкознания» оказала мне честь, попросив сообщить сведения относительно моих научных трудов,готавливаемых в настоящее время или фигурирующих в моих планах на будущее. С удовольствием откликаюсь на это дружеское предложение, в котором усматриваю желание редакционной коллегии способствовать укреплению связей с зарубежными коллегами. Я страстный читатель Вашего журнала, а потому данное предложение вызвало во мне горячий отклик. Отвечая на поставленный вопрос, даю ниже краткий обзор моих работ на 1960 г. Начинаю с коллективных трудов, в составлении которых я принимаю участие как руководитель или член соответствующих редакционных комитетов.

В Бухарестском институте языкознания Академии РНР я придаю окончательную форму Хрестоматии, содержащей тексты на всех романских языках со времен их возникновения и до XVI в. включительно. Эта Хрестоматия является результатом труда коллектива по исследованию вопросов романского языкознания, работающего при вышеупомянутом институте под моим руководством. Составление ее началось в прошлом году. После сдачи в печать первого тома мы приступим к составлению второго, который будет содержать романские тексты, относящиеся к периоду XVII—XX вв.

При Бухарестском институте языкознания я работаю также в качестве члена комитета по редактированию Общего словаря румынского языка, начатого в феврале текущего года и являющегося продолжением словаря бывшей Румынской Академии, доведенного до буквы *Л*. Как член малого коллектива по проверке данного словаря я буду работать также над тем, чтобы придать окончательную форму отдельным статьям словаря перед сдачей их в печать.

Другой коллективный труд, в котором я принимаю участие как член редакционного комитета, несущий ответственность

за том, посвященный XIX и XX вв., — это История румынского языка. Пока наша работа еще только начата, но общий план произведения, периодизация истории румынского языка, задания сотрудников и т. д. уже установлены, так что вскоре мы будем иметь возможность приступить к собиранию материалов. На филологическом факультете университета им. К. И. Пархона при кафедре романской филологии, возглавляемой мною, по моей инициативе и под моим руководством начата работа, рассчитанная на несколько лет, по изучению проблемы французского влияния на румынский язык.

Что касается моих личных работ, могу сообщить следующее. В настоящее время подготавливаю к печати вторую часть книги «Румынские названия местностей РНР», которая выйдет, надеюсь, в 1961 г. в Издательстве Академии наук РНР вместе с первой частью, опубликованной в 1952 г. Так как тираж первой части книги был небольшим, мы с издательством пришли к соглашению опубликовать обе части в одном томе, который будет иметь не более 500—550 страниц. В течение этого же года надеюсь закончить еще один труд, начатый раньше, а именно критическое издание произведений великого румынского писателя Иона Крянги (мне помогают в этом два сотрудника; введение, насчитывающее около ста страниц, а также глоссарий являются результатом моего личного труда).

Тут же я упомяну о работе по наблюдению за переводом на немецкий язык моей книги «Введение в изучение романских языков», которая будет опубликована в 1961 г. Издательством Академии наук ГДР. Этот перевод будет в некоторой степени отличаться от второго издания на румынском языке, появление которого под заглавием «Романское языкознание. Эволюция. Течения. Методы» ожидается в ближайшем будущем. Из числа более мелких работ (уже готовых или подготавливаемых в настоящее время) могу упомянуть, например, статью «Личность А. Филипп-

пиде как человека и ученого), содержащую критический пересмотр творчества великого румынского филолога, моего бывшего профессора, статьи «Румынский суффикс *-i*» и «История, филология и языкознание»; не привожу еще ряд статей, вызванных более или менее непредвиденными обстоятельствами, возникающими довольно часто.

И. Иордан  
(Бухарест)

В течение ряда последних лет я продолжал заниматься вопросом о роли отдельных разрядов слов в строе предложения, в частности вторичными синтаксическими функциями различных частей речи. При этом я уделял особое внимание частицам. В настоящее время я окончательно оформляю общие и частные выводы. Отмечу между прочим сделанное в результате моих изысканий заключение о том, что отдельным разрядам частиц свойственны все три основные языковые функции: грамматическая (модальная), лексическая и стилистическая (экспрессивная). Мне кажется, что такое разграничение помогает уяснить роль частиц в системе языка и уточнить их характеристику и классификацию. Частные вопросы, касающиеся частиц, я изложил в ряде мелких статей. Назову последние из них: «Понятие грамматической модальности и вопрос о частицах» («*Biuletyn Polskiego towarzystwa jezykoznawczego*», zesz. XV, 1956), «Русская частица *ни* со значением обобщения и неопределенности» («*Slavia orientalis*», roczn. VII, № 3—4, 1958), «Русские безличные конструкции с местоимениями типа *некого, нечего* и соответствующие им польские конструкции» (статья будет напечатана в сборнике, посвященном профессору Витольду Дорошевскому).

В наших условиях работы при сильном недостатке научных кадров в области русской филологии каждый работник поставлен перед необходимостью приспособлять свои планы к актуальным запросам жизни. Поэтому, отказываясь пока от оформления упомянутой темы в отдельную монографию, я использую достигнутые результаты в подготавливаемой мною «Морфологии современного русского литературного языка», которая сможет служить пособием для студентов, занимающихся русской филологией, и для учителей русского языка. Я надеюсь закончить эту работу в будущем году.

Учитывая другую насущную потребность, в сотрудничестве с тремя соавторами, моими ученицами, я приступил к подготовке русско-польской части нового польско-русского и русско-польского словаря, рассчитанного в каждой из обеих частей на 70—80 тыс. слов и соответственно на 150—170 печ. листов. Словарь будет издан при сотрудничестве советского и польского издательства одновременно в Советском Союзе и в Польше. Работа над

ним продолжится от четырех до пяти лет. В дальнейшем у меня есть намерения написать синтаксис современного русского литературного языка.

А. Мирович  
(Варшава)

Работы, которые я предполагаю выполнить в ближайшее время, обусловлены главной целью, которую я ставил себе в течение всей моей научной деятельности: я мечтал именно о том, чтобы продвинуть сравнительно-историческое индоевропейское языкознание вперед.

Уже в студенческие годы (1909—1913) я заметил, что наша наука переживает тяжелый кризис. В грамматиках и этимологических словарях всех индоевропейских языков нетрудно было обнаружить тот факт, что число нерешенных вопросов по грамматике и невыясненных этимологий слов громадно. Из этого неудовлетворительного состояния можно сделать только два вывода: или данные вопросы заключают в себе такие затруднения, что сравнительно-историческое языкознание с ними справиться никогда не сможет, или же сравнительно-историческое языкознание не нашло еще путей, ведущих к решению. Первая из этих двух возможностей равнозначна признанию, что наша наука, едва появившись на свет, уже отжила свой век. Итак, я заключил, что мы не сумели еще стать на надлежащий путь. Кстати сказать, расцветающий сейчас структурализм не в состоянии нам помочь в решении вопросов, требующих исторического подхода.

Главной причиной того почти безвыходного положения, в котором очутилось индоевропейское языкознание, является то обстоятельство, что его основоположники взяли неправильный курс. Вместо того чтобы начинать исследования с реконструкции индоевропейского праязыка и изучать его отражение в отдельных индоевропейских языках, следовало прежде всего по возможности полно и точно представить известные в то время индоевропейские языки в плане синхроническом и диахроническом. Если бы индоевропейское языкознание продвигалось по этому пути, мы бы уже давно получили ответы на такие первоочередной важности вопросы, как, например, следующие: каким образом обнаруживаются и распространяются фонетические изменения, преобразуясь или не преобразуясь в «фонетические законы»; в каких условиях получаются новые производные слова и какими средствами они образуются; какие причины вызывают преобразование флексии, т. е. насколько они синтаксического, а насколько фонетического характера; как следует толковать возникновение важных синтаксических различий на протяжении истории отдельных индоевропейских языков. Помимо того, индоевропейское языкознание не выработало до сих пор образца описательной грамматики. Это отражается на состоянии, в частности, литовской филологии. Мы и

сейчас еще не обладаем удовлетворительной описательной грамматикой литературного языка, ни столь нужным исследованием, где диалекты представлялись бы синтетически. Мало того, в области литовской филологии имеется только одна попытка всесторонне описать известный диалект<sup>1</sup>; но и эта работа далеко не такова, чтобы служить образцом для других подобных описаний. Все остальные работы по литовской диалектологии являются лишь собраниями ценных наблюдений над произвольно избранными подробностями и лишены значения в методологическом отношении. Еще хуже обстоит дело в индоевропейской языковедении со сравнительно-исторической грамматикой. Образцом для лучших грамматик служат или служили «Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen» К. Бругмана и Б. Дельбрюка, «Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen» К. Бругмана и его же «Griechische Grammatik». По этому образцу исходным пунктом в научной грамматике санскрита, греческого языка, латыни и т. д. является восстановленный «индоевропейский праязык». Однако в конечном итоге получается на самом деле грамматика «индоевропейского праязыка» на фоне санскрита и т. д., с множеством исключений, объяснение которых является как бы главной задачей. В связи с этим дается и соответственная оценка изучаемых языков; так, например, санскрит, на основании которого был главным образом восстановлен «праязык» и который обнаруживает менее всего уклонений от «праязыка», ставится на первое место. Было бы во многих отношениях полезно создать грамматику одного из индоевропейских языков (например, латыни и родственных ей итальянских диалектов), в которой индоевропейский элемент был бы лишь искомой величиной.

Вопрос об улучшении индоевропейского языковедения занимал меня в последние годы в высшей степени. В связи с этим я подготовил к печати большую теоретическую статью под заглавием «Об улучшении методов исследования в индоевропейском языковедении».

После этих вводных замечаний станут более понятными мои работы и замыслы, осуществляемые в настоящее время. Я работаю сейчас над вторым томом моей «Грамматики литовского языка»<sup>2</sup>, который будет заключать в себе словообразование. Это наиболее запущенный отдел не только науки о литовском языке, но и индоевропейского языковедения вообще, а между тем от его состояния зависит многое, прежде всего улучшение исследовательских методов в области этимологии.

Литовскому словообразованию были,

правда, уже посвящены две монографии<sup>3</sup>, которые и в настоящее время сохраняют свое значение, но лишь как собрания ценных материалов из древних памятников и диалектов. Однако в методологическом отношении оба труда обнаруживают существенные недостатки и не соответствуют тем требованиям, которые мы склонны ставить труду, представляющему литовское словообразование. Второй том моей грамматики будет содержать не только перечень суффиксов с суммарным представлением их функций, в нем будут показаны и другие средства, которые имеются в литовском языке для образования производных слов. Под этими средствами я понимаю здесь, кроме суффиксов, чередование гласных и согласных, количество гласных, ударение и интонация. Представляя слова, имеющие данный суффикс, я пытаюсь распределить их по отмежеванным друг от друга семантическим группам. Таким образом, мой труд, с одной стороны, составит неотъемлемую часть грамматики литовского языка, с другой — будет служить в известной мере основанием для этимологического словаря литовского языка, который будет создан уже на новых началах. Я надеюсь, что второй том моей грамматики окажет помощь и тем лицам, которые работают над словообразованием других индоевропейских языков.

Я слишком поздно понял, что названия вод (рек, озер) и местностей — это неисчерпаемая сокровищница данных для истории языка, в частности и для истории словообразования. Кое-что в этой области было сделано мною уже раньше<sup>4</sup>, но сейчас в связи с составлением второго тома грамматики я стал усердно заниматься балтийскими и славянскими географическими названиями. К сожалению, балтийская и славянская топонимика находится лишь в начальной стадии своего развития. Что касается Литвы, то не поставлены надлежащим образом не только методы лингвистического использования уже собранного материала, но и методы собирания — будь то на местах, будь в русских и польских исторических памятниках (прежде всего в русских летописях) или всякого рода древних документах; мы пользуемся нередко данными, представленными в форме неточной, а иногда даже выдуманной любителями прошлого. Вследствие этого я счел полезным составить на основании географических названий Литвы краткую программу исследований в этой области<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> См.: A. Leskien, Die Bildung der Nomina im Litauischen, Leipzig, 1891; P. Skardžius, Lietuvių kalbos žodžių daryba, Vilnius, 1943.

<sup>4</sup> См. J. Otrębski, La formation des noms physiographiques en lithuanien, «Lingua posnaniensis», I, 1949; его же, La formation des noms de lieux en lithuanien, там же, II, 1950.

<sup>5</sup> Она выйдет в свет в сборнике докладов Международной конференции по ономастике, которая состоялась в Кракове в октябре 1959 г.

<sup>1</sup> J. Otrębski, Wschodniolitewskie narzeczce twereckie, Kraków, cz. I—1934, cz. III — 1932.

<sup>2</sup> См. J. Otrębski, Gramatyka języka litewskiego, Warszawa, t. I — 1958, t. III — 1956.

Меня по-прежнему весьма интересуют взаимные отношения между балтийскими и славянскими языками (но отнюдь не в плане теоретическом). Этим объясняются мои продолжающиеся упорные усилия по восстановлению переходных балто-славянских диалектов (в частности, языка ятвягов). Кроме того, я значительно продвинул вперед особую работу о балтийских элементах в белорусском и польском языках.

Скорое выполнение представленных выше работ и замыслов затрудняет то обстоятельство, что я до сих пор исполняю трудные обязанности редактора журнала «Lingua posnaniensis».

Я. С. Отрембский  
(Познань)

Вопросы формирования и возникновения словацкого литературного языка и в связи с этим вопросы формирования словацкой народности и нации являются очень интересными, но вместе с тем довольно запутанными. Занимаюсь сейчас этими вопросами систематически в связи с подготовляемой к печати книгой о проблемах словацкого литературного языка. Это будет полностью переработанное издание моей «Истории словацкого литературного языка» (1-е изд. — 1948 г.), которая в свое время выполнила роль пособия, но сейчас уже устарела с точки зрения методики и обработки материала. Как вытекает из сказанного, в историю словацкого литературного языка включаю и период, во время которого еще не сформировался собственно словацкий литературный язык и когда у нас в употреблении был чешский язык. Чешский язык был литературным языком словацкой народности, и, следовательно, его исследование в Словакии относится к истории литературного языка словацкой народности. Кроме того, чешский язык в Словакии был и катализатором, помогавшим формированию так называемых культурного западнословацкого и культурного среднесловацкого языков, из которых возникли словацкие литературные языки времен А. Бернолака и Л. Штура.

Следующая область интересующей меня проблематики — это историческое развитие словацкого языка. Словацкий язык занимает место на восточной окраине западославянского языкового целого, очень близок чешскому языку, но заметно, что он находится в соседстве с польским и восточнославянскими языками; находим в нем также и древние явления, тождественные с южнославянскими. Все это делает словацкий язык интересным и с точки зрения славистики, так как он находится на периферии всех славянских языковых групп. Развитие словацкого языка интересно и потому, что при этом отсутствовала объединяющая сила литературного языка. Особенно в более древние периоды словацкий язык не развивался сколько-ни-

будь заметно конвергентно, однако здесь уже с конца средневековья намечаются четкие объединяющие тенденции. С мегодической точки зрения для истории словацкого языка характерно отсутствие отчетливого и достоверного языкового материала для более древних периодов.

Уже самый характер материала принуждает исследователя работать структуральным методом. Сравнение структуры отдельных диалектов между собою, отыскание взаимной зависимости языковых изменений, понимание отдельных изменений всегда в связи с общей структурой и использование для этого хорошо интерпретированного исторического материала — это, по моему мнению, единственный путь для того, чтобы наглядно проследить развитие словацкого языка. Во второй подготовляемой мною работе «Развитие словацкого языка» пытаюсь посредством указанного метода описать фонологическое и морфологическое развитие словацкого языка. В связи с этой работой как отдаленную перспективу ставлю перед собой цель дать свое понимание языковой структуры на основании описания структуры современного словацкого языка.

Э. Паулини  
(Братислава)

Мои лингвистические исследования основаны на понятиях лингвистического знака и лингвистической системы, которая состоит из четырех основных подсистем, тесно взаимодействующих между собой и для удобства называемых: фонология (фонемика), морфология, синтаксис и стилистика. Стараясь избегать крайнего догматизма (который находит выражение, например, в сословском различении «langue» и «parole» или в различении синхронной и диахронной лингвистики), в своих синхронных и диахронных изысканиях я строго придерживаюсь структуральной концепции, согласно которой между элементами языка и четырьмя основными уровнями его анализа существуют иерархические отношения. В этом плане мною предложены некоторые заманчивые решения для ряда проблем в области фонемии: установление «фонемного контраста»<sup>1</sup> (существующего, например, между *p* и *r* в слове *prošu*, но отсутствующего в таких сложных звуках, как *tš* в слове *učuť*) как противостоящего «фонемной оппозиции», которая имеет парадигматический характер (ср., например, *t — d*, *r — l*, *s — š* в русском языке); фонемные заимствования<sup>2</sup> и традиционализмы<sup>3</sup>, которые существенно отличаются от действительных

<sup>1</sup> См. «General laws of phonemic combinations», TCLP, VI, 1936.

<sup>2</sup> «O fonologických cizostech v češtině», SaS, ročn. VIII, č. 1, 1942.

<sup>3</sup> «Jazykový vývoj a tradicionalismy», «Časopis pro moderní filologii», ročn. XXVII, č. 4, 1942.

органических структурных элементов изучаемого языка (фонемные заимствования не «включаются» в систему языка так, как действительные структурные элементы); отказ от морфологической аналогии как источника фонемных мутаций (таких, как фонологизация, дефонологизация и трансфонологизация)<sup>4</sup>; нейтрализация фонемных оппозиций и другие проблемы, рассматриваемые как с синхронной, так и диахронной точек зрения.

В области исторической фонологии в послевоенный период я произвел анализ древнего английского языка<sup>5</sup> и затем исследовал возникновение так называемого великого передвижения гласных в английском языке<sup>6</sup>. Некоторые выводы относительно английского языка, к которым я пришел в этих трудах, включены в мой «Анализ современного стандартного английского языка»<sup>7</sup> (ч. I — «Фонология»). Это издание будет расширено, и я надеюсь выпустить его в свет в 1961 г. или 1962 г. В настоящее время я обратился к некоторым проблемам морфологии (например, отношение морфологии к другим уровням лингвистического анализа, нейтрализация морфемных оппозиций, аналогия в лингвистике) с точки зрения структуральной. Эти и некоторые другие проблемы были включены во II часть («Морфология») и III часть («Синтаксис существительных и именных форм глагола») моего «Анализа современного стандартного английского языка». Надеюсь дополнить эти части еще одной, где будет рассматриваться синтаксис личных форм глагола; она будет опубликована в течение ближайших лет. Отмечу, что мой «Синтаксис английского глагола от Кэкстона до Драйдена» (1930) был переведен на японский язык проф. Сузука Сайто (университет Фукуи) и вышел в свет в виде книги несколько лет назад. Рукопись практической системы стенографии, основанной на фонемике и лингвистической статистике (квантитативной лингвистике)<sup>8</sup> и применимой к чешскому и другим языкам, есть результат моих интересов в предвоенное время; рукопись почти готова к печати. Новое издание учебника голландского языка выйдет из печати в 1963 г. (написан совместно с О. Крэйт). Практическое лингвистическое руководство для чехов, отправляющихся в Великобританию, должно выйти из печати в течение этого года (написано совместно с И. Миллер).

Осталось упомянуть о некоторых статьях для различных сборников. В сборнике, посвященном акад. Э. Петровичу (Клуж, Румыния), будет опубликована статья о характере имен собственных в сопоставлении с нарицательными. В статье, предназначенной для сборника в честь проф. А. Граура (Бухарест), будет подвергнуто обсуждению различие между «синтагматическими словами» (такими, как *je, j', tu, t'* и др., во французском языке), не способными образовывать односложные предложения, и другими, «автономными», словами. Третья статья — «Морфологическая омонимия» — будет включена в том, издаваемый в Варшаве в честь проф. В. Дорошевского<sup>9</sup>.

B. Трнка  
(Перевод с английского) (Прага)

<sup>4</sup> «The phonemic development of spirants in English», «English studies», vol. XIX, Amsterdam, 1937; «Obecné otázky strukturálního jazykozpytu», SaS, ročn. IX, č. 2, 1943; «Jazykozpyt a myšlenková struktura doby», там же, ročn. X, č. 2, 1948; «Určování fonému», «Acta Universitatis Carolinae», 7—Philologica et historica, 1954.

<sup>5</sup> «Výbor z literatury středoaňlické a staroaňlické. Úvod literárně historický a gramatický», Praha, 1941.

<sup>6</sup> См.: «A phonemic aspect of the great vowel-shift», «Mélanges de linguistique et philologie. Fernand Mossé in memoriam», Paris, 1959; «From Germanic to English. A chapter from the historical English phonology», «Recueil linguistique de Bratislava», vol. I, 1948.

<sup>7</sup> «Rozbor nynější spisovné angličtiny», Praha, díl I—1953 [mimeogr. изд.]: díl II—1954, díl III—1956.

<sup>8</sup> См. об этом мои статьи: «K výstavbě fonologické statistiky», SAS, ročn. XI, č. 2, 1949; «Kvantitativní linguistika», «Časopis pro moderní filologii», ročn. XXXIV, č. 2, 1951.

<sup>9</sup> Библиографию моих трудов за 1914—1955 гг. см.: J. Nosek, Soupis prací univ. profesora Ph. Dr. Bohumila Trnky, «Časopis pro moderní filologii», ročn. XXXVII, č. 2-3, 1955; см. также: V. Fried, Die tschechoslowakische Anglistik, «Zeitschr. für Anglistik und Amerikanistik», Jg. 7, Hf. 2, 1959. О современной пражской лингвистической школе см. мои работы: «Prague structural linguistics», «Philologica Pragensis», I (X), № 2, 1958 [переработка статьи, опубликованной в ВЯ (1957, № 3)]; «The Prague school of structural linguistics», «Mitteilungsblatt des allgemeinen deutschen Neuphilologenverbandes», 12, № 5, 1959. Мою биографию см. в кн. «World biography», vol. 2, New York, 1948, стр. 4744.

### ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 23 по 25 января 1960 г. при Черновицком государственном университете (ЧГУ) состоялась межвузовская научная конференция по вопросам составления диалект-

ных словарей, в работе которой приняли участие сотрудники Института языкознания им. А. А. Потебни АН УССР, Института общественных наук АН УССР (Львов),

Ленинградского, Харьковского, Львовского, Черновицкого университетов, Одесского, Черкасского пединститутов и др.

16 докладов, зачитанных на конференции, группируются вокруг двух основных проблем: 1) теория и практика составления диалектных словарей (прежде всего вопросы записи материала, реестра слов и объема словарной статьи); 2) анализ объекта диалектологической лексикографии — словарного состава народных говоров.

После вступительного слова проректора по научной работе ЧГУ доц. П. И. Лопушанского с докладом «Принципы составления диалектных словарей» выступил доц. И. Г. Чередищенко (Черновцы). Основной задачей диалектных словарей является, по мысли докладчика, концентрация материала для: а) выявления общего и специфического в лексике различных говоров, б) изучения исторического развития лексического состава языка, построения исторической семасиологии, а также этимологии украинского языка, в) создания исторического словаря, г) установления корневого состава и средств словообразования языка, д) составления больших толковых словарей литературного и живого языка, е) изучения взаимосвязей различных языков в области лексики. В соответствии с этой задачей словарь должен содержать полный состав лексики говоров всей охваченной им территории. Слова следует тщательно документировать и обильно иллюстрировать. Положения доклада были подкреплены примерами из буковинских говоров.

Доклад канд. филол. наук Д. Г. Бандриевского (Львов) «К вопросу о словнике областных словарей украинского языка», построенный преимущественно на богатом материале бойковских говоров украинского языка, освещал более узкий вопрос о словнике диалектного словаря. Докладчик высказался за составление дифференциальных диалектных словарей, фиксирующих лишь те слова, которые не отмечены ни в одном из нормативных словарей украинского языка<sup>1</sup>.

Канд. филол. наук П. И. Приступа (Львов) в докладе «Вопросы организации работы по составлению диалектных словарей» рассказал об организационной методике, обеспечивающей решение задачи на должном научном и методологическом уровне.

Выступая в прениях, доц. С. М. Криворучко (Львов) поддержал идею использования в диалектных словарях иллюстраций из произведений писателей, связанных своей биографией и творчеством с определенными территориями Украины. Н. Ф. Наконечный (Харьков), указав на важность изучения при помощи региональных словарей междиалектных связей, в том числе — связей несмежных диалектов (например, буковинских и полтав-

ских говоров), подчеркнул возможности широкого обогащения литературного языка диалектными словами и в наше время. Многие диалектные слова, по мнению Н. Ф. Наконечного, можно назвать «потенциально-литературными», так как они вполне могут быть использованы в литературном языке. Доц. А. А. Москаленко (Одесса) в своем выступлении говорил о создавшейся в литературе терминологической путанице (ср. сочетания *общенародный язык*, *общенациональный язык*, *общеевропейский язык*, *общеевропейский национальный язык* и др.).

На второй день конференции с докладом «К вопросу о лексической синонимике говоров Львовской области» выступил доц. С. М. Криворучко. Анализируя преимущественно аффективную синонимичку, докладчик привел ряд глагольных и отглагольных лексем, которые, по его мнению, могли бы обогатить синонимические средства литературного языка. В своем докладе «Неологизмы первого года семилетки» доц. А. А. Москаленко проанализировал значение и структуру 332 найденных им в русской и украинской прессе литературных неологизмов. В тот же день с докладами, построенными на диалектном материале Буковины, выступили преподаватели Черновицкого университета, кандидаты филол. наук: В. С. Лимаренко — «Междиалектные лексические различия на территории Черновицкой области», М. В. Леонова — «Способы подачи наречий в словаре буковинских говоров», М. Ф. Станиский — «Использование древних буковинских памятников в диалектном словаре буковинских говоров».

При обсуждении докладов научн. сотр. Института языкознания АН УССР В. М. Брахов (Киев) информировал о работе своего института в области диалектных словарей и, высказавшись за составление полных словарей говоров, отметил при этом, что унификация структуры словарных статей в разных областных словарях облегчит создание в будущем общеукраинского диалектного словаря. И. Д. Василашко (Черновцы) в своем выступлении проиллюстрировал рядом примеров словарное и фразеологическое богатство буковинских народных говоров, а также критиковал Словарный отдел Института языкознания АН УССР за медленные темпы работы над «Украинско-русским словарем».

Вечернее заседание 24 января открыл доц. А. А. Москаленко своим вторым докладом «Специфическая лексика украинских говоров Одесской области». Докладчик выделил на материале одесских говоров две группы специфической лексики: а) неизвестные литературному украинскому языку слова, имеющиеся во многих говорах (например, *гун'а*, *дрэжка*), б) локализмы — слова, употребительные лишь на территории одного говора (например, *випанец'*, *гбхл'а* в одесских говорах).

Канд. филол. наук Ю. А. Карпенко (Черновцы) сделал доклад «Место и функ-

<sup>1</sup> Это мнение не было поддержано участниками конференции, отдавшими предпочтение полным диалектным словарям.

ции топонимического материала в диалектном словаре буковинских говоров», предложив топонимы, поскольку они обильно отражают диалектную лексику, включать в качестве иллюстративного материала в соответствующие статьи диалектных словарей.

Канд. филол. наук Л. М. Посева (Черновцы) представила доклад «Об изучении специфической лексики говора (по материалам курских говоров)». Выделив основные пути возникновения специфической диалектной лексики (неравномерное отмирание старых слов, расхождение значений, специфические стяжения разных сочетаний и т. д.), Л. М. Посева сделала вывод, что, пока существуют эти пути, говорить о возможности полного вытеснения диалектов литературным языком едва ли представляется возможным.

С докладом «Литературная и диалектная лексика (из опыта работы)» выступил учитель из Закарпатья Н. А. Грицак. В лингвистических кругах УССР Н. А. Грицак часто называют «украинским Далем»: на материале различных говоров Закарпатья он составил большой словарь, включающий почти 150 тыс. слов, и сейчас готовит его к печати.

В последний день своей работы конференция заслушала четыре доклада. К. М. Лукьянюк (Черновцы) прочел доклад «Словообразование уменьшительно-ласкательных личных имен в буковинских говорах». Имена эти, интересные прежде всего своим словообразованием, целесообразно собрать, по мнению докладчика, в серии региональных ономастических словарей.

Ст. преп. Ф. А. Непейвода (Черкаassy) в докладе «Лексика земледелия Черкасской области» рассказала об изменениях в лексике местного диалекта, вызванных коллективизацией, техническим оснащением сельскохозяйственного производства, внедрением передовых агротехнических методов.

Ст. преп. В. И. Столбунова (Черновцы) выступила с докладом «Украинские лексические элементы в наречиях и служебных словах русских говоров Буковины».

Ю. А. Карпенко в докладе «Инструкция по составлению словарных статей диалектного словаря буковинских говоров» изложил основные положения инструкции, принятой кафедрой украинского языка Черновицкого университета. Инструкция, представляя собой «программу-максимум», ориентирует составителя на исчерпывающее описание значений слова и их оттенков, фонетических вариантов слова, фразеологии, точного ареала распространения слова. Инструкция учитывает отражение в словарных статьях материала из произведений писателей и старых местных памятников.

Выступая в прениях, А. А. Бурячок (Киев), сделал некоторые критические замечания по инструкции, высказался также против построения громоздких словарных статей. Доц. Г. Я. Симина (Ленинград)

поделилась опытом диалектологической работы в Ленинградском университете. В прениях выступили также Н. Ф. Наконечный, П. И. Приступа, В. М. Брахнов, А. А. Москаленко, И. Г. Чередниченко, М. В. Леонова, Д. Г. Бандрицкий. Все выступавшие положительно оценили работу конференции.

В принятой резолюции конференция, выделив основные на современном этапе задачи в области составления диалектных словарей украинских говоров, наметила дальнейшие пути к их разрешению.

Ю. А. Карпенко  
(Черновцы)

С 15 по 18 марта 1960 г. в Свердловском государственном медицинском институте проходила очередная, 23-я годовичная научная сессия. Помимо сотрудников кафедры иностранных языков, на заседании языковедческой секции присутствовали: преподаватели иностранных языков горного института, педагогического института, УЭМИИЖТ, суворовского военного училища, спецколы и работники других учебных заведений города.

На заседании, кроме трех методических докладов, были заслушаны следующие: 1) «Фразеологический состав современной научной медицинской литературы». Докладчик — препод. Л. Г. Маршинина предложила классификацию фразеологических единиц в зависимости от их семантики и синтаксических функций в предложении; 2) «Некоторые особенности стиля новеллы Голсуорси „Santa Lucia“» — ст. препод. Г. В. Фаворин; 3) «От заимствованного слова *Sputnik* к неологизму *Lunik* в немецком языке» — ст. препод. П. П. Квасов. Докладчик, говоря о процессе обогащения словарного состава немецкого языка, указал, что морфологический состав неологизма *Lunik*, рассматриваемый в историческом аспекте, имеет латино-немецко-русское происхождение. Далее докладчик охарактеризовал слова *monden*, *Mondung*, появившиеся в немецком языке в непосредственной связи с возникновением новых слов *прилуниться*, *прилунение* в русском языке.

Г. В. Фаворин  
(Свердловск)

24 марта 1960 г. состоялось расширенное совместное заседание ученых советов Института русского языка и Института языкознания АН СССР, посвященное памяти члена-корр. АН СССР И. А. Бодуэна де Куртене (1845—1929).

Во вступительном слове акад. В. В. Виноградов указал, что историческая роль И. А. Бодуэна де Куртене не ограничивается рамками национальных культур и должна быть рассмотрена на фоне развития мировой науки. Бодуэн по-новому разрешал задачу выработки научной методики в языкознании, поставив во главу угла исследование живого языка. Борь-

ба против «археологического» направления в лингвистике, а также стремление отвоевать для теоретического языкознания собственный объект и метод исследования, независимые от объекта и метода истории и филологии, характерны для Бодуэна и его школы. Но при этом, сказал В. В. Виноградов, Бодуэн придавал большое значение и работам конкретно-описательного характера — грамматикам, словарям, изданиям памятников, указывая, что «без них даже самым гениальным теоретическим выводам будет недоставать фактического основания».

По справедливому замечанию Л. В. Щербы, научную деятельность Бодуэна нельзя охватить единой формулой. Примыкая в ряде вопросов к младограмматикам, он явился в других отношениях предшественником структурализма. Это касается, в частности, вопроса о языковой системе. Бодуэн тесно связывал изучение языка с изучением общества; «психологизм» не является определяющей чертой его лингвистического мировоззрения. Прогрессивность позиции Бодуэна и широта его научных интересов сказались в его подходе к национальному вопросу. Здесь для него характерна социальная точка зрения. Вообще в его работах язык рассматривается, как правило, в широком историко-культурном контексте, в связи с психологией, социологией, фольклором и др.

Поразительная широта научно-исследовательских интересов И. А. Бодуэна де Куртене, смелость, свобода и оригинальность его научной мысли, перспективность и актуальность многих его научных обобщений. Наряду с этим следует отметить его скромность и научную щедрость. В. В. Виноградов указал на необходимость выделить в научном наследстве Бодуэна прогрессивное и перспективное, живое и актуальное, исторически осмыслить пережитки прошлого и глубокие противоречия в его научной и общественной деятельности. Это позволит дать справедливую оценку исторической роли Бодуэна де Куртене в развитии русской и мировой науки.

В докладе М. В. Павлова «Методика фонологических исследований у И. А. Бодуэна де Куртене» рассматривается процесс формирования фонологической концепции Бодуэна. Если в основу фонологической теории Н. С. Трубецкого, как сам он указывает, положено противопоставление языка и речи, а разграничение синхронического и диахронического плана было производным, то у Бодуэна де Куртене исходным и главным является именно различие статики и динамики, причем на первом плане стоит языковая статика. Бодуэн стремился построить изучение фонетики конкретных языков на строгом разграничении синхронических и диахронических соответствий. Но в некоторых работах 70-х годов (особенно при рассмотрении соответствий морфем) он все же апеллирует к историко-генетическим данным. Эта непоследовательная, ошибочная точка зрения стала, однако, определяющей для фонологических взглядов Н. В. Крушев-

ского, принципиально не различавшего статику и динамику в языковом исследовании.

В ранних фонологических работах Бодуэна, отметил М. В. Павлов, грамматические чередования были противопоставлены всем неграмматическим: и живым позиционным, и традиционным. Начиная со статьи «Некоторые отделы сравнительной грамматики славянских языков» (1881), Бодуэн противопоставляет дивергенцию, т. е. позиционное чередование, корреляции, включающей два других типа чередований. Такое изменение в классификации говорит о рождении фонологии: коррелятивы — это инварианты, дивергентные — варианты в фонематической системе языка.

Существующая в научной литературе оценка фонологических взглядов Бодуэна де Куртене не соответствует действительности и неизбежно должна измениться. Бодуэн — это не только славное прошлое нашей фонологии: многие важнейшие положения его фонематической теории обращены в будущее.

В докладе А. А. Леонтьева «Роль И. А. Бодуэна де Куртене в развитии теории письма» констатируется вклад Бодуэна в развитие теории письменности и теории письменного языка. Он впервые разработал учение о минимальной системной единице письменной речи — графеме, о графических альтернативах, предложил оригинальную классификацию знаков преципации по их языковой функции. Представляет живой интерес различение Бодуэном алфавита, графики и орфографии и его интерпретация орфографических принципов. В работах Бодуэна де Куртене сформулировано учение об автономности письменной формы языка, в настоящее время получившее широкое распространение в лингвистике. В докладе рассматриваются также другие стороны научной концепции Бодуэна, прямо или косвенно связанные с теорией письма; в частности, отмечается специфика «грамматики письменного языка» в отличие от грамматики устного языка.

Доклад В. В. Лопатина «И. А. Бодуэн де Куртене как этимолог» затрагивает проблематику, не получившую достаточного освещения в русском (и советском) языкознании, а именно — вопрос о разграничении статического и динамического в историко-этимологическом исследовании. Как известно, Бодуэн занимал в этом вопросе оригинальную позицию. В докладе подробно анализируется также предложенная Бодуэном классификация явлений «народной этимологии» и указывается место учения о «народной этимологии» в системе общеграмматических взглядов Бодуэна. Докладчик излагает ряд незаслуженно забытых этимологий Бодуэна де Куртене («хвала», «юг» и др.) и замечает, что для его этимологических штудий характерно повышенное внимание к историко-культурному и социальному контексту. Так, задолго до В. Пизани, А. Исаченко и др. он сделал попытку объяснить происхождение некоторых терминов родства («брат»,

«сестра»), исходя из специфики социальных отношений первобытного общества. Как специальные этимологические труды Бодуэна, так и отдельные замечания этимологического характера, разбросанные по разным работам (в частности, по различным словарям, где он сотрудничал), заслуживают самого пристального внимания современных этимологов, работающих в области славянских языков, особенно русского и польского.

В докладе С. К. Пожарицкой «Методика диалектологических исследований И. А. Бодуэна де Куртене» освещены вопросы методического и общезыковедческого характера. Современная методика собирания диалектного материала, усовершенствованная русскими и польскими диалектологами, восходит к методике Бодуэна. С другой стороны, у него впервые встречается описательно-типологическое сравнение родственных и неродственных языков, основанное на системном подходе к языковым явлениям. Например, изоглоссы славянского языкового мира рассматриваются Бодуэном с двух точек зрения: в плане синхронно-типологическом и в плане генетическом. Кроме того, Бодуэн предлагал отражать при картографировании разницу между изоглоссами диалек-

тов и изоглоссами национальных литературных языков, а также построить изоглоссы, характеризующие взаимодействие славянских языков с соседними неславянскими. Все эти вопросы, связанные с проблематикой общеславянского диалектологического атласа, до сих пор сохранили свое значение.

В заключение с краткими сообщениями об архивных материалах И. А. Бодуэна де Куртене выступили Н. И. Толстой и А. А. Леонтьев. В настоящее время в Архиве АН СССР (Ленинград) хранятся многочисленные рукописи Бодуэна, представляющие научный интерес. В их числе словенские диалектологические материалы, тексты, инструкция по составлению русско-польского словаря, а также ряд статей. Местонахождение многих рукописных материалов Бодуэна до сих пор не выяснено; например, следует продолжать поиски картотеки пятого (дополнительного) тома словаря Даля, составленной Бодуэном вместе с Р. А. Теттенборном.

Выступавшие подчеркнули необходимость дальнейшей систематической работы по выявлению и публикации рукописного наследия как И. А. Бодуэна де Куртене, так и других русских языковедов.

А. А. Леонтьев

### Зарубежные съезды и конференции

С 31 марта по 4 апреля 1959 г. в Лиссабоне происходил IX Международный конгресс по романской лингвистике.

С 1 по 3 апреля 1959 г. в Мюнстере состоялось первое совещание руководителей фонотек европейских стран, в котором приняли участие многие видные лингвисты — П. Андерсен (Дания), Р. Коларич (Югославия), Э. Цвирнер (ФРГ) и др. На совещании обсуждались вопросы магнитофонной записи текстов на европейских языках и их критическая оценка. Было решено проводить ежегодные совещания. Очередное заседание было назначено на май 1960 г. (в Вене).

С 22 по 23 мая 1959 г. в Кракове проходил XIX съезд Польского научного лингвистического общества, предшествовавший генеральному собранию этого общества. Кроме двух докладов славистического характера (Е. Курилович, Аналогии в развитии спряжения в славянском, готском и староирландском языках; З. Штибер, Эволюция праславянского *sh* в славянских языках), большой интерес представляли прочитанные на съезде доклады, посвященные проблемам связи диалектов и литературного языка (П. Зволинский, Поморские провинциализмы в польском языке XVI—XVII вв.; М. Кудала, О словаре людей, перестающих пользоваться родным диалектом; Й. Конечна, Простые

предложения в польских говорах в сравнении с простым предложением в литературном языке), истории польской научной терминологии (И. Вежховский, Исследования по польской философской терминологии периода раннего Просвещения) и др. Доклады публикуются в специальном выпуске «Бюллетеня Польского лингвистического общества».

С 29 июня по 1 июля 1959 г. в Тервуреше (около Брюсселя) состоялось заседание Межафриканского лингвистического комитета. На заседании присутствовали представители из Бельгии, Федерации Родезии и Ньясаленда, Франции, Великобритании. Совещание обратилось к правительствам стран, входящих в комитет, с просьбой переиздать в течение 1960—1961 гг. ряд редких грамматик и словарей африканских языков. Комитет рекомендовал созвать в 1961 г. конференцию лингвистов — специалистов по африканским языкам, особенно тех, которые работают в африканских университетах. Цель конференции — разработать программу изучения природы и развития разного рода *linguae francae*, используемых в Африке к югу от Сахары, а также разработать пути изучения изменений, которым подвергаются европейские языки в африканских общинах. Комитет также намеревается выпускать ежегодный отчет о результатах полевой работы по изучению африканских языков.

С 6 по 10 июля 1959 г. в Дублине под председательством М. Диллона состоялся Международный конгресс по изучению кельтских языков. Работа конгресса проходила в двух секциях. На ряде пленарных заседаний первой секции была обсуждена тема «Влияние скандинавских завоеваний на языки, литературу и фольклор, ономастику и культуру кельтских народов». На второй секции были зачитаны доклады, посвященные непосредственно кельтским языкам, литературам и культурам.

С 26 июля по 1 августа 1959 г. в Бад-Годесберге проходил III конгресс Международной федерации переводчиков. Работа конгресса широко освещалась на страницах журнала «Babel» (vol. 5, № 2, 3, Bonn, 1959).

В Берлине с 28 сентября по 3 октября 1959 г. проходил Международный лингвистический коллоквиум по теме «Знаковость и система в языке». Участникам коллоквиума предварительно рассылались 9 вопросов, по которым и велась дискуссия, целью которой было достичь определенной степени ясности не только в теоретических вопросах, но и в определениях. Секретарем комитета Международного коллоквиума был директор Института языкознания при университете им. Карла Маркса в Лейпциге д-р Г. Ф. Майер.

В Калифорнийском университете (Лос-Анжелос) с 20 по 5 февраля 1960 г. состоялся Национальный симпозиум по машинному переводу. Цель симпозиума — дать оценку современному состоянию разработки проблем машинного перевода, а

также применяемых в нем методов. Были заслушаны доклады, посвященные методологии, грамматике, синтаксису, построению словаря, семантическим проблемам, программированию для машинного перевода, конструкции информационных машин и т. д.

В соответствии с решением V Международного конгресса антропологических и этнологических наук (Филадельфия, 1956 г.) VI сессия конгресса должна состояться в Париже с 31 июля по 7 августа 1960 г.

С 21 по 25 августа в Лувене и с 26 по 27 августа 1960 г. в Брюсселе под председательством ректоров университетов (в Лувене — Ван-Вайенберга, в Брюсселе — А. Жанна) состоится I конгресс по общей диалектологии. На конгрессе, который будет работать по нескольким секциям, предполагается рассмотреть широкий круг проблем по различным аспектам языкового исследования (общее и индоевропейское языкознание, особенности развития языков мира, литература и диалекты, ономастика, стилистическая лингвистика, детский язык, фольклор и диалектология).

С 28 августа по 4 сентября 1960 г. в Льеже состоится VIII конгресс Международной федерации современных языков и литератур (последний конгресс федерации состоялся в Гейдельберге в 1957 г.).

В начале сентября 1960 г. в Гамбурге состоится Международный симпозиум по общей и прикладной фонетике, организуемый Лабораторией фонетики Гамбургского университета и многочисленными научными и общественными организациями ФРГ и зарубежных стран.

## НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Болгарская Академия наук предприняла издание периодической серии «Балканско езиковзнание» («Linguistique balkanique»), которое, судя по первому тому (София, 1959), займет почетное место среди других пока еще немногочисленных балкановедческих изданий. «Балканско езиковзнание» носит международный характер, подобно выходившему с 1934 по 1938 г. «Revue internationale des études balkaniques» и новой серии сараевского Балканологического института «Godišnjak [Balkanološki institut]» (kn. I — Sarajevo, 1957). В нем участвует ряд крупных ученых. В отличие от сараевского издания, первый том софийской серии, за исключением одной статьи, целиком посвящен проблемам балканского индоевропейского

субстрата, в частности догреческого (пелазгского).

Сборник открывается большой статьей Вл. Георгиева «Die Herkunft der Namen der grössten Flüsse der Balkanhalbinsel und ihre Bedeutung zur Ethnogenese der Balkanvölker», в которой он приходит к выводу, что Балканский полуостров был населен в глубокой древности индоевропейскими племенами, так как почти все названия крупных балканских рек индоевропейского происхождения: греческого, пелазгского или иллирийского. Статья имеет приложение «Die altgriechischen Flussnamen II», содержащее дополнения и поправки к работе того же автора «Die altgriechischen Flussnamen» (Sofia, 1958). Во второй статье Вл. Георгиева

«Contribution à l'étude de l'étymologie grecque» 54 греческих слова квалифицируются как пелазгские заимствования. Значительный интерес представляет хорошо аргументированная, обобщающего характера статья О. Хааса «Die Lehre von den indogermanischen Substraten in Griechenland». В статье содержится подробное и систематическое изложение фонетики догреческого индоевропейского языка, снабженное таблицами с привлечением богатого этимологического материала. В конце помещен алфавитный список догреческих слов (141) с кратким указанием сравнительного материала и соответствующей литературы. Восемь новых пелазгских этимологий предлагается в статье А. И. Ван-Виндекенса «Sur quelques mots d'origine balkanique». В. Бешевлиев в статье «Nachträge zu den thrakischen Sprachresten» добавляет 48 имен собственных фракийского происхождения к содержащимся в книге Д. Дечева «Die thrakischen Sprachreste» (Wien, 1957). В заключающей первый том статье Р. Бернара «Quelques mots d'emprunt dans les dialectes de Razlog d'après le tome XLIII du „Сборник за народни умотворения“» подвергнуты исследованию 14 слов разложского диалекта, из которых 10 признаны заимствованиями из греческого, 2 — из румынского и 2 — из цыганского. Сборник снабжен резюме на болгарском языке, подробным указателем слов, встречающихся в статьях, а также отдельным указателем названий рек Балканского полуострова.

Л. А. Гиндин  
(Москва)

Интерес к проблемам математической лингвистики и машинного перевода стал повсеместным, следствием чего явилось развертывание активной исследовательской деятельности в целом ряде стран: за Соединенными Штатами, Англией и Советским Союзом последовали Китай, Румыния, Чехословакия, Япония, Италия, Франция. Появление рецензируемого сборника показывает, что к этому перечню необходимо теперь добавить Югославию. Сборник «Strojno prevodjenje i statistika u jeziku» («Машинный перевод и лингвистическая статистика») [Zagreb, 1959, 307 стр. («Naše teme», № 6)] открывается вступительной статьей Б. Ласло и С. Петровича, в которой, наряду с изложением важнейших понятий кибернетики и теории информации, содержится сжатая, но выразительная характеристика языка как объекта статистических исследований. Интересная работа Б. Ласло

«Число в языке» посвящена изучению избыточности языка и информационной нагрузки его различных элементов (на хорватском материале); в ней выясняются также возможные пути сокращения и полного устранения избыточности языка. В статье С. Петровича «Может ли машина переводить поэзию» рассматриваются различные методы формального анализа поэзии; автор приходит к выводу, что в настоящее время проблема машинного перевода поэтических текстов еще не может быть решена, но тем не менее в принципе такой перевод осуществим при использовании языка-посредника (впрочем, вопрос о том, какова будет ценность подобного перевода, автор оставляет открытым).

Статьи Ж. Буяша «МП в США и Англии с 1946 по 1954», М. Мулича «МП в СССР» и Б. Погорелец «Работа по МП в Чехословакии» представляют собой документированные обзоры, свидетельствующие о том, что югославские коллеги внимательно следят за всеми доступными им источниками. К. Пранич в статье «Современное состояние машинного перевода» излагает основные концепции автоматического перевода, опираясь преимущественно на советские и французские работы. Л. Спалатин в своей работе «Словарь синонимов как язык-посредник» подверг убедительной критике предложение Кембриджской лингвистической группы об использовании тезауруса в качестве орудия машинного перевода.

Большую часть статьи Б. Финка «Машинный перевод в Югославии» занимает изложение содержательной работы В. Матковича об энтропии хорватского языка; аналитическое сопоставление полученных Матковичем результатов с данными Шэннона по английскому языку и Добрушина — Яглома по русскому представило бы несомненный интерес. Заслуживает внимания собранная С. Бабичем библиография работ по математической лингвистике и машинному переводу; она доведена до начала 1959 г. и содержит около 300 названий. В заключение дается небольшой хорватско-английско-русский словарь математико-лингвистических и машинно-переводческих терминов, существенно облегчающий чтение статей Ласло и Финка.

Приветствуя появление рецензируемого сборника, пожелаем коллективу авторов выступить в следующих публикациях не только с теоретическими, но и с экспериментальными исследованиями.

Н. Д. Андреев  
(Ленинград)

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранных языков (Сборник научно-методических работ кафедр иностранных языков железнодорожных вузов).— М., 1960. 157 стр.

Грамматика азербайджанского языка. Ч. II (Синтаксис).— Баку, 1959. 404 стр. [на азерб. яз.].

Ежегодник общества родного языка. V.— Tallinn, 1959. 328 стр. [на эстон. и русск. яз.].

Информационный бюллетень ЮНЕСКО.— 1960, № 68—70.

Орфографический словарь азербайджанского языка.— Баку, 1960. 620 стр. [на азерб. яз.].

Дослідження і матеріали з української мови. Т. II.— Київ, 1960. 144 стр.

О. С. А х м а н о в а. Проспект работы «Основные вопросы общего языкознания». М., 1959. 101 стр. [ротапринт].

Г. Г. П о ч е п ц о в. К вопросу о категории состояния в английском языке (Тезисы докладов на XVII научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения В. И. Ленина в Харьковском авиационном институте).— Харьков, 1960. Стр. 100—101. [отд. отт.].

Н. А. М о с к а л е н к о. Нарис історії української граматичної термінології.— Київ, 1959. 224 стр.

В. М. П р и л і п к о. Деякі закономірності субституції близькоспоріднених мов в умовах шкільної двомовності (На матеріалі української і російської мов). (Наукові записки Житомирського державного педагогічного інституту ім. Ів. Франка. Серія лінгвістична. Т. XI).— 1959. Стр. 31—51. [отд. отт.].

Н. И. Д у к е л ь с к и й. Метод пересадки звуков речи в фонетике (отрывок) (Recherches sur les diphtongues roumaines. Publiées par A. Rosetti.— Bucarest — Copenhagen, 1959. Стр. 117—122) [отд. отт.].

И. П е р е н и, Э. Б а л е ц к и й. Украинская грамота Софии Батори 1674 г. (Studia slavica. T. V. Fasc. 1—2.— Budapest, 1959. Стр. 75—102). [отд. отт.].

Jezyk polski. XXXIX, 1959. № 5. — Naše teme. Strojno prevodenje i statistika u jeziku.— Zagreb, 1959. № 6 (Godina III). 307 стр.

Mechanical translation. Devoted to the translation of languages with the aid of machines. Vol. 5, № 3.— Cambridge (Mass), 1958 (December). Стр. 93—135.

Rosprawy komisji jezykowej. II.— Wroclaw, 1959. 220 стр.

Slavia orientalis. Roczn. VIII, № 4.— Warszawa, 1959. 192 стр.

Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität, Leipzig. Jg. 9 (1959—1960), Hf. 2. Стр. 171—324 [Als Manuskript gedruckt].

Zpravodaj. Místopisné komise ČSAV. Ročník I. Číslo 2, Březen, 1960.— Praha. 123 стр.

P. A u t y. Handbook of Old Church Slavonic. Part II. Texts and glossary.— London, 1960. (X + 148) стр.

N. I. D u k e l s k i. Cercetare fonetică experimentală asupra palatalizării și a labializării consoanelor românești (Fonetică și dialectologie. Vol. II.— București, 1960, стр. 7—45). [отд. отт.].

N. I. D u k e l s k i. Metoda substituirii sunetelor în fonetică (Fragment). (Fonetică și dialectologie. Vol. II.— București, 1960, стр. 47—52). [отд. отт.].

P. F e r e n c. Új irányzatok a szovjet nyelvtudományban (Különnyomat a nyelv-tudomány közlemények. 2. Számából.— Budapest, 1959. 19 стр.).

A. d e F r a n c i s c i s, O. P a r l a n g è l i. Gli italici del Bruzio nei documenti epigrafici.— Napoli, 1960. 62 стр.+ 17 при-  
унков.

R. V. L e e s. The grammar of English nominalisations [Part II of the International journal of American linguistics. Vol. 26, № 3 (1960).— Bloomington (Indiana) (XXVI + 205) стр.].

P. C. P a a r d e k o o p e r. A. B. N.-Spraaakunst. Voorstudies-Deerde deel.— Den Bosch, 1960 (VIII + 342) стр.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

В. А. Аврорин (Ленинград). Ленинская национальная политика и развитие литературных языков народов СССР . . . . .	3
Т. Лер-Сплавинский (Краков). К современному состоянию проблемы происхождения славян . . . . .	20
<i>ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ</i>	
Б. В. Горнунг (Москва). Место лингвистики в системе наук и использование в ней методов других наук . . . . .	31
Э. Б. Агаян (Ереван). О генезисе армянского консонантизма . . . . .	37
М. А. Черкасский (Алма-Ата). К вопросу о генезисе сингармонических вариантов и параллелизмов в тюркских языках . . . . .	53
Б. А. Серебrennikov (Москва). О некоторых спорных вопросах сравнительно-исторической фонетики тюркских языков . . . . .	62
<i>МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ</i>	
И. А. Мельчук (Москва). О терминах «устойчивость» и «идиоматичность»	73
В. А. Трофимов (Ленинград). О некоторых словосочетаниях наречного типа в современном русском языке . . . . .	81
Ф. З. Ким (Москва). Принципы построения корейских графем . . . . .	85
Э. Р. Тенишев (Москва). Из наблюдений над саларским языком . . . . .	97
Ч. Х. Бакаев (Москва). К вопросу о субъектном и объектном спряжении переходного глагола в курдском языке . . . . .	103
<i>ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ</i>	
Г. Г. Белоногов, В. И. Григорьев, Р. Г. Котов (Москва). Автоматическое лексическое кодирование сообщений . . . . .	107
<i>ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ</i>	
«Словарь лингвистических терминов» Е. Д. Поливанова . . . . .	112
Арн. Чикобава (Тбилиси). Первый толковый словарь грузинского языка С.-С. Орбелиани (1716 г.) . . . . .	126
<i>КОНСУЛЬТАЦИИ</i>	
Р. М. Фрумкина (Москва). Применение статистических методов в языкознании . . . . .	129
<i>КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ</i>	
<i>ОБЗОРЫ</i>	
Л. П. Жуковская, С. И. Котков (Москва). О публикации памятников русского языка и письменности . . . . .	134
<i>РЕЦЕНЗИИ</i>	
В. И. Абаев (Москва). <i>E. Benveniste. Études sur la langue ossète</i> . . . . .	141
Л. Коваль (Прага). Новое издание Клоцева сборника . . . . .	145
Э. Н. Левит (Минск). <i>F. Dimitrescu. Locuțiunile verbale în limba română</i> . . . . .	147
Н. А. Баскаков (Москва). <i>С. Н. Иванов. Очерки по синтаксису узбекского языка</i> . . . . .	149
<i>НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ</i>	
Сессия Отделения литературы и языка АН СССР, посвященная 90-летию со дня рождения В. И. Ленина . . . . .	151
О развитии структурных и математических методов исследования языка . . . . .	153
Над чем работают ученые . . . . .	155
Хроникальные заметки . . . . .	159
Новые издания . . . . .	164
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию . . . . .	166

## SOMMAIRE

**Articles:** V. A. Avrori $\acute{e}$  (L $\acute{e}$ ningrad). La politique nationale leniniste et le d $\acute{e}$ veloppement des langues litt $\acute{e}$ raires des peuples d'URSS; T. Lehr-Splawinski (Cracovie). Le probl $\acute{e}$ me d'origine des slaves et l' $\acute{e}$ tat de son investigation contemporaine; **Discussions:** B. V. Gornung (Moscou). Sur la place de la linguistique dans le syst $\acute{e}$ me des sciences et l'application des m $\acute{e}$ thodes d'autres sciences en linguistique, E. B. Agajan (Jerevan). Sur la g $\acute{e}$ n $\acute{e}$ se du consonantisme arm $\acute{e}$ nien; M. A. Čerkasskij (Alma-Ata). Sur la g $\acute{e}$ n $\acute{e}$ se de variantes synharmoniques et des parall $\acute{e}$ lismes dans les langues turques; B. A. Serebrennikov (Moscou). Sur quelques probl $\acute{e}$ mes litigieuses de la phon $\acute{e}$ tique historique et comparative des langues turques; **Mat $\acute{e}$ riaux et notices:** I. A. Melčuk (Moscou). Sur les termes «fix $\acute{e}$ » et «idiomatique»; V. A. Trofimov (L $\acute{e}$ ningrad). Les groupes de mots du type adverbial en russe moderne; F. Z. Kim (Moscou). Principes de construction des graph $\acute{e}$ mes cor $\acute{e}$ ens; E. R. Tenišev (Moscou). Quelques remarques sur la langue salare; Č. H. Bakajev (Moscou). La conjugaison subjective et objective des verbes transitifs dans la langue kourde; **Linguistique appliqu $\acute{e}$ e et math $\acute{e}$ matique:** G. G. Belonogov, V. I. Grigoriev, R. G. Kotov (Moscou). L'automatisation de la codification lexicale des communications; **De l'histoire de la linguistique:** «Le dictionnaire des termes linguistiques» de E. D. Polivanov; Arn. Čikobava (Tbilisi). Le premier dictionnaire raisonn $\acute{e}$  de la langue g $\acute{e}$ orgienne de S. S. Orbeliani (1716); **Consultations:** R. M. Frumkina (Moscou). L'application des m $\acute{e}$ thodes statistiques en linguistique; **Critique et bibliographie;** **Vie scientifique:** Session du d $\acute{e}$ partement de la langue et de litt $\acute{e}$ rature de l'Acad $\acute{e}$ mie des Sciences de l'URSS consacr $\acute{e}$ e au 90-me anniversaire de la naissance de V. I. L $\acute{e}$ nine; Sur le d $\acute{e}$ veloppement des m $\acute{e}$ thodes structurales et math $\acute{e}$ matiques en linguistique; Plans de travail des savants; Chronique; Nouvelles  $\acute{e}$ ditions.

---

## CONTENTS

**Articles:** V. A. Avrorin (Leningrad). The Lenin national politics and the development of literary languages of the peoples of the USSR; T. Lehr-Splawinski (Krakow). The problem of the origin of the Slavs and its modern development; **Discussions:** B. V. Gornung (Moscow). On the place of linguistics in the system of sciences and the application in linguistics of methods used in other sciences; E. B. Agajan (Yerevan). On the genesis of Armenian consonantism; M. A. Čerkasskij (Alma-Ata). On the genesis of synharmonic variants and parallelisms in the Turk languages; B. A. Serebrennikov (Moscow). On some moot problems of comparative and historical phonetics of the Turk languages; **Materials and notes:** I. A. Melčuk (Moscow). On the terms «fixed» and «idiomatic»; V. A. Trofimov (Leningrad). On some word-groups of adverbial type in modern Russian; F. Z. Kim (Moscow). The construction-principles of Korean graphemes; E. R. Tenišev (Moscow). Some notes on the Salar language; Č. H. Bakajev (Moscow). On the subject and object conjugation of transitive verbs in the Kurd language; **Applied and mathematical linguistics;** G. G. Belonogov, V. I. Grigoriev, R. G. Kotov (Moscow). Automatic lexical coding of communications; **From the history of linguistics:** E. D. Polivanov's «Dictionary of linguistic terms»; Arn. Čikobava (Tbilisi). The first explanatory dictionary of the Georgian language by S. S. Orbeliani (1716); **Consultations:** R. M. Frumkina (Moscow). The use of statistical methods in linguistics; **Critics and bibliography;** **Scientific life:** Session of the department of literature and language of the Academy of Sciences of the USSR devoted to V. I. Lenin's 90th birthday; On the development of structural and mathematical methods in linguistics; Working-plans of scientists; Chronicle; New editions.

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, в совершенно готовом для печати виде, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала.

После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 25 стр., объем рецензии — 15 стр. машинописи. Редакция заинтересована в получении кратких сообщений и заметок по конкретной тематике объемом до 15 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам. Каждая цитата должна быть завызрована автором.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами.

Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значение их — в кавычках.

6. Непривятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.

7. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

Технический редактор *Д. А. Фрейдман-Крупенский*

Г- 06583      Подписано к печати 22/VII-1960 г.      Тираж 5525 экз.      Заказ 596  
Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>      Бум. л. 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub>      Печ. л. 14,38      Уч.-изд. л. 18,0

2-я типография Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10